Ю.Г. ОКСМАН

Ю.Г. ОКСМАН

От „Капитанской дочки“ А.С. Пушкина к „Запискам охотника“ И.С. Тургенева

Ю. Г. ОКСМАН



ПУШКИН—РЫЛЕЕВ—КОЛЬЦОВ—
БЕЛИНСКИЙ—ТУРГЕНЕВ

ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

САРАТОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1959


Scan by Tom Platz

ОТ АВТОРА

Статьи, вошедшие в настоящий сборник, написаны в разное время. Одни из них, связанные с нашими архивными разысканиями первых лет Великой Октябрьской социалистической революции, были подготовлены к печати, а частично и опубликованы в период 1918—1921 гг. («Секретное следствие о «Записках охотника», основные главы исследования «А. В. Кольцов и тайное «Общество независимых»), другие — относятся к середине тридцатых годов («Пушкин в работе над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка») и, наконец, третьи — отражают научно-исследовательские интересы автора в конце сороковых и начале пятидесятых годов («Письмо Белинского к Гоголю, как исторический документ», «К истории поэмы Рылеева «Войнаровский»). Но, независимо от времени их написания, все эти работы подчинены одним установочным положениям, все они рассматривают крупнейшие явления литературы первой половины XIX в. в живой и действенной связи с породившими их противоречиями общественно-политической борьбы этих лет, все они вдохновлены поисками конкретно-исторической документации тех гениальных догадок о специфике передовой русской литературы позднего феодализма, которые наметились еще в последних статьях и письмах Белинского, а с наибольшей четкостью и остротою формулированы были в книге Герцена «О развитии революционных идей в России»: «Литература у народа, не имеющего политической свободы, единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести».

Этот философско-исторический тезис положен был в основание и тех концепций развития русской демократической культуры, которые впоследствии выдвигались Чернышевским, Добролюбовым и другими предшественниками русской социал-демократии. С учетом нового «опыта истории» тезис этот продолжает жить и в марксистско-ленинской литературной науке.

Многие из материалов, впервые введенных нами в научный оборот, а равно и те наблюдения и обобщения, которые были сделаны на основании этих первоисточников, давно уже широко используются как в специальной литературе о Пушкине, Рылееве, Кольцове, Белинском и Тургеневе, так и в массовых научно-популярных изданиях и

учебных пособиях. Эти работы отмечаются и в передовых зарубежных трудах по истории русской литературы и общественной мысли.

Автор настоящих статей ни в какой мере не склонен, однако, преувеличивать результаты своих разысканий. Роль его личного почина в этом отношении более чем скромна. Как и все советские историки и филологи старшего поколения, он в своем политическом и научном развитии особенно обязан Великой Октябрьской социалистической революции, не только широко открывшей двери в тайники наших государственных и частных архивов, но и вооружившей исследователей той методологией, без усвоения которой не могло быть обеспечено сколько-нибудь правильное решение занимавших их больших и малых проблем истории русской литературы. Поиски этих решений, проходившие в условиях долгой и упорной борьбы, с одной стороны, с субъективно-идеалистическими концепциями буржуазных историков и литературоведов, а с другой — с теорией и практикой социологического импрессионизма, получили отражение и в статьях настоящего сборника.

Исследования и материалы, включенные в сборник «От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника»», перепечатываются отнюдь не механически. Как в основной их текст, так и в примечания внесены все те дополнения, уточнения и поправки, необходимость которых обусловливалась, во-первых, появлением в печати неизвестных ранее источников (художественные произведения, письма, мемуары, политические документы), а во-вторых, новой литературой предмета, развивавшей наши наблюдения и выводы, или, наоборот, полемизировавшей с ними. Кроме того, за истекшие три-четыре десятилетия появилось много новых изданий и авторитетных переизданий классиков, много новых сборников первоисточников и био-библиографических справочников, что, в свою очередь, потребовало проверки и освежения прежнего текстологического и библиографического аппарата.

В процессе переработки статей были приняты во внимание все печатные отклики на их первые публикации, а также некоторые устные и письменные замечания моих учителей, друзей и учеников.

7 февраля 1959 г.
Москва.

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД „ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА" И ПОВЕСТЬЮ „КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"

Пугачевщина как объект политических и литературных интересов, научно-исследовательских разысканий и широких художественных построений является в творческой биографии Пушкина тридцатых годов темой бесспорно стержневой и в проблематике советского пушкиноведения одной из наиболее ответственных и актуальных.

Между тем до сих пор не только не изучены, но даже не описаны и не опубликованы многие из тех документальных, мемуарных и фольклорных первоисточников истории восстания Пугачева, которые были выявлены, объединены, а частью и впервые закреплены на бумаге самим Пушкиным. В числе этих материалов акты столичных и провинциальных архивов, документы государственных собраний и частных коллекций, выписки из следственных дел, рассказы живых свидетелей и непосредственных участников событий.

Круг информаторов Пушкина исключительно широк и необычен — в него входят, с одной стороны, кадровые пугачевцы, герои и жертвы восстания, с другой — такие очевидцы происшествий 1773—1774 гг., как великий русский писатель И. А. Крылов, как поэт И. И. Дмитриев, как усмирители восстания Пугачева и его пленники, офицеры царской армии, волжские помещики, чиновники и купцы.

Мы имеем все основания утверждать, что именно рукописи Пушкина, связанные с историей пугачевщины, материалы его записных книжек, всякого рода заметки, выписки и конспекты уясняют сейчас гораздо живее, чем позднейшая подцензурная «История Пугачевского бунта», все

то, что особенно занимало Пушкина в летописях последней крестьянской войны, позволяют резче определить, с каких позиций реагировал великий поэт на той или иной ее этап, как расценивал ее вождей, ее друзей и врагов, их политическую и социальную базу, их лозунги и перспективы.

Не знаем мы до сих пор и причин, ближайшим образом обусловивших обращение Пушкина к событиям крестьянской революции 1773—1774 гг., или, точнее, располагаем такими ответами на этот вопрос, которые свидетельствуют или об исключительной наивности комментаторов «Истории Пугачева», или о тенденциознейших искажениях ими основных фактов работы Пушкина над этой книгой.

I. „БИОГРАФИЯ А. В. СУВОРОВА" ИЛИ „ИСТОРИЯ ПУГАЧЕВА?"

Академик Я. К. Грот, публикуя переписку Пушкина с военным министром графом А. И. Чернышевым о материалах по истории пугачевщины в архивах Главного штаба, формулировал еще в 1862 г. тезис о том, что «в начале 1833 г. поэт возымел мысль написать историю Суворова», что лишь в процессе реализации этого замысла он заинтересовался данными об участии Суворова в ликвидации «мятежа Пугачева» и что только обилие интересных неизданных материалов о событиях 1773—1774 гг. заставило Пушкина отказаться от его начального плана и перейти от генералиссимуса Суворова к Емельке Пугачеву [1].

Концепция Я. К. Грота была популяризирована в 1880 г. в примечаниях П. А. Ефремова к новому изданию «Сочинений Пушкина» [2], вошла затем в широкий школьный оборот благодаря известному изданию Льва Поливанова «Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики» [3], безоговорочно утвердилась в специальной литературе [4] и, наконец, перед самой революцией 1917 г. была канонизирована в академическом издании «История Пугачевского бунта».

«На историческую работу о Пугачеве поэт натолкнулся довольно случайно,— удостоверял академический комментатор профессор Н. Н. Фирсов. — Из переписки Пушкина видно, что он собирался писать по истории, но в его воображении мелькали иные темы: то величественный образ Петра I, историю коего Пушкин намеревался разрабаты-

вать в сотрудничестве с Погодиным, то замысловатая, обвеянная военной легендой фигура генералиссимуса Суворова, то полная ума и сарказма, эффектная, львиная фигура здравствовавшего тогда, хотя и опального, героя Бородина и Кавказа — генерала А. П. Ермолова. В начале 1833 года Пушкин наиболее активно заинтересовался славным «генералиссимусом», но, как это ни странно на первый взгляд, задуманная Пушкиным «История Суворова» привела поэта к «Истории Пугачева». Как это случилось? Несколько справок разъясняет, в чем тут дело. Прежде всего укажем на то обстоятельство, что тогда общий ход пугачевщины был мало известен и, по традиции, «неутомимому» Суворову приписывалось «взятие самозванца и конечное прекращение мятежа». Неудивительно поэтому, что Пушкин, решив написать «Историю графа Суворова», пожелал получить из архивов Главного штаба в числе прочих документов для этой «истории» и «следственное дело о Пугачеве». 29 февраля военный министр граф Чернышев, удовлетворяя просьбу Пушкина, препроводил к нему из С.-Петербургского архива Инспекторского департамента и три книги, касающиеся до истории графа Суворова-Рымникского. Приступая к изучению бумаг о Пугачеве, Пушкин предполагал, что очерк о нем с рассказом об участии Суворова в поимке самозванца явится одною из глав в истории его главного героя — Суворова; но документы о Пугачеве, с которыми он познакомился, по-видимому, захватили поэта, и он увлекся этой исторической темой... Мы не должны забывать о такой преемственности в исторических занятиях Пушкина, тем более, что о ней не забыл и сам автор, представив публике (в предисловии) свою «Историю Пугачевского бунта» как отрывок оставленного труда; Пушкин не обозначил *какого*,— вероятно, чувствуя всю непропорциональность между историей Пугачева и относящимся к ней небольшим кусочком биографии Суворова» [5].

Мы привели формулировки академического комментария полностью только для того, чтобы более к ним не возвращаться. Вся аргументация проф. Н. Н. Фирсова, объединяя ошибки и передержки его предшественников, построена на ложном толковании предисловия Пушкина к «Истории пугачевского бунта» и на столь же неправильной интерпретации переписки Пушкина с генерал-адъютантом А. И. Чернышевым.

В самом деле, Пушкин нигде не писал о том, что его работа о Пугачеве является «отрывком» какого-то *другого* им якобы «оставленного труда». Напомним точный печатный текст первых строк предисловия к «Истории пугачевского бунта»: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного. В нем собрано все, что было обнародовано правительством касательно Пугачева, и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нем. Так же имел я случай пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых». И далее: «Дело о Пугачеве, доныне нераспечатанное, находилось в государственном Санкт-Петербургском архиве, вместе с другими важными бумагами, некогда тайнами государственными, ныне превращенными в исторические материалы <...>. Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд — конечно несовершенный, но добросовестный» [6].

Итак, Пушкин подчеркивал в своем предисловии только тот факт, что его труд был задуман в масштабах, гораздо больших, чем его удалось осуществить, что собранный им материал далеко не полностью вошел в его книгу и что поэтому сам автор рассматривает последнюю только как «часть труда», им «оставленного».

Пушкин не скрыл от читателей и одной из важнейших причин прекращения своей работы — невозможности воспользоваться материалами следственного дела о Пугачеве, оставшегося, несмотря на все его старания, «нераспечатанным». Сохранившиеся черновики отмеченного выше предисловия (IX, ч. I, 398—401), равно как и вся переписка Пушкина, относящаяся к изданию «Истории Пугачева», непреложно свидетельствуют о том, что поэт, называя свой труд «оставленным», никак не связывал «Истории Пугачева» с «Историей Суворова». Все же домыслы об этой линии исторических интересов Пушкина основывались на неправильном понимании письма будущего автора «Истории Пугачева» к графу А. И. Чернышеву от 9 февраля 1833 г.:

«Приношу вашему сиятельству искреннейшую благодарность за внимание, оказанное к моей просьбе,— писал Пушкин.— Следующие документы, касающиеся Истории графа Суворова, должны находиться в архивах Главного Штаба.

1. Следственное дело о Пугачеве.

2. Донесения графа Суворова во время кампании 1794 года.

3. Донесения его 1799 года.

4. Приказы его к войскам.

Буду ожидать от вашего сиятельства позволения пользоваться сими драгоценными материалами» (XV, 47).

Письмо это, закрепляющее какую-то нам неизвестную беседу Пушкина с А. И. Чернышевым о Суворове, ни одним словом не свидетельствовало о намерении Пушкина писать «Историю Суворова» [7]. Пушкин в своем письме выражал интерес лишь к документам, «касающимся истории графа Суворова», причем неожиданно начинал перечень необходимых ему материалов «Следственным делом о Пугачеве». Идущие вслед за тем упоминания о донесениях Суворова во время кампаний 1794 и 1799 годов производят впечатление совершенно случайных привесков к строкам о «Следственном деле Пугачева», ибо ни начальные моменты биографии Суворова, ни такие этапы ее, как знаменитые операции под Туртукаем в 1773 г., под Кинбурном в 1787 г., под Очаковом, Фокшанами и Рымником в 1789 г., под Измаилом в 1790—1791 гг. и многие другие, почему-то вовсе не занимают Пушкина. Даже если предположить, что поэт в беседе с военным министром дал последнему какой-то повод для неправильного заключения о своей готовности заняться «Историей Суворова», то эту беседу следовало бы понимать лишь как определенный тактический ход для получения доступа к совсем иным архивным материалам.

Поскольку генералиссимус А. В. Суворов принимал некоторое участие в ликвидации восстания Пугачева, постольку не мог вызвать подозрений и интерес Пушкина к документам 1773—1774 гг. Нельзя при этом забывать о том, что пугачевщина являлась темой запретной для исследователей, что все без исключения архивные данные о ней официально считались секретными и что, наконец, самое обращение к материалам о крестьянской революции не могло не компрометировать Пушкина, которому разрешены были царем в 1831 г. лишь разыскания в области биографии Петра Великого.

Самым же сильным аргументом в пользу того, что занимал Пушкина в начале 1833 г. не Суворов, а Пугачев, является план исторической повести, точная дата которого на девять дней предшествовала обращению поэта к графу

А. И. Чернышеву. Приводим этот план (VIII, ч. 2, 929) полностью:

«Шванвичь за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость — подступает Пуг<ачев> — Шв. предает ему крепость — взятие крепости — Шв. делается сообщником Пуг<ачева> — Ведет свое отделение в Нижний — Спасает соседа отца своего — Чика между тем чуть было не повесил стар<ого> Шв<анвича> — Шв. привозит сына в Пб. Ор<лов> выпрашивает его прощение.

31 янв. 1833»[8].

II. ОТ РОМАНА „ДУБРОВСКИЙ" К ПЛАНАМ ПОВЕСТИ О ШВАНВИЧЕ

Повесть, первые контуры которой наметились в записной книжке Пушкина в самом конце января 1833 г., относилась ко временам Пугачева, причем героем ее являлся один из случайных сообщников самозванца — подпоручик 2-го гренадерского полка Михаил Александрович Шванвич (он же Шванович), сын лейб-кампанца, крестник императрицы Елизаветы Петровны. Взятый в плен 8 ноября 1773 г. под Юзеевой отрядом Чики, он доставлен был в Берду, где присягнул Пугачеву и в течение нескольких месяцев состоял в его штабе в должности переводчика. В марте 1774 г., после разгрома войск Пугачева под Татищевой, Шванвич бежал в Оренбург, где вскоре был арестован. Лишенный по суду чинов и дворянства, он много лет прозябал затем в ссылке, в Туруханском крае, где и умер, не дождавшись амнистии[9].

Краткое обвинительное заключение по делу Шванвича вошло в правительственное сообщение от 10 января 1775 г. «О наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников. С присоединением объявления прощаемым преступникам»:

«Подпоручика Михайла Швановича,— отмечалось в разделе восьмом этого официального документа,— за учиненное им преступление, что он будучи в толпе злодейской, забыв долг присяги, слепо повиновался самозванцовым приказам, предпочитая гнусную жизнь честной смерти,— лишив чинов и дворянства ошельмовать, переломя над ним шпагу» (IX, ч. I, 190).

Никаких других данных о Шванвиче Пушкин не мог заимствовать из печатных источников, ибо их еще и не существовало. Естественно поэтому предположить, что, поскольку архивные материалы о Шванвиче в январе 1833 г. еще были недоступны поэту, его интерес к исторической личности Шванвича определился под непосредственным воздействием каких-то *устных* свидетельств об этом сподвижнике Пугачева. И действительно, в бумагах Пушкина сохранилось несколько заметок, тематически близких плану задуманной им исторической повести. Все эти заметки восходили к рассказам современников, а иногда и знакомцев Шванвичей. Мы знаем фамилию только одного из этих информаторов Пушкина — она сохранилась в его позднейшей заметке о «немецких указах» Пугачева:

«Немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шванвича. Отец его, Александр Мартынович, был маиором и кронштадтским комендантом — после переведен в Новгород <...> Им разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре. Играя со Свечиным в ломбр, он имел привычку закуривать свою пенковую трубочку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке. Сын его старший недавно умер. Слышано от Н. Свечина» [10].

Кто же был этот Н. Свечин, так близко знавший старого Шванвича? Из трех Свечиных, имя которых начиналось на букву «Н» и которые по своему возрасту, положению и месту жительства имели возможность общаться с Пушкиным, наиболее вероятным информатором поэта следует признать генерала-от-инфантерии Николая Сергеевича Свечина (родился в 1759, а умер в 1850 г.), женатого на тетке приятеля Пушкина — С. А. Соболевского.

Впоследствии, готовя для Николая I свои дополнительные замечания к «Истории пугачевского бунта», которые по цензурным соображениям нельзя было включить в печатный текст книги, Пушкин писал:

«Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворя<нин> не был замешан в Пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшиеся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему. Из хороших фамилий, был Шванвич; он был сын кронштадтского коменд<анта>, разрубившего палашем щеку гр<афа> А<лексея> О<рлова>» (IX, ч. 1, 478).

В другой заметке, относящейся к «анекдоту» о старом

Шванвиче и А. Г. Орлове, Пушкин подробно передавал о том, как Александр Мартынович Шванвич, гвардейский офицер времен Петра III, буйный кутила, «повеса и силач», обезобразивший Алексея Орлова, разрубив ему щеку в «трактирной ссоре», после переворота, «возведшего Екатерину на престол, а Орловых на первую степень в государстве», «почитал себя погибшим». Однако «Орлов пришел к нему, обнял его и остался с ним приятелем». Впоследствии А. М. Шванвич служил в Новгороде, сын же его, «находившийся в команде Чернышева, имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Г<раф> А. Орлов выпросил у государыни смягчение приговора» (IX, ч. I, 479—480) [11].

Краткие биографические данные об отце и сыне Шванвичах имели официальное назначение — они направлялись царю. Но в этих же справках нетрудно установить сейчас и некоторые наметки будущих сцен и образов задуманной Пушкиным исторической повести.

Для того, чтобы точнее определить факты, которыми располагал Пушкин о будущем Швабрине, напомним данные о подпоручике Шванвиче, которые вошли в рукописное «Известие о самозванце Пугачеве», автором которого был один из летописцев осады Оренбурга — священник Иван Полянский. Копия этого «Известия», сохранившаяся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 579—598), была использована и для «Истории Пугачева» (данные ее третьей главы о Хлопуше), и в «Капитанской дочке» [12].

Как рассказывает Иван Полянский, первые сведения о переходе подпоручика Шванвича на службу к Пугачеву получены были в осажденном Оренбурге 6 ноября 1773 г., вместе с данными о разгроме самозванцем войск генерал-майора Кара. Передавая, что сам генерал едва «убрался» от преследовавших его пугачевцев, перебежчики — свидетели его поражения — с ужасом вспоминали о том, как подпоручик Шванвич, захваченный в плен «с прочими офицерами и солдатами», «пришедши в робость, падши пред Емелькою на колена, обещался ему, вору, верно служить, за что он, Шванович, прощен Емелькою, и, пожаловавши того же часу его атаманом. Емелька, остригши ему, Швановичу, косу, как и всегда явившихся к нему солдат в кружальце остригал, велел ему дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу, что и самым делом он, Шванович, ему, Емельке, верно служил, так что

не только русские, но и немецкие в Оренбург присылал на Емелькино имя с большим титулом письма и манифесты варварские. Те же самые солдаты сказывают, что Емелька от генерала Кара солдат отбил больше 200 человек, которых к присяге вор всех приведши, себе в службу взял; офицеров всех, не хотящих присяги своей нарушить, перевешал, а Швановича одного оставил» (IX, ч. II, 594).

Рукописи Пушкина свидетельствуют о том, что замысел повести о Шванвиче родился в процессе работы поэта над романом «Дубровский». Вплотную подойдя в последнем к проблеме крестьянской революции и к истории дворянина, изменяющего своему классу, Пушкин не мог в узких и условных формах традиционного разбойничьего романа конкретно-исторически осмыслить «бунт» Дубровского и сделать самый образ его политически значимым и актуальным.

Между 15 и 22 января 1833 г. Пушкин еще работал над «Дубровским», начатым в октябре 1832 г., а 31 января в одной из его тетрадей появляется план повести о Шванвиче.

Повесть эту никак нельзя рассматривать ни как простую параллель к «Дубровскому», ни как дальнейшее развитие его достижений. Нет, новый замысел предвосхищал решительный отказ от путей брошенного уже романа, от поэтики повестей периода «бури и натиска», отказ, обусловленный новым пониманием задач историко-бытового романа и тех его характеров и коллизий, которые вытекали из основных противоречий русской крепостнической действительности, а не из конфликтов более или менее случайных, боковых и, как мы сказали бы сейчас, не очень типических [13].

6 февраля 1833 г. Пушкин обрывает работу над «Дубровским», а через три дня обращается к А. И. Чернышеву с просьбою о предоставлении ему доступа к «Следственному делу о Пугачеве». Все эти даты достаточно красноречивы и не нуждаются в комментариях. Между тем популяризаторы версии об интересе Пушкина в начале 1833 г. к биографии генералиссимуса Суворова, а не к восстанию Пугачева, почему-то никогда к рабочему календарю и бумагам Пушкина не обращались и никаких выводов из совершенно безошибочно устанавливаемой последовательности фактов творческой истории «Дубровского», повести о Шванвиче и монографии о Пугачеве не делали.

Имя Шванвича стоит в центре еще двух дошедших до

нас планов задуманной Пушкиным исторической повести. Один из них, возможно, даже предшествовал тому, который оформился 31 января 1833 г. В нем Шванвич еще связан не с Пугачевым, а с его ближайшим соратником — Перфильевым.

Афанасий Петрович Перфильев, сотник Яицкого казачьего войска, был главою тайной делегации, прибывшей незадолго до восстания Пугачева в Петербург и пытавшейся через графа А. Г. Орлова найти путь к Екатерине II, чтобы вручить ей петицию о нуждах казачества, разоряемого своими старшинами и бюрократической агентурой центральной власти.

Миссия Перфильева оказалась безуспешной. Однако, когда до Петербурга дошли вести о первых успехах Пугачева под Оренбургом, при дворе возник проект использования Перфильева в качестве правительственного эмиссара для отвращения казачества от самозванца и для захвата последнего. Перфильев спешно выехал в район восстания, но вместо борьбы с Пугачевым присоединился к нему 6 декабря 1773 г. в Берде и вскоре занял один из руководящих постов в штабе мятежников. Захваченный в конце 1774 г. в районе Черного Яра Перфильев оказался единственным из соратников Пугачева, отказавшимся «принести покаяние», за что лишен был «церковного причастия» и оставлен под «вечной анафемой». Приговоренный к четвертованию, Перфильев обнаружил исключительную твердость духа и в самый момент казни, 10 января 1775 г. Как свидетельствует использованная Пушкиным рукопись воспоминаний И. И. Дмитриева, очевидца казни, Пугачев «во все продолжение чтения манифеста, глядя на собор, часто крестился, между тем как сподвижник его, Перфильев, немалого роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю» (IX, ч. I, 148).

Вариант плана повести о Шванвиче и Перфильеве имеет в бумагах Пушкина всего три строки *:

«Кулачный бой — Шванвичь—Перфильев —
Перфильев, купец —
Шванвичь за буйство сослан в деревню — встречает Перфильева» (VIII, ч. 2, 930) [14].

Таким образом, завязкой повести в первом ее варианте

* Над первой строкой, в скобках, проект вставки, читаемой на пирах» или «на пиках».

являлась встреча Шванвича с Перфильевым в Петербурге. Не случаен был в этом контексте и «купец», упоминаемый в плане рядом с Перфильевым. Это — Евстафий Долгополов, разорившийся ржевский купец, соратник Пугачева, предложивший правительству, после разгрома повстанцев под Казанью, захватить и выдать Пугачева. В своем письме к кн. Г. Г. Орлову Долгополов ссылался на содействие, якобы обещанное ему Перфильевым. Документы позднейшего следствия о Пугачеве и его сообщниках обнаружили совершенную непричастность Перфильева к афере Долгополова. Да и самый образ этого сподвижника Пугачева, его действия в пору восстания, его героическое поведение во время следствия, суда и казни говорили о том, что именно Перфильев являлся с начала и до конца самым последовательным врагом самодержавно-помещичьего государства. Об этом, кстати сказать, свидетельствовала и неизвестная в печати запись о Перфильеве самого Пушкина, сделанная им в 1834 г. в процессе работы над бумагами Д. Н. Бантыша-Каменского о событиях 1773—1775 гг.: «Перфильев сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки государыни».

Третий вариант повести о Шванвиче исключает из числа ее героев Перфильева, а вместе с ним и петербургскую завязку отношений между центральными персонажами. В новом проекте Пушкин непосредственно связывает Шванвича с Пугачевым теми же нитями («метель, кабак, разбойник вожатый»), которые были впоследствии развернуты в «Капитанской дочке»:

«Крестьянский бунт — помещик пристань держит, сын его —. *

Мятель,— кабак — разбойник вожатый — Шванвичь ст<арый>. — Молодой чел<овек> едет к соседу, бывш<ему> воеводой — Марья Ал. сосватана за плем<янника>, кот<орого> не люб<ит>. М<олодой> Шв. встречает разб<ойника> вожат<ого> — вступает к Пугачеву. Он предвод<ительствует> шайкой — является к Марье Ал. — спасает семейство и всех.

Последняя сцена — мужики отца его бунтуют, он идет на помощь — уезжает — Пугачев разбит. Мол<одой> Шв.

* Далее набросаны были цифры, определявшие, вероятно, хронологию повести: <17 74, 1770.

взят — Отец едет просить Орлов<а>. Екатер<ина>. Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, ч. 2, 929)[15].

Если для двух первых планов повести о Шванвиче характерно отсутствие любовной интриги (свидетельство, конечно, не о том, что эта интрига вообще могла отсутствовать в повести, а лишь о том, что любовная коллизия не играла в ней существенной роли), то в третьем варианте плана этот узел начинает завязываться. Правда, образ Марьи Александровны, дочери «соседа» Шванвичей, в новом плане едва намечен, он еще, так сказать, «проходной», лишенный тех черт характера, которые определят функцию Марьи Ивановны как одного из центральных персонажей будущей «Капитанской дочки». Но не случайно что именно Марью Александровну спасает герой повести от пугачевцев, в рядах которых активно действует и сам, подобно будущему Швабрину.

В третьем варианте плана нет ни Гринева, ни семьи Мироновых, ни капитанской дочки. Место действия в плане не определено, но во всяком случае это не Белогорская крепость, а помещичья усадьба в одной из поволжских губерний. Судя по наметкам «последней сцены» нового варианта повести («мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»), в 1833 г. уже определились контуры «пропущенной главы» будущей «Капитанской дочки», той самой главы, которую Пушкин в 1836 г. изъял из черновой редакции уже законченной повести перед ее перепиской для сдачи в цензуру.

Можно утверждать, что и старый Шванвич в начальных вариантах повести Пушкина еще не имел ничего общего с Андреем Петровичем Гриневым: Шванвич-отец даже «пристань держит», то есть явно связан с разбойничьей вольницей. Во второй главе «Капитанской дочки» сохранился отдаленный след этих начальных наметок повести о Шванвиче — мы имеем в виду описание степного постоялого двора, к которому выводит Пугачев во время бурана кибитку Гринева: «Постоялый двор, или, по тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойничью пристань» (VIII, ч. I, стр. 290).

Чем дальше Пушкин отходил от начальных вариантов фабулы своей повести о дворянине-пугачевце, тем резче менялся и образ отца героя. В «Капитанской дочке» Андрей Петрович Гринев прежде всего человек строгого

долга, носитель фонвизински-новиковских принципов общественной морали, высокие понятия которого о служении дворянина и офицера государству определяют его наставления сыну при отправке последнего в армию: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду» (VIII, ч. 1, 282). Эту «честь» сохранил и он сам, преждевременно уйдя в отставку, чтобы «отстоять то, что почитал святынею своей совести».

Образ старого оппозиционера, прозябающего в деревенской глуши за свой рыцарственный легитимизм в 1762 г., за свое отчуждение от растленного двора Екатерины II и ее фаворитов, принадлежал, как известно, к числу любимейших образов Пушкина (см. «Мою родословную», «Родословную Пушкиных и Ганнибалов», данные о «славном 1762 годе» в «Дубровском»). Этот образ связан был даже семейными преданиями об опале деда поэта, Льва Александровича:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.

Рукопись последней редакции «Капитанской дочки» позволяет установить, что Андрей Петрович Гринев «служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-маиором в 1762 году»[16]. Таким образом, и он, «как Миних, верен оставался паденью третьего Петра». Эта дата отставки старика Гринева, исключенная из печатного текста, объясняет и опальное положение его в деревне, и постоянное раздражение при чтении «Придворного календаря», и нежелание отправить Петрушу на службу в гвардию, в Петербург. В начальных планах повести и самый факт появления молодого Шванвича в штабе мнимого Петра III мотивировался, вероятно, старыми семейными счетами Шванвичей с Екатериной II, что позволяло и его «измену» трактовать не как сознательный переход дворянина и гвардейца на сторону крестьянской революции, не как попытку того или иного компромисса с последней (мотивировки для подцензурного издания пушкинской поры совершенно, конечно, неприемлемые), а как случайную трагедию одного из членов правящего класса, оказавшегося, по мотивам особого и сугубо личного порядка, в стане восставших крепостных рабов[17].

III. БУМАГИ ПУШКИНА О ПУГАЧЕВСКОМ АТАМАНЕ ИЛЬЕ АРИСТОВЕ

В одном из первых вариантов плана будущей «Капитанской дочки», набросанном Пушкиным 31 января 1833 г., с общеизвестными фактами биографии Шванвича расходилась одна фабульная деталь: «Ведет свое отделение в Нижний».

Между тем под Нижним-Новгородом оперировал не Шванвич, а другой «государственный изменник» из дворян. Мы имеем в виду беглого сержанта Илью Аристова, пожалованного Пугачевым после взятия Казани в полковники и захваченного правительственными войсками под Нижним-Новгородом около 25 июля 1775 г.

Илья Степанович Аристов, мелкопоместный дворянин Костромской губернии, родился около 1726 г., в службу вступил в Бутырский пехотный полк в 1746 г., участвовал в «семилетней войне» и в походе в Восточную Пруссию, вышел в отставку сержантом в 1762 г.

По прибытии в свою вотчину («сельцо в Чижевском стану» у реки Белой, число крепостных душ — всего шесть) Аристов обзавелся семьею и, так как доходов от сельского хозяйства было мало, под рукою занялся «неуказным винным курением». Уличенный в этом, он по судебному приговору был разжалован в солдаты и отправлен в 1764 г. в крепость Моздок. После тяжелой шестилетней службы на далекой окраине Аристов вместо ожидаемой им отставки получил производство в сержанты. Тогда, «согласясь с солдатами Иваном Малковым, Сергеем Невенщиным и Федором Поляковым», в марте 1770 г. бежал с ними из крепости «чрез Куминскую степь на Царицыно, а оттуда в Москву». Из Москвы Аристов уже без труда добрался до своей деревеньки, где и прожил в кругу своей семьи около полугода, «сказываясь отпущенным из полку». Возбудив, однако, некоторые подозрения и узнав, что «другие помещики вознамерились его поймать», Аристов вынужден был возвратиться в Москву к своим беглым однополчанам, с которыми завербовался «в работу на заводах» в Екатеринбург. Несмотря на заверения вербовщиков, что на Урале «принимаются на работу и беглые», Аристов со своими товарищами оставался на заводе только «недели с четыре», после чего как беспаспортный должен был вновь бежать.

«Будучи в пути, уведомился он в Сарапуле и Осе, что называющийся государем Петром III-м Пугачев принимает к себе разного звания людей с большим награждением жалованья», ввиду чего Аристов и «принял намерение» идти вместе с «товарищами солдатами» прямо к самозванцу. Этот переходный момент биографии Аристова представлен в его показаниях двумя версиями. По одной (позднейшей) он еще до присоединения к Пугачеву попал вновь в Москву, откуда отправился к брату в Таганрог, в пути действовал уже в качестве эмиссара самозванца, 25 марта 1774 г. был арестован на Дону, доставлен в Казанскую следственную комиссию, откуда и бежал перед самым занятием города пугачевцами.

По другой версии (мало достоверной) Аристов на Дону не был, а присоединился к Пугачеву на пути из Екатеринбурга в Москву, служил рядовым в Яицком казацком полку Федора Прохорова, отличился 11—12 июля 1774 г. при взятии Казани, после чего и занял видное место в штабе самозванца.

Так или иначе, но активное участие Аристова в операциях Пугачева под Казанью не подлежит сомнению. За смелый захват батареи с четырьмя пушками, защищавшей подступы к Казани со стороны «форштата», Аристов был произведен в полковники, заместив раненого Федора Прохорова. Во время отступления Аристов сперва находился при Пугачеве, а затем был отряжен им в Ядринский и Курмышский район «для приуготовления, где он будет итти, хлеба и разных съестных припасов».

Действовал новый полковник очень энергично и, не ограничивая свои функции заготовкой фуража, вербовал в армию Пугачева крестьян и фабричных, чинил суд и расправу над помещиками и их агентурой. Даже в первых своих показаниях, по понятным причинам многого не договаривая, явно преуменьшая свою роль и успех своих действий, Аристов признал себя ответственным за следующие мероприятия: при въезде в село Семьяно, где он встречен был крестьянами как эмиссар Пугачева с хлебом и солью, он «объявил, что он Полковник и прислан от оного Государя, с тем, если кто имеет себе от начальников своих какие обиды, то б их вешать, и после того вскоре в оное село привез из села Воротынца староста со крестьяны, по объявлению, Управителя с женою, да француза и немца и крестьянина Андрея Киреева, да представил еще села

Семьяна двух крестьян с жалобою на всех их в причиняемых ими одновотчинным крестьянам обидах, кои по его Аристова приказанию Воротынцовскими и Семьянскими крестьянами и повешены, где он был часов с пять, а потом из жительства проводили его крестьяне и дали проводника до села Воротынца, в котором так же, как и в селе Семьяне, был встречен и по приезде на требование его вотчинных разорителей представлены к нему были упоминаемым же села Воротынца старостою по оказыванию его управительской брат Иван Тетеев с сыном, кои по тому-ж с его Аристова приказания фабричными повешены; а при том он вызывал в службу к известному злодею Пугачеву охотников, на что как крестьяне, так и фабричные желание свое объявили, а напоследок по его приказанию всю фабрику разорили и полотна по себе разделили».

Из Воротынца Аристов, в сопровождении приставшего к нему мастерового полотняной фабрики Григория Пытова, отправился в село Фокино (в 80 верстах от Нижнего-Новгорода), где, агитируя в пользу Пугачева, и был около 25 июля 1774 г. захвачен отрядом правительственных войск.

Допрос, учиненный Аристову нижегородским губернатором генерал-поручиком А. А. Ступишиным, по собственному признанию последнего в рапорте на имя графа П. И. Панина, сопровождался «жестокими истязаниями». Сам Аристов показал впоследствии в Москве, что его «раздетого били в три палки, принимаясь два раза жестоко». Пытками и побоями вызван был и известный оговор Аристовым казанского архиепископа Вениамина в денежной поддержке Пугачева.

С этим последним эпизодом (дело казанского архиерея в течение долгого времени занимало и непосредственных ликвидаторов пугачевщины, и всю высшую петербургскую администрацию) связано и единственное до сих пор известное упоминание Пушкиным имени Аристова в «Истории Пугачева». Мы имеем в виду примечание к главе седьмой печатного текста (IX, ч. I, 114).

Рукописи Пушкина позволяют точно установить, что интерес его и как исследователя и как романиста к исторической личности Ильи Аристова был не менее значителен, чем к другим выходцам из правящего класса, ставшим в 1773—1774 гг. на службу крестьянской революции.

На основании некоторых секретных архивных материалов, представленных ему в мае 1834 г. историком Д. Н. Бантыш-Каменским, Пушкин сделал следующую конспективную биографическую справку об Илье Аристове.

ОБ АРИСТОВЕ

Аристов (Илья) *из дворян* был капралом в 1773 году, бежал из Томского полку, возмущал станицы Донские, взят под стражу, освобожден во время взятия Казани, наименован от Пугачева полковником, взят в плен в июле 1774, пытан в Нижнем-Новг. Там показал на Казанского Архиерея Вениамина (смотри о Вениамине). Он пытан был потом и в Москве в Тайной экспедиции Генерал-прокурором к. Вяземским и Шешковским. Екатерина избавила его от смертной казни. Он был высечен кнутом в Казани, и сослан на каторжную работу в Рогервик.
(Из бумаг о Пугачеве Б. Каменского).

Лист с этой неизданной записью Пушкина, сохранившийся в его бумагах (тетрадь № 2391 по старой описи Румянцевского музея; жандармская помета красными чернилами: *№ 12)*, тесно связан с другими документами о том же Аристове в архиве поэта. Мы имеем в виду копии протоколов двух допросов Аристова в Нижегородской губернской канцелярии, которые в начале пятидесятых годов были изъяты из бумаг Пушкина П. В. Анненковым, затем в течение многих лет оставались в распоряжении детей и внуков последнего, в 1924 г. проданы были антиквару Ф. Г. Шилову, от которого перешли в собрание П. Е. Щеголева, а в 1934 г. опубликованы были нами в «Литературном наследстве» [18].

Копии с секретных документов об Аристове были заключены Пушкиным в особую обложку (два листа белой плотной бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1833»), собственноручно им же озаглавленную: *Об Аристове.*

Никаких других помет Пушкина ни на обложке, ни в копиях документов не сохранилось. Связь же этой группы бумаг с пушкинским автографом биографии Аристова, опубликованным нами выше, учтена была еще в 1837 г. жандармами, сделавшими на обложке отметку теми же красными чернилами: *К № 12.*

Первый документ, скопированный по заказу Пушкина

(на шести листах бумаги обычного канцелярского формата, исписанных с обеих сторон), представлял собою протокол допроса Аристова от 25 июля 1774 г.[19]. Второй же воспроизводил дополнительные показания его в той же Нижегородской губернской канцелярии от 4 августа 1774 г. (на двух листах бумаги канц. формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1834»). По списку, сохранившемуся в бумагах П. И. Панина, показания Аристова от 25 июля недавно были опубликованы в сборнике Центрархива «Пугачевщина», что позволяет нам ограничиться сейчас публикацией только второго документа, давшего Пушкину несколько занимательнейших дополнительных штрихов для биографии Аристова (данные о его встрече с Пугачевым еще во время прусского похода, пропагандистская деятельность на Дону, пребывание в казанской тюрьме одновременно с женою и детьми самозванца и пр.) и весьма ценного для общей истории пугачевщины (детальная характеристика планов и расчетов Пугачева после его разгрома под Казанью, колоритнейшие свидетельства об активной его поддержке заводскими крестьянами и нацменами среднего Поволжья).

1774 года Августа 4 дня Илья Аристов из-под пристрастия в подтверждение показал:

Сего года Генваря 4 дня по выздоровлении из Московского Госпиталя с товарищем его Великолуцкого полка солдатом Андреем Кузьминым бежал точно в Таганрог к брату своему родному тамошнего баталиона Поручику Василию Аристову для свидания; а чтоб разглашение делать на Дону и в проезд во всех жительствах о измене злодея Пугачева, об том подлинно никем научен не был, а разгласительные слова произносил точно он только в одном месте на реке Медведице войска Донского Полковника Серебрякова в станице Скухихе, и то по наслышке в проезд его к Дону февраля в половине в Пензенском уезде одного села от бывших с ним проводников, а как то село прозывается и которого помещика, также и имян тех крестьян он не упомнит, а те крестьяне сказывали ему, что они, будучи в Уфимском уезде для продажи окончин, в тамошнем краю самозванца Пугачева толпами были задержаны, а наконец прорвавшись выехали в домы свои; знакомство ж имел он с показанным Пугачевым в Прусском походе под Пальцихом, где оставлена была от Донского войска при магазейнах сотенная команда. Что-ж Государь Император Петр Федорович подлинно скончался, не только он о том слышал, но и совершенно знал, будучи в то время в Риге на ординарции у Генерала Федора Матвеевича Воейкова; по выпуске-ж его злодеями из Секретной Комиссии с прочими он отведен в кузницу для разбития желез, а оттуда как ведены были в злодейский лагерь, то, идучи вместе, злодея Пугачева с женою, в которое время наехал сам злодей на них и велел подать телегу и во оную посадить жену свою с детьми, а по просьбе ея и его Аристова. Как же приехали в лагерь, где его была палатка, отведя, спрашивал его Аристова, почему он его знает? на

что он ему объявил, что он знает по бытности его под Пальцихом. При чем ему Аристову запретя, чтоб об том никому не разглашать и пожаловав полковником, приказал быть при своей жене и детях. И в бытность его при жене злодея Пугачева, слышал неоднократно приносимую от жены его жалобу Донского войска на полковников Илью Федорова, Михайлу Серебрякова, Алексея Селинского и на главного их старшину Сулина о сожжении домов его и о разорении имения. Как же они переехали Волгу и отошед от Сундыря верст пятнадцать остановились, откуда злодейское намерение было идти в Нижний; но вышедшие из лесу Чуваши человек с пятнадцать объявили ему, что Нижний укреплен и команды в нем весьма много. Почему он, отменя то намерение, пошел к Ядрину и к Курмышу, спрашивая у него Аристова, не знает ли он прямой дороги на Дон, не хватая Пензы и Воронежа, но как он сказал, что дороги не знает, то по приказу его привели к нему двух человек Чуваш, кои и объявили ему, что они проводить могут к Донцу и Дону тем трактом, как он приказывает лесными местами из Курмыша, миновав Алтырь и Пензу на устье Медведицы и чрез станицы Кочалиной, малые и большие Чиры и Пятиизбинскую, за которую их, Чуваш, услугу и дано от Пугачева по тридцати рублей. А от сей последней станицы намерен был послать в Царицын осмотреть, не можно-ли будет оттуда получить пушек с припасами, с коими следовать до Черкасского и там будучи по способности возмутить Белоградскую и Кубанскую орды, а умножа силы обратиться к Москве, которому тракту бывший при нем секретарь Савелий Яковлев, а прозвания не знает, писал записку; его ж Аристова послал с семью человеками вперед для приуготовления, где он будет идти, хлеба, овса и разных съестных припасов. И проезжая он Аристов до села Фокина на фабрике графа Головина повесили по повелению его Аристова восемь человек, и той его Головина вотчины как крестьяне, так и все мастеровые приготовились было принять злодея Пугачева; да как он с той фабрики поехал в село Фокино, то по его-жь приказу без него крестьянами повешено четыре человека, а злодей Пугачев тем пошел трактом, которому сделана была записка, или другим, о том он утвердить не может. А он Аристов в показанном селе Фокине пойман и отвезен в Нижегородскую Губернскую Канцелярию [20].

IV. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1830 — 1831 ГОДОВ И ГЕНЕТИКА „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА“

Перспективы крестьянской революции и связанные с последней вопросы о той или иной линии поведения либерального меньшинства правящего класса, сдавленного рамками полицейско-крепостнического государства, но в то же время терроризированного и призраком новой пугачевщины, впервые встали перед Пушкиным во всей своей конкретности и остроте летом 1831 г.

Письма и заметки поэта именно этой поры дают исключительно богатый материал для суждения об эволюции его

общественно-политических взглядов под непосредственным воздействием все более и более грозных вестей о расширении плацдарма крестьянских «холерных бунтов» и солдатских восстаний.

«Les temps sont bien tristes, — писал Пушкин 29 июня 1831 г. П. А. Осиповой [21]. — L'épidémie fait à Pétersbourg de grands ravages. Le peuple s'est ameuté plusieurs fois. Des bruits absurdes s'étaient répandus. On prétendait que les médecins empoisonnaient les habitants. La populace furieuse en a massacrè deux. L'Empereur s'est prèsentè au milieu des mutins<...> Ce n'est pas le courage, ni le talent de la parole qui lui manquent; cette fois — ci l'émeute a été apaisé; mais les désordres se sont renouvelés depuis. Peut-être sera-t-on obligé d'avoir recours à la mitraille» (XIV, 184).

Особенно нервно реагировал Пушкин на террористические акты, сопровождавшие вооруженные выступления военных поселян:

«Ты верно слышал о возмущениях Новогородских и Старой Руссы. Ужасы! — писал Пушкин 3 августа 1831 г. кн. П. А. Вяземскому. — Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в Новг<ородских> поселен <иях> со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе других — из инженеров и комуникационных. Государь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но бунт Старо-Русской еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников. Плохо, ваше сиятельство! Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (XIV, 204—205).

Напомним, что секретное «Обозрение происшествий и общественного мнения в 1831 г.», вошедшее в официальный отчет III Отделения, следующим образом характеризовало ситуацию, взволновавшую Пушкина: «В июле месяце бедственные происшествия в военных поселениях Нов-

городской губернии произвели всеобщее изумление и навели грусть на всех благомыслящих. Происшествия сии возбудили в то же время и толки, сколь вредно и опасно может быть для столицы соседство военных поселений» [22].

Еще резче и тревожнее был отклик на новгородские события самого Николая I. В письме к графу П. А. Толстому царь прямо свидетельствовал о том, что «Бунт в Новгороде важнее, чем бунт в Литве, ибо последствия могут быть страшные! Не дай и сохрани нас от того милосердный бог, но я крайне беспокоюсь», а принимая 22 августа 1831 г. в Царском Селе депутацию новгородского дворянства, он же заявлял: «Приятно мне было слышать, что крестьяне ваши не присоединились к моим поселянам: это доказывает ваше хорошее с ними обращение; но, к сожалению, не везде так обращаются. Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма не хорошо, подобно времени бывшей французской революции. Париж — гнездо злодеяний — разлил яд свой по всей Европе. Не хорошо. Время требует предосторожности» [23].

В аспекте классовых боев 1831 г. получали необычайно острый политический смысл и исторические уроки пугачевщины. Концепция последней, как «бессмысленного и беспощадного русского бунта», предопределяя социальную дидактику будущей «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» (невозможность либерально-дворянского компромисса с крестьянской революцией), обозначилась вовсе не в результате позднейших пристальных изучений Пушкиным материалов о пугачевщине, а еще года за полтора до окончательного определения этой линии его творческих и исследовательских интересов.

Переписка Пушкина позволяет установить, что ближайшим информатором его о кровавых эксцессах восстания военных поселян — фактах, не подлежавших, конечно, оглашению в тогдашней прессе, — был поэт Н. М. Коншин, совмещавший служение музам с весьма прозаической работой правителя дел Новгородской секретной следственной комиссии [24].

«Я теперь как будто за тысячу по крайней мере лет назад, мой любезнейший Александр Сергеевич, — писал Н. М. Коншин в первых числах августа 1831 г. Пушкину.— Кровавые сцены самого темного невежества перед глазами нашими перечитываются, сверяются и уличаются. Как свиреп в своем ожесточении народ русской! Жалеют и истя-

зают; величают вашими высокоблагородиями и бьют дубинами,— и это все вместе. Чорт возьми, это ни на что не похоже! Народ наш считают умным, но здесь не видно ни искры здравого смысла» (XIV, 216).

Следует отметить, что к событиям 1830—1831 гг. восходили не только политические дискуссии широкого философско-исторического плана о русском народе и о судьбах помещичье-дворянского государства, не только некоторые формы официозной фразеологии (мы имеем в виду прежде всего охранительные сентенции Гринева), но и совершенно конкретные детали бытописи «Капитанской дочки». Вспомним, например, в связи с этим известную сцену «Пропущенной главы»: «Что такое?» спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне <и> снял шляпу, спрашивая пашпорту» (VIII, ч. 1, 376).

Строки эти полностью восходили к рассказу Пушкина о его попытке пробиться из Болдина в Москву в октябре 1830 года, «в самый разгар холеры, чуть не взбунтовавшей 16 губерний»: «Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава! Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку <...> Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать» и пр. (XII, 310). Эти же впечатления от крестьянской карантинной милиции 1830—1831 гг. предопределили зарисовку столкновения Гринева с пугачевской заставой у Бердской слободы при попытке его пробиться из Оренбурга в Белогорскую крепость (VIII, ч. 1, 346).

К пушкинским писаниям 1830 г. восходит и известное место четвертой главы «Капитанской дочки»: «Петр Андреевич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь».

В черновой редакции «Барышни-крестьянки», датированной «20 сент.» 1830 г., нами обнаружены следующие строки:

«И Настя побежала прочь, распевая свою любимую песню:

Капитанская дочь
Не ходи гулять в полночь»[25].

V. ОТ ПЛАНОВ ПОВЕСТИ О ШВАНВИЧЕ К „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ"

Работа над повестью о Шванвиче не пошла дальше начальных наметок плана, ибо изучение архивных материалов о пугачевщине, доступ к которым Пушкин получил 25 февраля 1833 г., настолько его увлекло, что вместо повести он сразу же принялся за «Историю Пугачева». Реализация этой книги шла небывало быстрыми темпами. 25 марта 1833 г., то есть ровно через месяц, завершена была черновая редакция первой главы монографии, а еще через два месяца, судя по дате последней ее главы («22 мая 1833 г.»), «История Пугачева», в самой сжатой, местами еще даже полуконспективной форме, доведена была до конца[26].

Однако ошибочно было бы думать, что «История Пугачева» означала отказ Пушкина от работы над повестью. Об определенном параллелизме в эту пору художественных и исследовательских интересов Пушкина свидетельствуют не только некоторые творческие документы его архива, но и общеизвестное автопризнание. Так, готовясь к поездке в Казань и Оренбург для ознакомления с районом восстания, а также для собирания дополнительных архивных и фольклорных материалов о нем, Пушкин, на официальный запрос от имени Николая I о целях его путешествия, отвечал 30 июля 1833 г. управляющему III Отделением: «Может быть, государю угодно знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне: это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани и вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии» (XV, 70). Это глухое упоминание о начатом романе нельзя толковать как простую отписку, имевшую целью только прикрыть основную мотивировку поездки — необходимость доработки «Истории Пугачева». Через пять дней после приведенного письма Пушкин набрасывает проект художественного введения к роману, генетически связанного с повестью о Шванвиче, но с весьма существенными изменениями не только его персонажных характеристик, но и некоторых линий развития самой фабулы.

Вместо Шванвича, служившего Пугачеву «со всеусердием» и на ответственных командных постах, в новых вариантах плана повести о дворянине-пугачевце появляется уже Башарин, личность также историческая, но существенной роли в событиях 1773—1774 гг. не игравшая. Эта смена

героев очень симптоматична. От Шванвича, измена которого была осмыслена политически, который пусть и не надолго, но сознательно соединяет свою судьбу с судьбами крестьянской революции, Пушкин переходит к Башарину, не союзнику, а пленнику Пугачева, помилованному по просьбе его солдат, но скоро вновь оказавшемуся в рядах правительственных войск.

Архивные материалы о занятии пугачевцами 29 ноября 1773 г. крепости Ильинской позволили Пушкину восстановить в «Истории Пугачева» следующую сцену суда и расправы Пугачева[27]:

«Ему представили капитана Камешкова и прапорщика Воронова. История должна сохранить сии смиренные имена. *«Зачем вы шли на меня, на вашего государя?»* — спросил победитель.— «Ты нам не государь,— отвечали пленники: — у нас в России государыня императрица Екатерина Алексеевна и государь цесаревич Павел Петрович, а ты вор и самозванец». Они тут же были повешены. — Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его, но взятые в плен солдаты стали за него просить. «*Коли он был до вас добр,*— сказал самозванец,— *то я его прощаю*».— И велел его, так же как и солдат, остричь по-казацки, а раненых отвезти в крепость» (IX, ч. 1, 35—36).

Эта сцена, впоследствии широко развернутая в седьмой главе «Капитанской дочки», позволяет уяснить и источник сведений Пушкина о Башарине — показания о нем фурьера Иванова в бумагах архива Главного штаба, доставленных поэту по распоряжению графа Чернышева между 25 февраля и 29 марта 1833 г. (XV, 51, 54, 57).

Таким образом, никак не раньше марта—апреля 1833 г. мог сложиться и тот новый вариант плана повести о дворянине-пугачевце, который первоначально связан был в литературных замыслах Пушкина с фактами биографии поручика Шванвича. Мы должны особенно подчеркнуть именно эту последовательность планов повести и их хронологию. ибо до получения материалов из архива Главного штаба о капитане Башарине, пощаженном Пугачевым при взятии крепости Ильинской 29 ноября 1773 г., Пушкин никакими данными об этом событии не располагал. Имя капитана Башарина не встречалось ни в одном из печатных источников, во-первых, и не принадлежало к числу имен, известных людям из окружения Пушкина, во-вторых. Тем не ме-

нее в академическом издании полного собрания сочинений Пушкина планы исторических повестей о Шванвиче и Башарине опубликованы были в 1940 г. в иной последовательности (VIII, ч. 2, 928—930), исходящей из предположения о том, что наиболее ранним вариантом повести о дворянине-пугачевце является недатированная запись «Башарин отцом своим привезен в Петербург» и пр., а не план «Шванвич за буйство сослан в гарнизон», относящийся к 31 января 1833 г.[28].

Это ничем не мотивированное смещение хронологии двух замыслов, сделанное вопреки их внутренней связи, логике фактов и традиции, опиралось, видимо, лишь на место этих планов в рабочей тетради Пушкина (тетрадь № 2374, по старой нумерации Отдела рукописей Румянцевского музея). План повести о Башарине набросан был в этой тетради на обороте листа четвертого, а запись «Шванвич сослан в гарнизон» сделана была в этой же тетради на листе пятом. Тетрадь № 2374, занятая, в основном, черновиками поэмы об Езерском (первый вариант будущего «Медного всадника»), заполнялась Пушкиным вовсе не лист за листом, а в самом произвольном порядке и притом в разное время. Использовав 31 января 1833 г. один из чистых начальных листов тетради для плана повести о Шванвиче, Пушкин через некоторое время вернулся к этому плану и, перечитав его, в порядке частичного корректирования старого замысла, набросал там же, на обороте соседнего чистого листа, новый вариант фабулы волновавшей его повести о дворянине-пугачевце. Приводим эту запись (VIII, ч. 2, 928—929) полностью:

«Башарин отцом своим привезен в П<етер>б<ург> и записан в гвардию. За шалость сослан в гарнизон *. Пощажен Пугач<евым> при взятии крепости, [произведен им в капитаны и отряжен] с отдельной партией в Симбирск под начальством одного из полковников Пугач<ева>. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугач<ева>. — Принят опять в гвардию. Является к отцу в Москву — идет с ним к Пугач<еву>.

---

* К этому месту плана относилась вставка, сделанная карандашом на полях в верхней части листа. Вставка эта от времени уже совершенно стерлась и читается с большим трудом. Условная ее расшифровка: Он отправился из страха отцовского гнева (VIII, ч. 2, 928).

[Старый коменд<ант> отправляет свою дочь в ближнюю крепость].

[Пуг<ачев> взяв одну, подступает к другой — Башарин первый на приступе].

[Требует в награду]»[29].

К этому же плану относятся несколько строк, намечающих новую мотивировку узлового момента повести — появления героя в стане Пугачева:

«Башарин дорогою во время бурана спасает башкирца (le mutilé). Башкирец спасает его по взятии крепости — Пугачев щадит его, сказав башкирцу — *Ты своею головою отвечаешь за него.* — Башкирец убит — etc.» (VIII, ч. 2. 929).

Дата этих дополнительных строк[30], видимо, та же, что и плана в целом, так как до своего изъятия из тетради № 2374 листок с этой записью следовал за основным планом.

Из проекта введения к повести о Башарине, относящегося к 5 августа 1833 г., мы можем установить, что строилась эта повесть как записки ее героя, то есть — точно так. как развивалось повествование в «Капитанской дочке», построенной как рассказ Петра Андреевича Гринева. Политическая дидактика прикрывалась в этом предисловии якобы совершенно бесхитростным обращением автора к своему внуку: «Начинаю для тебя свои записки, или лучше искреннюю исповедь, с полным уверением, что признания мои послужат к пользе твоей. Ты знаешь, что несмотря на твои проказы, я все полагаю, что в тебе прок будет, и главным тому доказательством почитаю сходство твоей молодости с моею <...> Ты увидишь, что завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз в самых затруднительных обстоятельствах, я выплыл наконец и, слава богу, дожил до старости, заслужив и почтение моих ближних и добрых знакомых. — То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если сохранишь в сердце твоем два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство» (VIII, ч. 2, 927).

По своей тональности это «введение» настолько близко «Капитанской дочке», что если бы мы не знали его даты, то никак не могли бы ассоциировать его с планом повести о Башарине. Этот же план, несмотря на наличие в нем некоторых деталей, близких «Капитанской дочке», в своих ос-

новных линиях гораздо более тесно связан с начальным замыслом Пушкина, когда в центре эпопеи стоял не Гринев, а Шванвич. В наметках повести о Башарине вновь воскресли петербургские сцены, известные нам по варианту «Шванвич — Перфильев» (см. выше, стр. 14—15).

Башарин — гвардеец, высланный «за шалость» из столицы в окраинный крепостной гарнизон, как будущий Швабрин в Белогорскую крепость. Он и возвращается в гвардию, побывав в войсках и Пугачева и его усмирителя Михельсона. В черновых заметках, развивающих и дополняющих начальный план, появляются первые контуры образов отца и дочери Мироновых — «старый комендант» и «комендантская дочка». Пушкин, правда, перечеркивает эти строчки, но мы не можем не учесть, что Башарин, подобно будущему Гриневу, не только уже связан с «комендантской дочкой», но даже спасает ее от пугачевцев, в рядах которых действует и он сам. Башарин честно служит Пугачеву. Он даже «первый на приступе» и после взятия крепости, в которой скрывается любимая им девушка, «требует в награду» за свой подвиг именно ее, дочь убитого коменданта.

С этой мелодраматической фабульной линией корреспондирует в новом варианте повести и другой романтический штамп — Башарин «спасает отца своего, который его *не узнает*». Как далеки еще эти надуманные эффекты от «нагой простоты» типических ситуаций того же плана в «Пропущенной главе» будущей «Капитанской дочки»!

Приближает этот план к «Капитанской дочке» и новый вариант мотивировки пощады Башарина Пугачевым («Башарин дорогой во время бурана спасает башкирца»). Возвращаясь в наметках этой сцены к одному из планов повести о Шванвиче, Пушкин рассчитывает свести своего героя уже не с самим Пугачевым, а с одним из изувеченных в процессе следствия и суда деятелей башкирского восстания 1741 г. От этого замысла Пушкин скоро отказался — вместо «старого башкирца» в последнем плане «Капитанской дочки» появляется опять Пугачев. Но образ изувеченного башкирца («le mutilé») настолько прочно утвердился в памяти поэта, что именно с этим башкирцем, у которого вырезаны язык, уши и нос, — мы встречаемся в «Капитанской дочке» (сцена допроса его в главе шестой и его же образ в главе седьмой, когда изувеченный старик сам распоряжается у виселицы в качестве палача — VIII, ч. 1, 318 и 324).

К зиме 1834—1835 гг. относится последний из известных нам планов новой перестройки некоторых частей повести о Шванвиче (VIII, ч. 2, 930). Мы говорим только о «перестройке», и притом не всей повести, а лишь некоторых ее глав, так как в новом варианте плана нет ни начальных сцен произведения (завязка отношений между ее героем и Пугачевым во время бурана), ни его концовки (судьба Валуева — Гринева после получения им в Оренбурге письма от Марьи Ивановны и роль последней в его спасении). В новом варианте плана характерен, в отличие от всех предшествующих, упор не на политическую линию Шванвича—Пугачева, а на локальный историко-бытовой материал (семья Горисовых, то есть будущих Мироновых, и роман Валуева—Гринева с Марьей Ивановной на фоне Белогорской идиллии, разрушаемой в огне и буре гражданской войны). Снижение героя продолжается — Валуев не Шванвич и даже не Башарин, но все же образ его не расщеплен еще, как в окончательной редакции романа, на Швабрина и на Гринева, — поэтому в новом варианте нет и поединка (будущей главы IV), а ранение героя происходит не на дуэли, а во время осады крепости:

«Валуев приезжает в креп<ость>.

Муж и жена Горисовы. Оба душа в душу — Маша, их балованная дочь — (барышня Марья Горисова). Он влюбляется тихо и мирно. —

Получают известие и Капитан советуется с женою.. Казак, привезший письмо, подговаривает крепость — Капитан укрепляется, готовится к обороне [а дочь отсылает], подступает (?).

Крепость осаждена — приступ отражен — Валуев ранен — в доме коменданта — второй приступ. Крепость взята — Сцена виселицы — Валуев взят во стан Пуг<ачева>. От него отпущен в Оренб<ург>.

Валуев в Оренб<урге> — Совет — Комендант — Губернатор — Тамож<енный> См<отритель> — Прокурор — Получает письмо от М<арьи> Ив<ановны>» [31].

Начало реализации плана повести о Валуеве, исключительно близкой VI, VII, VIII, IX и X главам будущей «Капитанской дочки», не может быть датировано раньше осени 1835 г., о чем свидетельствует, во-первых, отсутствие

каких бы то ни было данных об этом в более ранних бумагах Пушкина и, во-вторых, письмо его к Плетневу от начала октября 1835 г. из Михайловского: «Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, — через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен» (XVI, 56).

Роман задерживался, однако, не только отсутствием «сердечного спокойствия», необходимого для работы. Неуспехом «Истории Пугачева» и отдельного издания «Повестей» 1834 г., запрещением «Медного всадника» и отказом самого автора от окончания «Дубровского» создавалось положение, при котором Пушкин не мог идти на риск провала в цензуре своей новой большой вещи. Роман приходилось путем сложнейших литературно-тактических ухищрений и перестроек приспособлять к жестким рамкам «дозволяемого к печати». Художественной и политической ответственностью этой неблагодарной работы и были прежде всего обусловлены медленные темпы ее осуществления.

Дошедшие до нас планы романа особенно ярко, как это было показано уже выше, демонстрируют процесс постепенного политического и интеллектуального снижения его героя. Вместо Шванвича, выходца из кругов петербургской гвардейской оппозиции, активного союзника Пугачева, в четвертом варианте плана повести появляется капитан Башарин — пленник Пугачева, пощаженный по просьбе любивших его солдат, но скоро вновь оказавшийся в рядах правительственных войск. В шестом варианте плана исторический Башарин, которого Пушкин предполагал связать с Пугачевым случайным эпизодом «спасения башкирца» во время бурана (фабульное зерно, давшее в последней редакции «Капитанской дочки» заячий тулупчик), заменяется безличным Валуевым, но и этот невольный пугачевец, фигура почти нейтральная, в силу именно своей нейтральности в разгар крестьянской войны, не мог, разумеется, с точки зрения охранительного аппарата дворянской монархии, функционировать в качестве положительного героя в исторической эпопее. Для закрепления в «Капитанской дочке» даже скромных позиций Валуева—Гринева приходилось противопоставить ему резко отрицательный образ пугачевца из дворян, что и было осуществлено Пушкиным в последней редакции романа путем расщепления единого прежде героя-пугачевца на двух персонажей, один из которых (Швабрин), трактуемый как злодей и предатель, яв-

лялся громоотводом, обеспечивавшим от цензурно-полицейской грозы положительный образ другого (Гринева).

Самое имя Гринева (в черновой редакции романа он еще назывался Буланиным) выбрано было не случайно[32]. В правительственной информации от 10 января 1775 г. об окончании процесса Пугачева имя подпоручика А. М. Гринева значилось в ряду тех, кои «находились под караулом, будучи сначала подозреваемы в сообщении с злодеями, но по следствию оказались невинными» (IX, ч. 2, 191).

Ломка романа не ограничилась, конечно, отказом от его начального плана и изменением характера и функцией его героев. Дошедшие до нас фрагменты черновых и беловых рукописей «Капитанской дочки», относящиеся к 1836 г., позволяют установить, что Пушкину даже в процессе переписки романа приходилось исключать из него ряд сцен, образов и положений, социально-политическая значимость и острота которых была неприемлема для подцензурной печати тридцатых годов.

В первую очередь из повести изъята была глава, в которой Пушкин дал несколько ярких бытовых зарисовок крестьянского бунта в крепостной усадьбе отца Гринева. Эта глава (Гринев назывался в ней Буланиным, а Зурин — Гриневым) намечена была еще в одном из самых ранних планов повести о Шванвиче («Последняя сцена — Мужики отца его бунтуют, он идет на помощь»). Изымая эту главу (как явно не отвечающую цензурным условиям) из последней рукописной редакции «Капитанской дочки», Пушкин сам назвал ее «пропущенной главой» и сохранил ее в своих бумагах, не в пример другим частям этой редакции повести[33]. Впрочем, до нас дошел еще один ее фрагмент — черновой набросок заключения «Капитанской дочки» (от слов «Здесь прекращаются записки П. А. Буланина»), с подписью «А. Пушкин» и с датою «23 июня» (бумага с водяным знаком «А. Гончаров. 1830»). Мы относим эти части повести к 1836 г., ибо не имеем никаких оснований для приурочения «пропущенной главы» ни к более раннему времени (когда герой ее еще не был расщеплен на Гринева и Швабрина), ни к более позднему, когда Пушкин заменил имя Буланина на Гринева. От последней рукописной редакции «Капитанской дочки», сохранившейся в архиве Пушкина (VIII, ч. 2, 858—905), «пропущенную главу» отделяют и палеографические признаки бумаги, на которой

она была написана (водяной знак этих листов «А. Гончаров. 1829», в то время как все прочие главы повести писаны на бумаге с водяными знаками «1833», «1834» и «1836»).

Итак, закончив 23 июня 1836 г. первую рукописную редакцию «Капитанской дочки», Пушкин занялся ее перепиской[34], и 27 сентября представил цензору П. А. Корсакову «первую половину» романа; 19 октября рукопись переписана была до конца (VIII, ч. 1, 374) и около 24 октября дополнительно сдана для подписи к печати[35]. В обоих обращениях в цензуру Пушкин настойчиво просил сохранить «тайну» своего имени, предполагая выпустить роман в свет анонимно. Какие-то мелкие изменения пришлось Пушкину внести по требованию цензора в первые главы романа, а по поводу заключительной его части он же должен был письменно разрешить недоуменный вопрос своего официального рецензента: «Существовала ли девица Миронова и действительно ли была у покойной императрицы?» (XVI. 177).

«Имя девицы Мироновой,— отвечал Пушкин 25 октября 1836 г. П. А. Корсакову,— вымышлено. Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как изволите видеть, ушел далеко от истины» (XVI, 177—178).

Исторические черты дворянина-пугачевца, еще очень четкие в начальных планах задуманной Пушкиным повести о поручике Шванвиче, постепенно нейтрализуясь и стушевываясь в линии поведения Башарина, Валуева и Буланина, в окончательной редакции «Капитанской дочки» раздваиваются в образах Швабрина и Гринева. Если этот разлом прежде единого персонажа и был обусловлен в конечном счете соображениями цензурно-тактического, а не художественного порядка (повесть о дворянине, сознательно переходящем на сторону крестьянской революции, не могла рассчитывать на печать), то нет все же никаких оснований для признания вольного или невольного пугачевца Шванвича политическим рупором Пушкина даже в тех вариантах фабулы повести о событиях 1773—1774 гг., которые предшествовали «Капитанской дочке».

VI. РАССКАЗЫ И. А. КРЫЛОВА О СОБЫТИЯХ 1773—1774 гг. В ЗАПИСЯХ И ЛИТЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПУШКИНА

25 февраля и 8 марта 1833 г. Пушкин получил из архива военного министерства первые партии секретной переписки о восстании Пугачева и о действиях правительственных войск по его ликвидации. В числе документов, с которыми познакомился поэт, были и материалы об осаде пугачевцами Яицкого городка, одним из наиболее энергичных защитников которого являлся капитан Андрей Прохорович Крылов, отец баснописца[37]. Понятно, что в числе первых живых свидетелей гражданской войны в Оренбургских степях, опрошенных Пушкиным, был Иван Андреевич Крылов.

Крылов принадлежал к числу тех немногих русских писателей конца XVIII и начала XIX столетия, роль которых в литературном воспитании Пушкина, в его движении к реализму была особенно велика[38].

В своей статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» (1825 г.) Пушкин характеризовал знаменитого баснописца как «представителя духа» русского народа (XI, 34); в полемических заметках 1830 г. он называл Крылова «во всех отношениях самым народным нашим поэтом — le plus national et le plus populaire» (XI, 154), стихами Крылова постоянно уснащал свои статьи и письма, а за недооценку его басен (дискуссия о них закончилась не раньше середины двадцатых годов) горячо упрекал Вяземского (XIII, 89, 238, 240).

Поэтический опыт Крылова, как одного из величайших мастеров художественного слова, его опора на русскую сатирическую традицию, на просторечие и фольклор, его неразрывная связь с национально-демократической культурой, его ориентация на массового читателя, противостоявшая действительным и мнимым достижениям Карамзина и его школы как «литературе для немногих», обусловили тягу в «Беседу любителей русского слова», а не в «Арзамас» наиболее передовых писателей-декабристов, вместе со всеми их учениками и попутчиками.

Характеризуя кризис поэтики Карамзина и развал «Арзамаса», Ю. Н. Тынянов в своей замечательной работе о Пушкине и его литературном окружении конца десятых и начала двадцатых годов почему-то вовсе не уделил внимания ни Крылову, ни Гнедичу и их определяющей роли в

литературно-политической борьбе периода «Арзамаса» и «Беседы»[39]. А между тем учителями и вдохновителями писателей-декабристов, группировавшихся вокруг «Беседы», были, конечно, не престарелый Державин и не мракобес Шишков, не эпигоны классицизма вроде Боброва, Хвостова, Ширинского-Шихматова, а именно Крылов и Гнедич. Их школу прошли Катенин, Грибоедов, Кюхельбекер, В. Ф. Раевский, А. И. Одоевский и даже Рылеев. На Крылова и Гнедича ориентировался и молодой Пушкин, разрывая с традициями «Арзамаса» и создавая, с одной стороны, «Вольность» и «Деревню», а с другой, «Сказки» («Noel»), «Руслана и Людмилу» и весь цикл политических и сатирико-бытовых посланий и эпиграмм 1818—1820 годов.

С исключительной выразительностью о роли Крылова в становлении национально-демократической литературы десятых и двадцатых годов писал Кюхельбекер: «Сегодня ночью — читаем мы в его дневнике от 27 мая 1843 г. — я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя — я называл учениками Крылова... Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин точно обязаны своим слогом Крылову»[40]. Это было мнением не только соратника и современника Пушкина. Белинский во второй своей статье о «Сочинениях Александра Пушкина» утверждал в том же 1843 г., что только «ограниченность рода поэзии, избранного Крыловым», помешала ему быть тем, чем стал Пушкин — «главою и представителем целого периода литературы»[41].

Но и в ту пору, когда величайшие из творческих достижений Пушкина во всех видах и родах поэзии и прозы отодвинули уже в далекое прошлое вопрос о новаторской функции произведений Крылова, великий баснописец продолжал оставаться живым связующим звеном между русскими просветителями конца XVIII в. и Пушкиным. Крылов хорошо помнил цензурно-полицейский террор, которым правительство Екатерины II ответило на выход в свет «Путешествия из Петербурга в Москву». Он же был единственным русским писателем тридцатых годов, которому пришлось слышать и гром пушек Пугачева во время осады восставшими мужиками Яицкого городка.

Нам известны две встречи Пушкина и Крылова, относящиеся к началу 1833 г., — одна из них произошла на засе-

дании Российской Академии 4 февраля[42], а другая через два дня, на похоронах Н. И. Гнедича[43]. Возможно, что в эти дни Пушкин и поделился впервые с Крыловым своими планами повести о Пугачеве (первые варианты нового замысла относились к январю 1833 г.) и тогда же условился о встрече с ним для беседы о событиях 1773—1774 годов. Встреча эта, состоявшаяся 11 апреля 1833 г. в Петербурге, дала Пушкину материал для интереснейшей записи нескольких рассказов Крылова о делах и людях занимавшей его исторической эпохи.

Рассказы Крылова, тщательно учтенные и в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке», до сих пор ни разу, однако, не привлекали к себе внимания ни издателей, ни биографов и комментаторов Пушкина. Приводим запись Пушкина, опубликованную нами впервые в 1936 г., по беловому автографу, хранящемуся ныне в Пушкинском Доме[44]:

«Отец Крылова (капитан) был при Симонове в Яицк<ом> гор<одке>. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на [тогдашн.] тамошние дела и сильно помогли Симонову, который в начале было струсил. Ив<ан> Андр<еевич> находился тогда с матерью в Орен<бурге>. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицк<ой> креп<ости> был заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в росписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном.

Рейнсдорп был человек очень глупый. Во время осады вздумал он было ловить казаков капканами, чем и насмешил весь город, хотя было и не до смеху. После бунта, Ив. Крылов возвратился в Яицк<ий> г<ородок>, где завелась игра в пугачевщину. Дети разделились на две стороны: городовую и бунтовскую, и драки были значительные. Кр<ылов>, как сын капитанский, был предводителем одной стороны. Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, отчего произошло в ребятах, между коими были и взрослые, такое остервенение, что принуждены были игру запретить. Жертвой оной чуть не сделался некто Анчапов (живой доныне). Мертваго, поймав его, в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве — Его отцепил прохожий солдат[45].

11 апр. 1833 г.».

Пушкин широко использовал свои записи рассказов Крылова в «Истории Пугачева». Так, на основании данных Крылова о некоторых подробностях осады Яицкого городка, не получивших отражения в официальных источниках, Пушкин значительно выдвинул фигуру скромного армейского капитана А. П. Крылова, как фактического руководителя защиты крепости, и несколько иронически отнесся к действиям полковника И. Д. Симонова, номинального начальника крепостного гарнизона[46]. Напомним, например, описание в главе четвертой штурма Яицкого городка пугачевцами 31 декабря 1773 г.: «Симонов оробел; к счастию, в крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения» (IX, ч. 1, 37).

Внимательно учтены были Пушкиным и характерные историко-бытовые детали воспоминаний Крылова. Прежде всего мы имеем здесь в виду данные о голоде в осажденном Оренбурге: «Положение Оренбурга становилось ужасным. У жителей отобрали крупу и муку, и стали им производить ежедневную раздачу. Лошадей давно уже кормили хворостом. Большая часть их пала и употреблена была в пищу. Куль муки продавался (и то самым тайным образом) за двадцать пять рублей» (IX, ч. 1, 37—38).

Если точная справка о ценах на муку в голодающей крепости взята была Пушкиным из воспоминаний Крылова как красочная историческая деталь, то в презрительную характеристику действий Оренбургской администрации из записи от 11 апреля 1833 г. перекочевала беглая заметка Крылова о генерале Рейнсдорпе: «Вздумал он, Рейнсдорп, по совету Тимашева, расставить капканы около вала и, как волков, ловить мятежников, разъезжающих ночью близ города. Сами осажденные смеялись над сею военной хитростию, хотя им было не до смеха» (IX, ч. 1, 36).

Воспоминания Крылова легли в основание и концовки рассказа Пушкина о безуспешной попытке захвата пугачевцами Яицкого городка 20 января 1774 г.: «Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом обречен был смерти и четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов» (IX, ч. 1, 45).

Отметим, наконец, перенос из «Истории Пугачева» в

«Капитанскую дочку» следующей ситуации: «Двести казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж» и пр. (IX, ч. 1, 16). В главе седьмой романа действиям капитана Миронова перед вылазкой предшествовала следующая сцена появления казаков-пугачевцев: «В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы... Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги... «Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! Стреляй!»... Между тем мятежники видимо приготовлялись к действию» (VIII, ч. 1, 322—323).

Опираясь на рассказы И. А. Крылова об его отце, герое осады Яицкой крепости, полунищем боевом офицере, выслужившемся из солдат, Пушкин создал в «Капитанской дочке» образ капитана Миронова, тоже выдвиженца из низов, дворянина только по своему чину, пасынка крепостнического государства, но принадлежащего к той славной когорте простых русских людей, которые, служа своей родине, никогда не щадили, по крылатому слову Радищева, «ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства» [47].

В такой же мере, как образ «капитанской дочки» в печатной редакции романа нейтрализовал, с цензурной точки зрения, противоречия образа Гринева, введение в повествование капитана Миронова и поручика Ивана Игнатьевича, отсутствовавших в начальных планах, обеспечивало Пушкину возможность объективного показа исторически-правдивых черт и их антагонистов — самого Пугачева и его соратников, и при том не только в специальном научном труде, как он это сделал уже в 1834 г., но и в романе, рассчитанном на массового читателя.

Из всех дошедших до нас вариантов повести о дворянине-пугачевце только последний ее план («Валуев приезжает в крепость. — Муж и жена Горисовы. — Оба душа в душу. — Маша, их балованная дочь» и пр.) свидетельствует о том, что композиция будущей «Капитанской дочки» уже определилась в своих основных контурах. Новые наметки сцен и характеров позволяют установить, с одной стороны, все большее и большее снижение в замыслах Пушкина образа дворянина-интеллигента, оказавшегося вольным или

невольным соратником Пугачева, а с другой, выдвижение на авансцену новых персонажей, функцию которых в повествовании Гоголь с предельной точностью и остротою впоследствии определил как «простое величие простых людей».

В первых вариантах своих планов Пушкин опирался на предания о Шванвиче, в следующих — на документы о Башарине. Когда же «Капитанская дочка» была уже закончена и готовилась к печати, Пушкин в нескольких строках начатого им предисловия к повести (VIII, ч. 2, 928) глухо упомянул еще об одном источнике своего произведения:

«Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.

Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.

Несколько лет тому назад в одном из наших Альманахов напечатан был » [48].

Что же именно имел в виду Пушкин, ссылаясь в наброске своего предисловия на какой-то «оренбургский анекдот» и переходя затем от этого «анекдота» к его альманашной публикации? Нам представляется, что недописанное Пушкиным предисловие имело непосредственное отношение к фактам использования в некоторых сценах «Капитанской дочки» мемуарных материалов, опубликованных в «Невском альманахе на 1832 год», под названием «Рассказ моей бабушки», за подписью А. К. (инициалы эти принадлежали оренбургскому литератору краеведу А. П. Крюкову) [49].

В основе этого рассказа лежала бесхитростная исповедь его героини, дочери коменданта Нижне-Озерной крепости капитана Шпагина, о тех злоключениях, которые выпали на ее долю после взятия крепости войсками Пугачева. Укрывшись после гибели отца в избе мельничихи, которая выдает капитанскую дочку за свою племянницу и тем спасает от домогательств Хлопуши, Настя Шпагина остается верна своему жениху, молодому офицеру Бравину, находящемуся в Оренбурге; с ним она и соединяется после освобождения Нижне-Озерной правительственными войсками [50].

Нет никаких сомнений, что введение в новую редакцию повести семьи капитана Миронова, равно как и многих конкретных деталей быта степной окраинной крепости, обусловлено было знакомством Пушкина, во-первых, с «Рассказом моей бабушки», опубликованным в «Невском альмана-

хе на 1832 год», а, во-вторых, с рассказами И. А. Крылова, частично записанными им еще в начале апреля 1833 г. Именно эти материалы и позволили Пушкину найти новое и, на этот раз, уже окончательное решение тех больших задач, которые стояли перед ним как автором романа на самую рискованную в условиях николаевской реакции тему — о крестьянской революции.

VII. ПРОБЛЕМАТИКА „ИСТОРИИ ПУГАЧЕВА" И „КАПИТАНСКОЙ ДОЧКИ" В СВЕТЕ „ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" РАДИЩЕВА

22 мая 1833 г. Пушкин вчерне закончил первую редакцию «Истории Пугачева». Этот ранний вариант работы, судя по нескольким дошедшим до нас ее листкам и упоминаниям о ней в переписке поэта, представлял собою предельно сжатую сводку документальных данных о восстании, сделанную на основании материалов архива Военной Коллегии об операциях правительственных войск на фронте крестьянской войны 1773—1774 гг. В этой же сводке самым тщательным образом Пушкиным были использованы все те скудные свидетельства о Пугачеве и пугачевцах, которые проникли за полвека в русскую и зарубежную печать.

Весь материал, оказавшийся в распоряжении великого поэта на первой стадии его труда, характеризовал факты восстания с позиций лишь его усмирителей, так как документальными, мемуарными и фольклорными данными, идущими из лагеря Пугачева, Пушкин еще не располагал. Поэтому и в своих высказываниях о движущих силах крестьянской войны автор «Истории Пугачева» не мог еще идти дальше самых осторожных догадок, проверка которых требовала от него, с одной стороны, значительного расширения круга официальных источников, которыми он был ограничен весною 1833 г., а с другой — личного ознакомления с конкретными условиями хозяйственного и политического быта казачества, крепостного крестьянства и кочевого населения губерний, охваченных пожаром восстания.

Приурочив свою поездку в Казань, Оренбург и Уральск к осени 1833 г., Пушкин последние летние месяцы посвящает окончанию своих работ над собиранием материалов о пугачевщине уже не в государственных, а в частных петер-

бургских и московских архивах. В числе новых исторических источников, свидетельства которых особенно обогащают начальную редакцию «Истории Пугачева», оказывается в эту пору «Осада Оренбурга» П. И. Рычкова, замечательная рукописная хроника очевидца и первого историка занимавших Пушкина событий. Не раньше июня—июля 1833 г. Пушкин получает и редчайший экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, тот самый, который, по свидетельству поэта, в 1790 г. «был в тайной канцелярии» [51].

Книга Радищева была самым широким литературным обобщением политических, социально-экономических и бытовых данных о Российской империи последней трети XVIII столетия. Мог ли Пушкин забыть об этом в пору своих работ над историей Пугачева? Разумеется, нет. Еще в 1823 г., полемизируя с Бестужевым по поводу его «Взгляда на старую и новую словесность в России», Пушкин с негодованием отмечал в одном из своих писем: «Как можно в статье о русской словесности забыть о Радищеве? Кого же мы будем помнить?» (XIII, 64). Позиция Пушкина в этом отношении осталась неизменной и десять лет спустя, когда он, мобилизуя для романа и монографии о крестьянской войне 1773—1774 гг. все, что только дошло до нас об этом в трудах русских и зарубежных «писателей, писавших о Пугачеве» (IX, 398), прежде всего вспомнил о «Путешествии из Петербурга в Москву».

Всем читателям Пушкина хорошо известно, что между 1833 и 1836 гг. он долго и упорно работал над статьями о Радищеве и его книге. Статьи эти занимают важное место в политической и литературной биографии Пушкина. Однако ни в одном из специальных исследований о Пушкине и Радищеве, ни в каких комментариях к «Истории Пугачева» или «Капитанской дочке» мы не найдем даже попутных упоминаний о том, что «Путешествие из Петербурга в Москву» понадобилось великому поэту именно в связи с его изучениями пугачевщины и что книга Радищева оставила гораздо более значительный след в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке», чем все другие русские печатные свидетельства о восстании Пугачева, оказавшиеся в распоряжении Пушкина, не говоря уже о писаниях об этом иноземных авторов, недавно с такой тщательностью выявленных и исследованных в книге Г. П. Блока «Пушкин в работе над историческими источниками».

Книга Радищева не могла, конечно, дать Пушкину фактического материала для документации тех или иных глав «Истории Пугачева». Но значение этого источника для великого поэта было неизмеримо шире, ибо именно «Путешествие из Петербурга в Москву» помогло ему в исключительно быстрые сроки безошибочно определить свою позицию как исследователя крестьянской революции и взять при доработке «Истории Пугачева» осенью 1833 г. именно тот прицел, который обеспечил успех коренного переосмысления всех прежних его представлений о бесперспективности «русского бунта».

В своей «Истории Пугачева» Пушкин необычайно близко подошел к самым острым из социально-политических и философско-исторических проблем, поставленных в «Путешествии из Петербурга в Москву». Мы имеем в виду не только раскрытие и осмысление Радищевым противоречий между дворянином-помещиком и крепостным мужиком, как основного противоречия русской действительности, неустранимого без ликвидации крепостного строя. Пушкин, как и декабристы, как и вся подлинно передовая дворянская общественность двадцатых—тридцатых годов, безоговорочно принимал этот тезис автора «Путешествия». Нас занимает сейчас другой круг вопросов, разрешение которых Радищевым шло гораздо дальше чаяний «дворянских революционеров». Дело в том, что в «Путешествии из Петербурга в Москву» вопрос о судьбах русского государства был впервые не только принципиально отделен от вопроса о судьбе дворянства как правящего класса, но и оптимистически разрешен с позиций порабощенных народных низов:

«О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои. Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнстения лишенны»[52].

Воскрешая в «Истории Пугачева» исторические образы людей, которые «потрясали государством» (VIII, ч. 1, 329), Пушкин, в меру цензурных возможностей, с некоторыми вольными и невольными оговорками и вуалировками, все же сумел впервые в русской историографии показать в действии тот аппарат народной революции, основные черты которого пытался угадать Радищев. Разумеется, и Пугачев,

и Белобородов, и Хлопуша, и Перфильев, и Падуров, и другие выдвиженцы из народных низов были «других о себе мыслей», чем Панины, Потемкины, Чернышевы, Бранты и Рейнсдорпы. Кровная связь новых «великих мужей» с массой трудового народа выражалась не только в том, что они воплощали в своей политической практике волю и чаяния этих масс, но и в том, что эта же самая масса повседневно их контролировала и не позволяла отрываться от нее.

«Пугачев не был самовластен, — замечал Пушкин в третьей главе «Истории Пугачева», — Яицкие казаки, зачинщики бунта управляли действиями пришлеца, не имевшего другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной. Он ничего не предпринимал без их согласия; они же часто действовали без его ведома, а иногда и вопреки его воле. Они оказывали ему наружное почтение, при народе ходили за ним без шапок и били ему челом, но наедине обходились с ним как с товарищем, и вместе пьянствовали, сидя при нем в шапках и в одних рубахах и распевая бурлацкие песни» (IX, ч. 1, стр. 27).

Именно в этом контексте радищевский образ обездоленного «бурлака, обагренного кровию», которому суждено разрешить многое «доселе гадательное в истории российской» [53], впервые получает конкретную документацию на страницах «Истории Пугачева», откуда в более яркой художественной функции перемещается затем и в «Капитанскую дочку».

В особой записке, представленной Пушкиным 26 января 1835 г. царю в дополнение к только что вышедшей в свет «Истории Пугачевского бунта», великий поэт обращал внимание Николая I на то, что в своем труде он не рискнул открыто указать на тот исторический факт, что «весь черный народ был за Пугачева» и что его лозунги борьбы с крепостническим государством нисколько не противоречили интересам прочих общественных классов.

«Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства, — утверждал Пушкин, — Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворянство склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны <...> Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей

цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно» (т. IX, ч. 1, 375—376).

Из этих конфиденциальных «замечаний» непосредственно вытекали два политических вывода, прямо формулировать которые Пушкин по тактическим соображениям не решился, но в учете которых царем не сомневался. Первый вывод заключал в себе признание известной случайности победы помещичье-дворянской монархии в борьбе ее с Пугачевым, а второй сводился к напоминанию о том, что «Пугачевский бунт показал правительству необходимость *многих перемен*». Однако сделанный Пушкиным тут же краткий перечень тех поистине ничтожных «перемен», которые были осуществлены государственным аппаратом (разукрупнение областей, «новые учреждения губерниям», улучшение путей сообщения и т. д.) красноречиво свидетельствовал о том, что неосуществленной осталась важнейшая из реформ, подсказанных правительству уроками пугачевщины. Пушкин имел, конечно, в виду необходимость ликвидации крепостных отношений, таящих в себе угрозу «насильственных потрясений, страшных для человечества». Великий поэт ни в какой мере не претендовал в своем диагнозе на оригинальность. Каждая страница «Истории Пугачева», а впоследствии и «Капитанской дочки», являлась живой документальной и художественной иллюстрацией к политическим обобщениям и прогнозам, гениально намеченным Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву».

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние, — формулировал Радищев свое понимание назревающего революционного взрыва крепостных отношений.— Прорвав оплот единожды, ни что в развитии противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас мечь и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и безчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем... Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем текут ему во вслед, и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не

щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз. Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горе постепенно, и опасность уже вращается над глазами нашими. Уже время, вознесши косу ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитеся» [54].

Цитируемые нами строки из «Проекта в будущем», не являясь прямой авторской речью, очень близки впечатлениям от восстания 1773—1774 гг. в известной записке Д. И. Фонвизина «Рассуждение о непременных государственных законах» (1784 г.). В этом нелегальном документе Российская империя характеризуется как «государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели». Напомним, что Н. М. Муравьев, приспособляя через тридцать с лишним лет записку Фонвизина к задачам агитационно-пропагандистской литературы декабристов, изменил в ней лишь внешний образ «мужика», приблизив его к историческому образу Пугачева: «государство <...>, которое бродяга, никем не наущенный, мог привести в несколько часов на край гибели» [55].

Вопросы, которые волновали еще Фонвизина и Радищева, продолжали оставаться, говоря словами Белинского, «самыми живыми, современными национальными вопросами» и в пору работы Пушкина над «Историей Пугачева». Несмотря на то, что процесс разложения крепостного хозяйства определялся в стране все более явственно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещичьего государства, в течение полустолетия оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «дикого барства» или «великих отчинников», как называл Радищев крупных земельных собственников, со всякими попытками не только ликвидации крепостного строя, но и с какими бы то ни было подготовительными мероприятиями в этом направлении. Естественно поэтому, что Пушкин в середине 30-х годов с таким же основанием, как Радищев в 1790 г., а декабристы в 20-х годах, не возлагает никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков, и так же, как его учителя и предшест-

венники, трезво учитывает политические перспективы ликвидации крепостных отношений или сверху, «по манию царя», или снизу — «от самой тяжести порабощения», т. е. в результате крестьянской революции.

Характерно, однако, что ни Радищев, ни декабристы не склонны были эту грядущую революцию полностью отождествлять с пугачевщиной. В первой трети XIX столетия события крестьянской войны 1773—1774 гг. еще продолжали глубоко волновать представителей передовой русской интеллигенции, но отнюдь не в качестве примера положительного. Изучая опыт этого неудавшегося восстания, затопленного в крови десятков тысяч его участников, Радищев неудачу Пугачева («грубого самозванца», по его терминологии) объяснял тем, что восставшие не имели сколько-нибудь определенной государственной программы, не отрешились от царистских иллюзий и искали «в невежестве своем паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз».

Уроки пугачевщины в их понимании именно Радищевым определяют тактику и вождей декабристов, которые, по свидетельству Н. А. Бестужева, члена директории Северного общества, «положили себе правилом изучение сил и способов российского государства и его постановлений, дабы в случае какого-либо переворота и особенно ежели бы оный начался с низших сословий, быть готовым людям, могущим направить буйное стремление черни, которая никогда не знает сама, чего она хочет, чтобы, действуя совокупными силами и единодушно, остановить могущие от сего произойти неустройства и кровопролития»[56].

Опыт истории полностью, казалось, оправдал худшие из прогнозов Радищева и декабристов. Мы имеем прежде всего в виду кровавую эпопею восстания военных поселян, обусловившую, как это было показано в главе четвертой, вхождение летом 1831 г. в круг ближайших интересов Пушкина проблемы крестьянской революции, вопросов о ее движущих силах, ее лозунгах и перспективах. Эти интересы и привели великого поэта, с одной стороны, к «Путешествию из Петербурга в Москву», к проверке наблюдений и выводов Радищева, а с другой, к собиранию и изучению материалов по истории восстания Пугачева, как самого большого по своим масштабам движения народных масс за весь императорский период российской истории.

Именно «Путешествие из Петербурга в Москву» в конечном счете и помогло Пушкину осмыслить восстание

1773—1774 гг. не как случайную вспышку протеста угнетенных низов на далекой окраине, не как личную авантюру «злодея и бунтовщика Емельки Пугачева», а как результат антинациональной политики правящего класса, как показатель загнивания и непрочности всего крепостного правопорядка. Вот почему имена Радищева и Пугачева оказываются в центре внимания Пушкина и как романиста, и как историка, и как публициста. От Пугачева к Радищеву и от Радищева опять к Пугачеву — таков круг интересов Пушкина в течение всего последнего трехлетия его творческого пути.

Разумеется, было бы большою ошибкою ставить знак равенства между политическими концепциями Пушкина и Радищева даже в пору их известного сближения. Нельзя забывать, что в то время как автор «Путешествия из Петербурга в Москву» не питал никаких иллюзий относительно того, что интересы самодержавно-помещичьего государства несовместимы с чаяниями трудового народа, Пушкин пытался после разгрома декабристов как-то отделить самодержавие, как юридический институт, от его классовой базы и от его же военно-бюрократического аппарата. В этом отношении великий поэт был неправ, но зато он гораздо более четко, чем Радищев, отрывал ненавистную им обоим верхушку правящего класса, придворную и поместную аристократию, от дворянской интеллигенции или, по его терминологии, «просвещенного дворянства»[57]. С позиций последнего Пушкин вскрывал и несовместимость анархо-утопических идеалов крестьянской революции с исторически-прогрессивными тенденциями политического и экономического развития русского государства.

Очень показательно то внимание, которое уделено было в «Истории Пугачева» материалам о быте и нравах яицких казаков, восстановление вольностей которых и их распространение на «всякого звания людей», обездоленных дворянско-помещичьей диктатурой, входило в программу Пугачева: «Совершенное равенство прав, — писал Пушкин, характеризуя казачью общину,— атаманы и старшины, избираемые народом, временные исполнители народных постановлений; круги, или совещания, где каждый казак имел свободный голос и где все общественные дела решены были большинством голосов; никаких письменных постановлений; *в куль да в воду* за измену, трусость, убийство и воровство: таковы главные черты сего управления»

(IX, ч 1, 9). С этой мечтой об установлении в будущей крестьянской империи патриархальных нравов казачьего круга были связаны и многочисленные «указы» Пугачева, тщательно скопированные Пушкиным и сохранившиеся в его архиве (IX ч. 2, 680—688). Обобщения, развернутые Пушкиным в четвертой главе его «Истории», особенно красноречиво свидетельствовали о той угрозе, которая определилась для русского народа и созданного им государства после первых же успехов Пугачева: «Киргиз-кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. Закубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией; даже некоторые из европейских держав думали воспользоваться затруднительным положением, в коем находилась тогда Россия» (IX, ч. 1, 40).

Для правильного понимания позиций Пушкина, как историка пугачевщины, много дает сделанная им самим запись спора его с великим князем Михаилом Павловичем, братом царя, о судьбах русского самодержавия, с одной стороны, и родового дворянства, деклассирующегося исключительно быстрыми темпами в условиях загнивающего крепостного строя, с другой. Имея, очевидно, в виду такие акты, как уничтожение местничества при царе Федоре Алексеевиче, как введение «Табели о рангах» при Петре, такие явления, как режим военной диктатуры императоров Павла и Александра, Пушкин, не без некоторой иронии, утверждал, что «все Романовы революционеры и уравнители», а на реплику великого князя о том, что буржуазия как класс таит в себе «вечную стихию мятежей и оппозиций», отвечал признанием наличия именно этих тенденций в линии политического поведения русской дворянской интеллигенции. Интеллигенции этой, по прогнозам Пушкина, и суждено выполнить ту роль могильщика феодализма, которую во Франции в 1789—1793 гг. успешно сыграло «третье сословие»: «Что же значит — писал Пушкин за несколько дней до выхода в свет «Истории Пугачева» — наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу Аристократации, и со всеми притязаниями на власть и богатства? Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (XII, 335).

Этим пониманием диалектики русского исторического процесса вдохновлены были записи Пушкина в его дневнике от 22 декабря 1834 г., а в черновой редакции заметок об уроках пугачевщины, над которой Пушкин работал в январе следующего года, мы находим следы тех же самых политических раздумий: «Показание некоторых историков, утверждавших, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, совершенно несправедливо. Множество офицеров (по чину своему сделавшихся дворянами) служили в рядах Пугачева, не считая тех, которые из робости пристали к нему» (IX, ч. 1, 478).

Планы повести о Шванвиче — дворянине и офицере императорской армии, служившем «со всеусердием» Пугачеву, в начале 1833 г. сменяются собиранием и изучением материалов о самом Пугачеве и вырастают в монографию о нем. Подготовка к печати этого труда идет в 1833—1834 гг. одновременно с работой над специальной статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву», которая в свою очередь сменяется в 1835 г. собиранием материалов для биографии Радищева. Для своего «Современника» Пушкин готовит в 1836 г. две статьи о Радищеве[58] и роман о Пугачеве. Проблематику именно этих своих произведений Пушкин и имеет в виду, отмечая в начальной редакции «Памятника», написанного вскоре после окончания «Капитанской дочки», свои права на признательное внимание потомков:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Комментаторская традиция, связывающая строки о Радищеве в «Памятнике» с одою «Вольность», представляется нам совершенно несостоятельной. Биографы Пушкина, опирающиеся на эту традицию, во-первых, не учитывают того обстоятельства, что Пушкин в 1836 г. никак не мог придавать большого значения своей юношеской нелегальной оде (он уже в 1825 г. называл ее «детской») и, во-вторых, забывают о том, что «Вольность» Пушкина не столько продолжала и развивала политические установки Радищева, сколько полемизировала с ними с умеренно-либеральных позиций Союза Благоденствия. С проблематикой крестьянской революции, определившей литературно-политическое значение «Путешествия из Петербурга в Москву», как вехи в истории русской национально-демократи-

ческой культуры, связываются не «Вольность» и не «Деревня», а «История Пугачева» и «Капитанская дочка». Именно в этих своих произведениях Пушкин и пошел «вслед Радищеву».

VIII. ПУШКИНСКИЕ ЗАПИСИ РАССКАЗОВ И. И. ДМИТРИЕВА О ВОССТАНИИ ПУГАЧЕВА

1.

В числе источников «Истории Пугачева», впервые введенных в научный оборот Пушкиным, были и неизданные воспоминания И. И. Дмитриева. С разрешения мемуариста Пушкин перенес из его рукописи в свою книгу единственный в своем роде отчет очевидца о казни Пугачева в Москве. Рассказ И. И. Дмитриева частично вошел в основной текст заключительной главы «История Пугачева», а полностью воспроизведен был в примечаниях к ней, с точной ссылкой на рукописный первоисточник.

В «Истории Пугачева» получили отражение не только *записки Дмитриева*, но и некоторые его *устные рассказы* и справки, записанные Пушкиным [59]. Проявив широчайшую инициативу в розысках архивных документов и редких книг о Пугачеве и его окружении, собирая и изучая местный фольклор, лично опрашивая очевидцев тех или иных событий, великий поэт корректировал и дополнял на основании устных свидетельств все то, что можно было извлечь из печатных и архивных источников о делах и людях последней крестьянской войны. Характерно, что больше всего занимали Пушкина при этих опросах те факты, которые или затемнялись в официальной историографии или обходились полным молчанием.

Записи рассказов И. И. Дмитриева, до сих пор вовсе не привлекавшие внимания исследователей, с исключительной непосредственностью обнажают методы собирания и отбора Пушкиным материала, необходимого ему для конкретно-исторического осмысления восстания Пугачева и его ликвидации.

Время и место записей Пушкиным рассказов Дмитриева до сих пор не установлено. Мы полагаем, однако, что и то и другое может быть определено с точностью, почти документальной. В самом деле: надпись, сделанная Пушкиным на обложке, в которой он объединил записи рассказов

Дмитриева с выписками из «Осады Оренбурга» П. И. Рычкова, гласит: «Рычков и Дмитриев. Предания» (IX, ч. 2, стр. 759). Пушкин получил первый список «Осады Оренбурга» Рычкова (всего этих списков у него было три) от историка Г. И. Спасского около 20 июля 1833 г. (XV, стр. 224 и 261). О том же, что к этому времени можно отнести и другую часть записей Пушкина, включенных в ту же обложку[60], свидетельствует определяемая нами дата встречи Пушкина с Дмитриевым в Петербурге в 1833 г.

Как известно, И. И. Дмитриев, оставив еще в 1814 г. пост министра юстиции, почти безвыездно проживал в Москве. Пушкин никогда не принадлежал к числу почитателей его как поэта: «И что такое Дмитриев? — писал он в марте 1824 г. Вяземскому, как бы резюмируя все свои многочисленные резкие высказывания об авторе «Чужого толка» и «Модной жены».— Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова, все его сатиры одного из твоих посланий, а все прочее первого стихотворения Жуковского» (XIII, стр. 89).

С годами резкость высказываний Пушкина о произведениях Дмитриева ослабевает, поскольку и сам Дмитриев почти перестает писать и печататься, но личные их отношения, несмотря на старания общих друзей, несмотря на комплиментарные упоминания о Дмитриеве в «Евгении Онегине» и в «Повестях Белкина», налаживаются очень медленно.

Подчеркнуто официальный характер имеет и черновой набросок обращения Пушкина к Дмитриеву, сохранившийся в одной из записных книжек поэта, относящихся к 1833 году. Вот в каких словах Пушкин просил Дмитриева разрешить ему воспользоваться его неизданными мемуарами в будущей «Истории Пугачева»: «Случай доставил в мои руки некоторые важные бумаги, касающиеся Пугачева (собственные письма Екатерины, Бибикова, Румянцева, Панина, Державина и других). Я привел их в порядок и надеюсь их издать. В Историч. Записках (которые дай бог нам прочесть возможно позже) вы говорите о Пугачеве — и, как очевидец, описали его смерть. Могу ли надеяться, что вы, милостивый государь, не откажетесь занять место между знаменитыми людьми, коих имена и свидетельства дадут цену моему труду, и позволите поместить собственные ваши строки в одном из любопытнейших эпизодов царствования Великой Екатерины? (XV, стр. 62).

Черновик этот не датирован [61], но место его в тетради Пушкина и самый характер записи (тот же карандаш) очень близки черновому наброску письма Пушкина к П. И. Соколову, время написания которого точно приурочивается к концу мая или к первым числам июня 1833 г. (XV, стр. 63). Датируя этими же днями черновой набросок письма к Дмитриеву, мы исходим из того, что 8 июня Дмитриев уже сам был в Петербурге [62]. Осведомленный о его предстоящем приезде, Пушкин, видимо, предпочел отложить переговоры с Дмитриевым о рукописи его исторических записок до личной встречи и не отправил своего письма по назначению. В пользу нашего предположения свидетельствует и тот факт, что ни *беловой текст* письма Пушкина, ни *ответ* на него Дмитриева никому не известны [63].

С полной точностью устанавливается не только дата приезда Дмитриева в Петербург. Мы располагаем печатной информацией и о чествовании Дмитриева на «дружественном обеде», организованном его почитателями 14 июля 1833 г. «по случаю отъезда И. И. Дмитриева из С.-Петербурга». В кратком отчете об этом обеде, опубликованном П. А. Плетневым на страницах «Северной пчелы» от 21 июля 1833 г., упоминались имена только двух сановников, участвовавших в чествовании [64]. Но переписка Вяземского с Дмитриевым позволяет заключить, что на этом обеде состоялась и встреча Пушкина с Дмитриевым. Эта встреча была, разумеется, не единственным их свиданием в Петербурге, но тем не менее, есть все основания утверждать, что именно в этот день состоялась та беседа о делах и людях 1773—1774 гг., результаты которой Пушкин закрепил в своей записи рассказов Дмитриева. В пользу этого предположения свидетельствует самая концовка записи Пушкина, в которой рассказы Дмитриева о временах Пугачева перемежаются анекдотом сенатора Баранова о Державине и замыкаются репликой Дмитриева именно по этому поводу.

Сенатор Д. О. Баранов не принадлежал к числу лиц, с которыми Пушкин мог встречаться в эту пору где-либо запросто или официально [65]. Но этот самый Баранов был старым знакомым и сослуживцем Дмитриева, а чествование Дмитриева 14 июля 1833 г. объединило людей не только нескольких поколений, но и разных литературно-общественных лагерей. Пушкин, видимо, и в этот день не упустил случая заговорить с Дмитриевым о временах Пугаче-

ва, а Баранов, вмешавшись в эту беседу, напомнил об участии в борьбе с Пугачевым Г. Р. Державина. Приводим эту часть пушкинской записи полностью:

«(Слышал от сен. Баранова). Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками — узнал, что множество народу собралось и намерено итти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем — и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил, что за ним идут три полка.

Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства» (IX, ч. 2, стр. 498).

Пушкин внимательно учел рассказ Баранова в своей книге: «Державин — читаем мы в пятой главе «Истории Пугачева» — начальствуя тремя фузилерными ротами, привел в повиновение раскольничьи селения, находящиеся на берегах Иргиза, и орды племен, кочующих между Яиком и Волгою. Узнав однажды, что множество народу собралось в одной деревне, с намерением итти служить у Пугачева, он приехал с двумя казаками прямо к сборному месту и потребовал от народа объяснения. Двое из зачинщиков выступили из толпы, объявили ему свое намерение, и начали к нему приступать с укорами и угрозами. Народ уже готов был остервениться. Но Державин строго на них прикрикнул, и велел своим казакам вешать обоих зачинщиков. Приказ его был тотчас исполнен и сборище разбежалось» (IX, ч. 1, стр. 44).

Таким образом, в печатном тексте «Истории Пугачева» малыковский эпизод оказался тесно увязанным с основными военно-политическими заданиями, которые осуществлял в эту пору Державин в Заволжье, командуя особым карательным отрядом, а его жестокая расправа с восставшими мотивировалась не как безответственное озорство, а как мера самообороны («Народ уж готов был остервениться»). Но сам Пушкин нисколько не сомневался ни в точности рассказа сенатора Баранова, ни в исторической характерности реплики Дмитриева. Не случайно именно эта реплика оказывается в ряду тех материалов, которые Пушкин счел необходимым в особой записке от 26 января 1835 г.

довести до сведения Николая I, фиксируя его внимание на политических уроках пугачевщины. Суждение Дмитриева, не вошедшее в печатный текст «Истории Пугачева», понадобилось Пушкину на этот раз для того, чтобы возможно ярче охарактеризовать пропасть, отделявшую победителей от побежденных. Поэтому оно и было дано в 1835 г. в гораздо более резкой редакции, чем в заметках 1833 г.: «И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости» (IX, ч. 1, стр. 373).

Это аристократическое пренебрежение к «настоящей необходимости» в кровавых деяниях усмирителей пугачевщины, это упоение крепостников победой над восставшими мужиками, этот разгул самых низменных страстей, не контролируемых ни разумом, ни честью, ни совестью — все это прежде всего и захватывает внимание Пушкина в его беседе с Дмитриевым о событиях 1773—1774 гг.

2.

Вчитываясь в пушкинские записи рассказов Дмитриева, нельзя не подивиться тому, как осторожно подходил автор «Истории Пугачева» к своему собеседнику и как издалека начинал он свой опрос. Читателю может даже показаться, что инициатива разговора принадлежит вовсе не Пушкину — так медленно Дмитриев припоминает первые слухи о Пугачеве и так добросовестно Пушкин отражает эту неторопливую старческую речь. Свою запись он начинает рассказом Дмитриева о бегстве Пугачева из Казанской тюрьмы 29 мая 1773 г.:

«Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, ездившего в Симб<ирскую> воеводскую канцелярию с его отцом. Возвратясь слуга рассказывал о важном преступнике, казаке, отосланном в Казань в оковах, с двумя солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками. Пугачев сбирал милостыню, скованный с другим колодником. На улице Замочной решетки стояла кибитка etc (IX, ч. 2, стр. 497).

Почему, однако, передача этого рассказа о бегстве Пугачева обрывается Пушкиным в самом начале? Что значит это «etc»? С какими данными (печатными или рукописными) оно связывалось так тесно, что Пушкин мог не продолжать своей записи, ограничившись беглой ссылкой («etc»)

на известный ему исторический источник? Ответ на все эти вопросы дает рассказ о бегстве будущего самозванца из Казанской тюрьмы в первой редакции «Истории Пугачева», законченной Пушкиным до его встречи с Дмитриевым:

«Пугачев содержался в тюрьме не строже прочих невольников. Между тем сообщники его не дремали. Однажды он, под стражею двух гарнизонных солдат, ходил по городу для собирания милостыни. У Замочной Решетки стояла готовая кибитка. Пугачев подошел к ней, вдруг оттолкнул одного из солдат, его сопровождавших, другой помог колоднику сесть в кибитку и вместе с ним ускакал из городу» (IX, ч. 1, стр. 415).

Пушкин не воспользовался версией Дмитриева для исправления этого момента биографии Пугачева ни в первой, ни в окончательной редакции своей «Истории» [66]. Документальные данные, которыми он располагал, были авторитетнее предания, сохранившегося в памяти Дмитриева. Но рассказ последнего Пушкин все же записал, как любопытный вариант уже известного ему эпизода, обозначив отметкой «etc» отсутствие *других* расхождений между текстом «Истории» и данными Дмитриева. Впрочем, если мы сравним печатную редакцию «Истории Пугачева» с рукописною, то заметим, что рассказ Дмитриева все-таки пригодился Пушкину. Так, в первой редакции «Истории» оставалось неясным, что собою представляла «Замочная Решетка», у которой ожидала Пугачева кибитка с его освободителями. Рассказ Дмитриева позволил Пушкину внести в окончательный текст этого эпизода следующее топографическое уточнение: «у Замочной Решетки (так называлась одна из главных казанских улиц) стояла готовая тройка».

3.

Пушкин, расспрашивая Дмитриева о временах Пугачева, ни на минуту не забывает, что собеседник его не принадлежит к числу тех старожилов, свидетельства которых могли бы осветить внутреннюю историю восстания, воскресить живые образы его вождей, уяснить логику их действий. Поэтому Пушкин и получает от Дмитриева сведения не о людях из лагеря Пугачева, а о стане его врагов. Дмитриев хорошо помнит настроения правящего класса и в пору успехов Пугачева, и в пору его разгрома. Для него

близкими и родными были имена многих помещиков, чиновников и офицеров, умерщвленных пугачевцами. Он не мог быть равнодушным к именам и усмирителей восстания, запомнив на всю жизнь рассказы и слухи о них. Главнокомандующий граф П. И. Панин, генерал-майор В. А. Кар, капитан гвардии Н. Д. Дурново, присланный в Яицкий городок с специальными полномочиями из Петербурга, гвардии поручик Г. Р. Державин, Симбирский комендант Чернышев, председатель Казанской следственной комиссии П. С. Потемкин — вот чьи исторические характеристики Пушкин мог прекрасно уяснить в своих беседах с Дмитриевым.

Правда, мы знаем далеко не всё, что успел вспомнить и рассказать о них Дмитриев, ибо пушкинские записи не стенограмма и даже не всегда конспект, а порою лишь беглые заметки о тех или иных историко-бытовых деталях, о тех или иных действиях конкретных исторических лиц. Но все эти бытовые детали и все эти личные действия регистрируются отнюдь не нейтрально: «Полковник Чернышев был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках <...> Генерал Потемкин имел связь с Устиньей, второй женою Пугачева<...> Панин вырвал клок бороды Пугачева<...> Кар был человек светский и слыл умником <...> Дурнов лежал между трупами» и т. д.

Если мы попробуем расшифровать эти предельно скупые записи на основании других исторических материалов, в том числе и писаний самого Пушкина, то нетрудно будет установить, что автор «Истории Пугачева» явственно строил свой опрос Дмитриева так, что последний из свидетеля против Пугачева невольно превращался в разоблачителя его врагов.

В самом деле, вместо того, чтобы мобилизовать возможно более новых фактов, подтверждающих традиционные утверждения дворянской историографии о жестокостях вождей крестьянского восстания, Пушкин закрепляет на бумаге только то, что дискредитирует больших и малых чинов крепостнического государства. В записях Пушкина перед нами встают «злодеяния» вовсе не Пугачева и его атаманов, а царских генералов, глумящихся над беззащитными, над военнопленными, над заключенными.

Напомним запись Пушкина о графе Панине, который «вырывает клок из бороды» скованного Пугачева; учтем данные о генерале Потемкине, который, руководя прави-

тельственной следственной комиссией в Казани, «живет» с приводимой к нему из тюрьмы семнадцатилетней Устиньей Кузнецовой, женою Пугачева; вдумаемся в рассказ о Державине, вешающем крестьян лишь «из поэтического любопытства». Все это бьет в одну точку, все это не только разоблачает деятелей государственного аппарата крепостнического государства, но и показывает непроходимую пропасть между победителями и побежденными, между рабовладельцами и рабами. Даже такие безразличные, на первый взгляд, сведения, как справки Пушкина о первом главнокомандующем войсками, посланными против Пугачева, генерале В. А. Каре или о Симбирском коменданте полковнике Чернышеве, шедшем на выручку осажденного Оренбурга, но разгромленном Пугачевым, вносили характерные дополнительные черты в биографии «усмирителей», уже дискредитированных в основном тексте «Истории Пугачева». В самом деле, генерал Кар, трус и дезертир, самовольно сложивший с себя командование и бежавший с фронта в Москву, известен был не столько своими боевыми подвигами, сколько полицейскими операциями в оккупированной Польше, а полковник Чернышев («тот самый») стал и полковником и симбирским комендантом только потому, что его брат был некогда камер-лакеем при дворе цесаревны Екатерины Алексеевны. После дворцового переворота 1762 г. Екатерина сделала своего бывшего лакея бригадиром и комендантом Кронштадта, а брата его подполковником и начальником гарнизона Симбирска. Эти красочные биографии «екатерининских орлов», записанные Пушкиным со слов Дмитриева, без лишних слов напоминали о том, что Белобородов, Хлопуша, Чика, Перфильев и другие пугачевские «господа енаралы» по своим воинским и организаторским талантам и личным боевым доблестям были много выше командиров царской армии из камер-лакеев, тюремщиков и палачей.

Свои впечатления от действий тех и других Пушкин не всегда, разумеется, мог развернуть в печатном тексте «Истории Пугачева», но о позиции его и здесь достаточно четко свидетельствовали не только отдельные штрихи персональных характеристик Бранта, Кара, Рейнсдорпа, Потемкина, Чернышева, но и обобщения самых ответственных разделов повествования. Такова была, например, в главе третьей оценка действий высшего оренбургского командования: «К несчастию, между военными начальниками не

было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с самого начала, они дали время Пугачеву усилиться и лишили себя средств к наступательным движениям» (IX, ч. 1, 23). Такова была едкая сентенция в главе седьмой о поведении казанского генералитета: «Если бы Потемкин и Брант сделали бы свое дело и успели удержаться хоть несколько часов, то Казань была бы спасена»[67]. Такова же была характеристика в главе восьмой событий после разгрома Пугачева под Казанью: «Переправа Пугачева произвела общее смятение. Вся западная сторона Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались; иноверцы и новокрещенные стали убивать русских священников. Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий; чернь ловила тех и других, и отовсюду приводила к Пугачеву» (IX, ч. I, 68).

Резко характеризуя бездарность, расхлябанность, трусость и бессмысленную жестокость представителей государственного аппарата, чуждых и враждебных народу, не понимающих ни его нужд, ни чаяний, ни условий политического и экономического быта, Пушкин явно опирался в своей истории крестьянской войны 1773—1774 гг. на тот приговор, который вынесен был помещичье-дворянской верхушке еще в «Путешествии из Петербурга в Москву»[68]. Концепцию Радищева в этом отношении полностью подтверждали и все те материалы, которые Пушкин получил для «Истории Пугачева» в результате опроса И. И. Дмитриева[69].

IX. МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ПУШКИНА О СЕКУНД-МАЙОРЕ Н. З. ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКОМ — ПЛЕННИКЕ ПУГАЧЕВА

В числе корреспондентов Пушкина в пору его работ над «Историей Пугачева» был и его старый приятель еще по «Зеленой лампе» В. В. Энгельгардт, известный петербургский острослов, игрок и веселый прожигатель жизни. Инициативе именно Энгельгардта Пушкин обязан был получением из Смоленской губернии интереснейшей записи рассказов капитана Н. З. Повало-Швейковского, бывшего сперва пленником, а затем стражем Пугачева в 1774 г. Мемуары невольного пугачевца В. В. Энгельгардт передал Пушкину вместе с письмом, при котором они были им получены[70].

Вот текст письма С. Энгельгардта:

Почтеннейший братец,
Василий Васильевич!

Желая исполнить со всем усердием ваше поручение был у Швыйковского. Написанное со слов его прилагаю к вам присоединя к Пугачеву и Биографию Н. З., почтенного героя времен Екатерины.

Будьте здоровы, веселы, а я ваш навсегда преданный сердцем и душою

С. Энгельгардт.

P. S. Переписать на чисто не имел времени. Н. З. свидетельствует вам свое истинное душевное почтение и горит нетерпением читать скорее историю Пугачева.

Марта 21
1834.

К письму приложен был следующий документ:

БИОГРАФИЯ СЕКУНД-МАИОРА
Николая Захарьевича Повало-Швыйковского

Н. З. Швый<ковский> уроженец Смоленской Губернии Духовщинского уезда *. Жительство имеет в с. Мореве.

В службу вступил в 1769-м году в Измайловский полк рядовым и того же года произведен в капралы. В 1770-м году в Декабре месяце выпущен подпоручиком в Армию в Черниговский пехотный полк. В походах был при завоевании Крыму и по взятии г. Перекопа в 1771-м <году> произведен из подпоручиков в капитаны с переводом во 2-й Гренадерский полк, по Именному соизволению, за отличие. В том же году находился при взятии Кафы. В последствии продолжал службу в Пугачевской Экспедиции, за которую и получил награду от Государыни Императрицы 250-т душ, Витебской Губернии Невельского повета, в вечное и потомственное владение. В отставку уволен за болезнию 1777-го Генваря... дня...

Вот что говорит Швыйковский о Пугачевской войне.

В плен попался к Пугачеву в 1773-м году в сражении при с. Горы в 25-ти верстах от Казани, в то время когда

* Он родился 1752-го года, мая 9.

бросился с несколькими рядовыми отбить захваченное у нас орудие.

По взятии немедленно представлен Пугачеву на самом поле сражения. Он был на добром коне. Свиту его составляли Яицкие казаки, из которых самые приближенные к нему Чика, Творогов — и нашей службы артиллерист Перфильев, перешедший к нему из Оренбургского поселения.

Пугачев росту среднего, чернобородый, глаза небольшие, быстрые, стану ровного, одет по-казачьи, вооружен саблею и пистолетами за поясом.

Он у меня спросил: ты дворянин? — «Нет» — Так видно хорошо служишь.— Много ли здесь вас? — «500 человек».

Но нас только было 150-т. Меня обобрали и отдали под присмотр. Плен мой продолжался с утра до полуночи. В сие время, заметя оплошность моей подгулявшей стражи, нашел я средство уйти вместе с захваченными со мной рядовыми. В тот же день явился я к Премьер-Маиору Михельсону, расположенному с войском на Арском поле близ Казани. Михельсон известясь от меня мгновенно напал на Пугачева, разбил и преследовал вниз по Волге.

Последнее действие противу Пугачева происходило следующим образом. Быв разбит переправился он через Волгу с 30-ю человеками и скрылся в камыше, который по приказанию Суворова был зажжен Михельсоном. Потом Пугачев взят в плен и отвезен в Симбирск в деревянной клетке. Суворов сам привез его, следуя за ним в простой телеге.

Прежде сего дела я командирован был с полковником драгунского полка Абернибесовым для охранения Симбирска. При отправлении же Пугачева из Симбирска в Москву находился в числе стражи.

Путь наш продолжался не долго. Мы ехали на переменных обывательских лошадях, и везли Пугачева скованного по рукам и по ногам не в клетке, а в зимней кибитке. Всем сопутствующим разговор с ним был воспрещен. Пища ему производилась сытная и пред обедом и ужином давали порцию простого вина. Пленника везли только днем, а ночь проводили за крепким караулом на приуготовленных квартирах.

По прибытии в Москву, Пугачев содержался на монетном дворе и занимал особую комнату, имеющую вид тре-

угольника. Цепи имел на руках, ногах, и укрепленную в стене, поперек тела. Стража состояла из 10-ти человек Преображенцев и роты 2-го Гренадерского полка, под командою капитана Карташева. Главным же начальником конвоя был Гвардии Преображенского полка капитан Галахов, сопровождавший его от Симбирска до Москвы и находившийся при нем по день казни, т. е. по 10-е Генваря 1775-го года.

В продолжении заключения своего Пугачев не показывал робости, сохранял равнодушие. Одет был со времени плена в нагольный тулуп. Везли Пугачева на казнь в цепях, на зимнем ходу четверкою с форейтором. На санях был амвон, на котором возвышении и сидел Пугачев вместе с духовником своим, увещевающим его к раскаянию. Народу было большое стечение. Пугачев часто обращался к окружающим и говорил, что он самый тот Пугачев, который назывался Петром III-м.

По прибытии к месту казни, палач отрубил ему прежде голову, а там принялся за руки и ноги; за это он в то же время был наказан кнутом.

Вместе с Пугачевым повешены и несколько сообщников его.

Примечания

Пугачев родом Донец и отличался наездничеством. При взятии Бендер граф Петр Иванович Панин за храбрость произвел Пугачева в значковые товарищи.

Пугачев от живой жены вступил в брак с Яицкою казачкою.

Она была дочь кузнеца — баба видная, имя ее Устинья Петровна.

На Дону семейство Пугачева составляли: жена, сын и дочь.

Перфильев заведывал у Пугачева артиллериею — но была она весьма малочисленна — едва ли доходила до 10-ти орудий. Войска его определить с точностию невоз-

можно — оно беспрестанно возрастало и уменьшалось. Тут было все — казаки, мужики и разные бродяги [71].

К моменту получения этих интереснейших записей работа Пушкина над «Историей Пугачева» была уже закончена. И тем не менее следы знакомства поэта с материалами Н. З. Повало-Швейковского нетрудно установить в печатном тексте его книги. Мы имеем в виду прежде всего дополнения и поправки, внесенные Пушкиным (вероятно, уже в процессе корректуры) в ту страничку восьмой главы «Истории Пугачева», которая посвящена была изложению обстоятельств, связанных с перевозкой пленного самозванца в Москву:

Рукописная редакция	*Печатная редакция*
Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была быть решена. Его посадили в клетку, в которой привезен он был Суворовым из Яицкого Городка. Он был в оковах [72].	Наконец Пугачева отправили в Москву, где участь его должна была решиться. Его везли в зимней кибитке, на переменных обывательских лошадях; гвардии капитан Галахов и капитан Повало-Швейковский, несколько месяцев пред сим бывший в плену у самозванца, сопровождали его. Он был в оковах.

Из трех фактических ошибок повествования Н. З. Повало-Швейковского, в общем исключительного по своей точности, одна восходила к общераспространенному после казни Пугачева убеждению, что палач самовольно сократил мучительный обряд четвертования, две же другие касались Афанасия Перфильева, неверно названного «нашей службы артиллеристом» и «заведующим у Пугачева артиллерией». Престарелый пленник Пугачева явно спутал в своем рассказе двух вождей восстания 1773—1774 гг. — сотника Яицкого казачьего войска Афанасия Перфильева и отставного артиллерийского капрала Ивана Белобородова.

Известная близость этих двух исторических персонажей, объясняя сейчас нам причину ошибки (или обмолвки) Н. З. Повало-Швейковского, позволила Пушкину во время работы его над материалами по истории пугачевщины объединить справки о Белобородове и Перфильеве общим заголовком. Рукопись, о которой идет речь (два полулиста белой бумаги обычного канцелярского формата с вод. зн. «А. Гончаров. 1829»), обнаружена нами в архиве П. Е. Щеголева; никаких упоминаний о ней в печати никогда не было. Первый полулист занят заголовком, вто-

рой — выпиской и заметкой. Одно слово в выписке Пушкиным подчеркнуто и сопровождено знаком вопроса — очевидно отклик на нелепость обозначения: «в 10 ч. пополудни» вм. «в 10 ч. утра»:

О БЕЛОБОРОДОВЕ И ПЕРФ<ИЛЬЕВЕ>.

Иван Наумов сын Белобородов, отставной канонер, пристал к Пуг. 1773 году, пожалован им в полковники и в походные атаманы, а потом в начале 1774 в старшие войсковые атаманы, и в фельдмаршалы. Был жесток, знал грамоты, соблюдал в шайках строгую дисциплину. Взят в июле под Казанью, пытан в Тайной экспедиции, наказан кнутом 13 августа, потом привезен в Москву и казнен смертью на Болоте 5 сентября 1774 — в 10 час. *пополудни* (?)

(Б.-Каменский)

Перфил<ьев> сказал: пусть лучше зароют меня живого в землю, чем отдаться в руки Государыни[73].

Материалы Д. Н. Бантыша-Каменского, полностью впоследствии опубликованные им самим в «Словаре достопамятных людей русской земли», оказались в распоряжении Пушкина уже после того, как «История Пугачева» была сдана в печать. Поэтому они и не получили отражения в тех исключительно кратких справках о Белобородове и Перфильеве, которые мелькают на страницах монографии великого поэта в главах первой, третьей, шестой и восьмой. И все же печатаемая нами выписка о Белобородове и Перфильеве пригодилась Пушкину. Всем памятна в одиннадцатой главе «Капитанской дочки» сцена спора Белобородова с Хлопушей, в которой так колоритно показаны были на основании документов Бантыша-Каменского и большой ум, и классовая бдительность, и непримиримость, и решительность этого «тщедушного и сгорбленного старичка с голубою лентою, надетой через плечо по серому армяку» (VIII, ч. I, 347—350). Характерно, что Пушкин, работая над материалами Бантыша-Каменского, учитывал только точные биографические и бытовые детали, восходящие к документальным и мемуарным первоисточникам, и самым решительным образом отбрасывал все то, что в этих писаниях обусловлено было ненавистью к героям крестьянской войны и типичными для консервативно-дворянской историографии формами казенной фразеологии.

X. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ГРИНЕВА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ КОНЦА XVIII И НАЧАЛА XIX СТОЛЕТИЯ О ПУТЯХ И СРОКАХ ЛИКВИДАЦИИ РАБОТВА РУССКИХ КРЕПОСТНЫХ КРЕСТЬЯН

В концовке третьего из дошедших до нас вариантов плана повести о Шванвиче мы находим неожиданное упоминание имени Дени Дидро («Дидерот»). Великий французский просветитель упоминается в этом плане в связи с хлопотами старого Шванвича в Петербурге за сына, оказавшегося в рядах соратников Пугачева: «Отец едет просить Орлов<а>. Екатер<ина>. Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, ч. 1, 929).

Переписка Пушкина позволяет установить, что за четыре или за пять месяцев до этого варианта плана повести о Шванвиче он жил в Москве, где «хлопотал по делам», а на досуге беседовал с П. В. Нащокиным и читал «Mémoires de Diderot» (XV, 32).

О каких же «Мемуарах» Дидро шла речь в этом автопризнании и какое отношение они могли иметь к замыслу повести о Шванвиче? Ответ на этот вопрос облегчает библиотека Пушкина. В описании ее, сделанном Б. Л. Модзалевским [74], зарегистрирован четырехтомник под названием «Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d'apres les manuscrits confiés, en mourant, par l'auteur à Grimm», Paris, 1830—1831.

Правда, самый внимательный анализ статей, заметок и писем Дидро в этом издании не дает материала ни для каких ассоциаций имени Дидро с именами Шванвича и Пугачева, но в предисловии к четырехтомнику дочери Дидро, госпожи Вандейль [75], внимательный читатель обнаруживает беглую справку о поездке Дидро в Петербург, позволяющую установить, что «самый ревностный из апостолов Вольтера», как Пушкин аттестовал Дидро, с сентября 1773 г. по февраль 1774 г. жил в столице Российской империи, т. е. находился в ней весь тот отрезок времени, который соответствует начальным месяцам восстания Пугачева и его наибольшим успехам. Это совпадение дат, очевидно, и привлекло внимание Пушкина к Дидро при разработке планов «Капитанской дочки».

Трудно сказать, какова была бы функция «Дидерота» в фабуле романа, если бы Пушкин не отказался от своего начального замысла. Судить об этом приходится тем осторожнее, что ни в сочинениях, ни в переписке Дидро не со-

хранилось не только прямых высказываний, но даже попутных упоминаний о пугачевщине. Тем не менее, однако, позиция Дидро была совершенно ясна для Пушкина.

В пору работы над повестью о Шванвиче поэт уже располагал одним из редчайших списков еще не изданных тогда воспоминаний княгини Е. Р. Дашковой, в которых она на протяжении нескольких страниц передавала о своих спорах с Дидро о «рабстве наших крестьян». Эти споры происходили в Париже за три года до восстания Пугачева. Дидро, обращаясь к княгине Дашковой, как к влиятельной представительнице правящего класса, требовал от русских помещиков скорейшей эмансипации крепостных крестьян, доказывая, что даже те их прослойки, благосостояние которых сравнительно обеспечено, «будь они свободны, стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче». Княгиня Дашкова, возражая Дидро, связывала проблему раскрепощения крестьян с расширением политических прав русского дворянства и с общим поднятием в стране «просвещения»:

«Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, тогда как они тогда только сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления» [76].

Кн. Дашкова принадлежала к той придворной псевдоаристократии, к той «новой знати», которая приходила к власти с каждым новым дворцовым переворотом, с каждым новым временщиком. Пушкин, как это мы уже отмечали, характеризуя генетику образа А. П. Гринева, был глубоко враждебен этим «великим отчинникам», своекорыстно стоявшим на страже крепостного строя, идеологам социального и политического регресса. Разумеется, кн. Дашкова не с Гриневым и не с Дубровским, а с Паниным и Троекуровым. Пушкин прямо говорит об этом в черновой редакции первой главы романа «Дубровский»: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выдти в отставку и поселиться в остальной своей деревне» (VIII, ч. 1, 162).

Сентенции мемуаров кн. Дашковой о «просвещении» и «свободе» в ее споре с Дидро, оправданные, с точки зрения

апологетов помещичье-дворянской диктатуры, всем последующим ходом русской истории, начиная от «ужасов» пугачевщины и кончая восстанием военных поселян, оставили определенный след не только в планах повести о Шванвиче, но и в окончательной редакции «Капитанской дочки». Мы имеем в виду философско-исторические афоризмы Гринева, прерывавшие в шестой главе романа рассказ о пытке, которой подвергают старого башкирца, распространявшего в Белогорской крепости «возмутительные листы» Пугачева: «Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений» (VIII, ч. 2, 318—319).

В главе тринадцатой эти же размышления Гринева подтверждались знаменитой формулой: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (VIII, ч. 1, 364), более развернутая редакция которой намечалась в «пропущенной главе» романа: «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, коим чужая головушка — полушка, да и своя шейка — копейка» (VIII, ч. 1, 383—384).

Для правильного понимания сентенций, характеризующих политическую платформу Гринева, далеко недостаточно сослаться на их связь с установочными положениями кн. Дашковой в ее споре с Дидро, хотя эта связь и совершенно бесспорна. Не менее бесспорна близость мыслей Гринева и их словесного оформления тем пессимистическим суждениям о революции, как о тормозе прогресса, которые Н. М. Карамзин декларировал в «Письмах русского путешественника».

«Утопия (или царство счастия) — писал Карамзин — будет всегда мечтою доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов... Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот[77].

В устах Гринева эта убогая «философия истории» не

производила впечатления анахронизма, тем более что она документировалась в его же обращении к читателям ссылкой на «кроткое царствование императора Александра». Можно ли, однако, ставить знак равенства между суждениями автора «Капитанской дочки» и его «героя», если нам хорошо известно, что Пушкин всегда был глубоко враждебен тем идеологам дворянского консерватизма, мысли которых популяризировал Гринев? Больше того, борясь с философски-историческими принципами и кн. Дашковой и Карамзина, Пушкин никогда, по собственным его словам, не принадлежал к числу «подобострастных» поклонников культуры XIX столетия, отвергая ее антигуманистический характер, свой век считал «жестоким веком» и, вопреки Гриневу, не имел никаких оснований идеализировать Александра I, которому «подсвистывал» до самой его смерти.

И тем не менее, в течение ста с лишним лет биографы Пушкина искали в афоризмах Гринева ключей, определяющих общественно-политические позиции Пушкина последних лет его жизни. Произвольно ставя знак равенства между высказываниями Гринева и мыслями Пушкина о крепостническом государстве и о крестьянской революции («русском бунте, бессмысленном и беспощадном»), литературоведы и консервативно-дворянского лагеря и буржуазно-народнической ориентации, несмотря на всю полярность их конечных целей, десятки лет с одинаковой энергией поддерживали легенду, о Гриневе, как рупоре великого поэта, непосредственном выразителе его идей и настроений [78]. Эта легенда в той или иной форме продолжает бытовать и в суждениях о Пушкине некоторых советских литературоведов [79].

Изучение генезиса суждений Гринева о культуре и революции привело нас к общественно-политическим взглядам кн. Дашковой и Карамзина. Как прописные истины, характерные для консервативно-дворянского мышления, дидактические афоризмы Гринева, в тех же словах и в той же художественной функции, определились в творческом сознании Пушкина не в процессе его работы над образами «Капитанской дочки», а в пору изучения им «Путешествия из Петербурга в Москву» и связанных с этим изучением попыток обеспечить любою ценою широкую дискуссию вокруг выдвинутых Радищевым проблем ликвидации крепостных отношений.

Книгу Радищева Пушкин знал давно — и знал не пона-

слышке. Не являлись новостью для него и те споры о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», которые волновали передовых русских людей десятых и двадцатых годов. Пушкин был близок с Н. И. Тургеневым еще в ту пору, когда будущий вождь Союза Благоденствия, негодуя на низкий культурный уровень верхушки русского поместного дворянства, следующим образом обобщал свои мысли по этому поводу: «Есть ли верить — писал он 14 ноября 1817 г. своему брату — словам тех, которые говорят, что образованность и свобода рождаются единственно от просвещения и что хорошие писатели всего более действуют на образованность, есть ли верить словам сим, то в последние 30 лет мы далеко должны бы уйти вперед и в образованности и в свободе. Но опыт не подтверждает слов сих». И далее: «Свобода, устройство гражданское производят и образованность и просвещение. *Одно просвещение* никогда не доведет до свободы. Франция прежде революции была в сем случае убедительным доказательством. Напротив того, одна свобода неминуемо ведет к просвещению» [80].

В письме от 13 октября 1818 г. Н. И. Тургенев писал тому же своему корреспонденту: «Беда, как мы и в просвещении пойдем назад. По крайней мере идти недалеко — «Мы на первой странице образованности» — сказал я недавно молодому Пушкину — «Да, отвечал он, мы в *Черной Грязи*» [81].

Эта Черная Грязь, как меткое символическое обобщение следствий затянувшейся диктатуры «дикого барства», имела в каламбуре Пушкина двойной упор, ассоциируясь не только с названием первой ямской станции на большой дороге из Москвы в Петербург, но и с заголовком заключительной главы книги Радищева, той главы («Черная Грязь»), где подытоживались его мысли о «горестной участи многих миллионов» жертв «самовластия дворянского» [82].

Возобновляя старый спор Дидро с кн. Дашковой о «просвещении» и «свободе» и переводя эту дискуссию в условия десятых годов нового века, и молодой Пушкин и Н. И. Тургенев в борьбе со своими оппонентами имели на вооружении не только «Путешествие» Радищева. В 1804 г. вышла в свет в Петербурге книга И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России». Страстный противник крепостничества, автор этого замечательного трактата жил и работал в пору феодальной реакции, в пору лик-

видации всех завоеваний якобинской диктатуры во Франции, в пору величайшего кризиса революционно-демократических традиций, пересматриваемых и дискредитируемых и в Западной Европе и в России ревизионистами всех мастей. Поэтому И. П. Пнин, несмотря на весь пафос своей антикрепостнической проповеди, отнюдь не является сторонником революционной ломки исторически сложившихся форм социально-политического быта. Он верит и в реформы сверху, принимает не только царя, но и сословное государство, в котором все четыре основных «состояния» — дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство якобы «необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее». И все же Пнин отказывается понимать, почему в России «из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице». Автор «Опыта о просвещении» никак не может согласиться с тем, чтобы «участь толико полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человеков,— человеков, их питающих и даже прихоти их удовлетворяющих, поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими. Ужасная мысль!» [83].

Программа ликвидации крепостных отношений, с которой Пнин обращается к верховной власти, не выходила из рамок самой строгой легальности: «Самый важнейший предмет, долженствующий теперь занимать законодателя — писал Пнин — есть тот, чтобы *предписать законы, могущие определить собственность земледельческого состояния, могущие защитить оную от насилий, словом: сделать оную неприкосновенною.* Когда таковые законы получат свое бытие, тогда только наступит настоящее время для внушения сему состоянию его *прав*, его *обязанностей*. Тогда только с успехом внушать ему можно будет пользы, от трудолюбия проистекающие; тогда только надежным образом можно будет привязать земледельцев к земле, как к источнику их удовольствий и благосостояния. Тогда только с уверительностью приступить можно к их образованию, открыть им путь *к истинному просвещению*, долженствующему пролить на них целебный и благотворный свет свой, который не будет уже противоречить, но будет соответствовать пользам, от оного ожидаемым». И. П. Пнин не сомневается, что «там,

где нет собственности, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая *причина* соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую»[84].

«Опыт о просвещении» И. П. Пнина лег в основание двух антикрепостнических трактатов, вышедших из среды декабристов. Один из них — «Нечто о состоянии крепостных крестьян» — принадлежал Н. И. Тургеневу и подан был в конце 1819 г. царю через С.-Петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича[85]. Второй — «О рабстве крестьян»— вышел в конце 1820 г. из-под пера капитана В. Ф. Раевского и представлял собою гневную отповедь на записку известного идеолога крепостников графа Ф. В. Ростопчина «Замечания на книгу графа Стройновского «Об условиях помещиков с крестьянами».

«Не человек созревает для свободы, — писал Раевский,— но свобода делает его человеком и развертывает его способности, ибо почти справедливо заключает Аристотель, что добродетель не может быть свойственна рабам <...> Голос некоторых «еще рано, еще умы не готовы» значит или выражает отголосок деспотизма и малодушия, — делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно... Крестьянин, не имеющий никакого голоса... может ли созреть для свободы? — Нет, отягощение приводит его в отчаянное бездействие и невнимание к собственному»[86].

Пушкин был одинаково близок и с Н. И. Тургеневым и с В. Ф. Раевским. Поэтому у нас есть все основания утверждать, что спор о взаимосвязях «просвещения» и «свободы», получивший отражение и в первой и во второй из отмеченных выше декабристских записок о необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений, ему был не менее памятен в пору работы над «Капитанской дочкой», чем парижская дискуссия Дидро с кн. Дашковой.

14 декабря 1825 г. спор о «просвещении» и «свободе» решен был не в пользу Пушкина и его друзей. Дальнейший ход событий в этом отношении был еще более неутешителен. Под непосредственным впечатлением победы июльской революции во Франции шеф жандармов граф Бенкендорф широко прокламировал в конце 1830 г. подсказанный ему кем-то тезис о том, что «Россию наиболее ограждает от бед-

ствий революции то обстоятельство, что у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи; но, что по этому самому не должно слишком торопиться ее просвещением, чтобы народ не стал, по кругу своих понятий, в уровень с монархами и не посягнул тогда на ослабление их власти»[87].

По сути дела в этих установках не было ничего неожиданного, так как еще в 1826 г., в ответ на пушкинскую «Записку о народном воспитании»[88] тот же Бенкендорф от имени Николая I ставил на вид поэту, что принятое им «правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия», завлекшее его самого «на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному» (XIV, 315). Новым в рекомендациях Бенкендорфа, сделанных через четыре года после прочтения царем «Записки о народном воспитании» Пушкина, было только то, что «просвещение» открыто признавалось несовместимым на данном этапе с интересами русского самодержавия, что, в свою очередь, отодвигало на самое неопределенное время и ликвидацию крепостных отношений.

К «Путешествию из Петербурга в Москву» и к его проблематике Пушкин вновь обратился через восемь лет после разгрома декабристов и через четыре года после восстания военных поселян. Свою работу над статьей о книге Радищева он начал в Болдине в первых числах декабря 1833 г., тотчас же после окончания второй редакции «Истории Пугачева». Эта редакция, созданная под впечатлением «Путешествия» Радищева, отменила первый вариант монографии о Пугачеве, вчерне законченный в конце мая 1833 г. в Петербурге.

Одной из наиболее острых и ответственных частей статьи Пушкина являлся тот ее раздел, который посвящен был предпоследней главе книги Радищева («Пешки») и назывался в его беловой редакции «Русская изба» (XI, 256—258). Именно в этой части своего трактата Пушкин характеризовал с наибольшей четкостью и полнотою правовое положение русского крестьянина и условия его экономического быта, именно в этом разделе определял свое отношение к особенностям подхода Радищева к занимавшим их обоих большим проблемам и реагировал на железную логи-

жу суждений автора «Путешествия из Петербурга в Москву» о неотвратимости крестьянской революции, если крепостничество в ближайшее же время не будет ликвидировано тем или иным путем сверху.

Трудности, стоявшие перед Пушкиным, как политическим публицистом, усугублялись еще и тем, что писал он не памфлет, рассчитанный на нелегальное распространение, а статью для печати. Он хорошо знал о невозможности в цензурно-полицейских условиях тридцатых годов хоть сколько-нибудь свободной трактовки вопросов, поставленных в книге Радищева, а потому и писал о них с исключительной осторожностью, избегая точных цитат и обнаженных формулировок, часто лишь «намеками, тем эзоповским, проклятым эзоповским языком, к которому — по известной сентенции В. И. Ленина — царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения»[89].

Самым заголовком «Русская изба» Пушкин искусно маскирует тематику этого раздела своей работы и усыпляет бдительность цензуры, переводя внимание читателя с политических выводов Радищева на его бытовые зарисовки. Якобы всерьез стремясь подорвать не только общие заключения, но и конкретные наблюдения автора «Путешествия». Пушкин иронизирует по поводу его «приторных и смешных» сравнений русского крестьянина с «несчастными африканскими невольниками», по поводу его «карикатурного» описания условий быта русского мужика. Пушкин подчеркивает свое нежелание быть голословным и, в противовес Радищеву, мобилизует большой и разнообразный сравнительно-исторический материал — от «Путешествия в Московию» Мейерберга и зарисовок французской деревни в книгах Лабрюйера и Севиньи до «Писем из Франции» Фонвизина. И действительно, некоторые параллели, извлеченные из этих источников, давали основание утверждать, что быт французского хлебопашца XVII—XVIII столетия был не лучше, а хуже условий жизни русского крестьянина той же поры. Но, выдвигая этот тезис, утешительный для мышления апологетов крепостного строя, Пушкин как бы вскользь, на ходу, вносит в свои заключения оговорку, совершенно аннулирующую цепь всех предшествующих сопоставлений. В самом деле, если Фонвизину, путешествовавшему по Франции лет за 15 до «Путешествия из Петербурга в Москву», судьба русского крестьянина «показалась

счастливее судьбы французского земледельца», если по авторитетным свидетельствам других наблюдателей «судьба французского крестьянина не улучшилась» ни в царствование Людовика XV, ни в правление его сына, то впоследствии, по удостоверению Пушкина, «все это, конечно, переменилось» (XI, 231). В начальной редакции главы эти строки имели еще более выразительную концовку: «И я полагаю, что французский земледелец ныне счастливее русского крестьянина» (XI, 231). Пушкин прямо не говорит о причинах этого коренного изменения условий быта «французского земледельца», но и из контекста совершенно ясно, что французский крестьянин стал счастливее *после* царствования «преемника Людовика XV», т. е. в переводе с эзоповской фразеологии на общепонятную, *после казни Людовика XVI* и ликвидации революционным путем королевской власти и дворянского землевладения.

Итак, если судьбу французского крестьянина сделала «счастливой» победоносная революция, то в судьбе русского крестьянина со времен Фонвизина и Радищева никаких перемен к лучшему не произошло. Пушкин утверждает, что «ничто так не похоже на русскую деревню в 16.. г.*, как русская деревня в 1833 г. Не рискуя сравнивать наблюдения Радищева во время «Путешествия из Петербурга в Москву» со своими впечатлениями от поездки из Петербурга в Оренбург и из Оренбурга в Болдино, Пушкин предлагает своему читателю вглядеться в зарисовки Мейерберга, сделанные почти 200 лет назад, и, со своей стороны, не находит существенных изменений к лучшему[90].

Каков же ход дальнейшей работы Пушкина над этой главою? В абзаце четвертом, непосредственно следующим за сентенцией о счастливом положении французского земледельца, Пушкин признается, что «строки Радищева навели на него уныние»: «Я думал о судьбе русского крестьянина

К тому ж подушное, боярщина, оброк,
И выдался ль когда на свете
Хотя один мне радостный денек?..» (XI, 231).

Характерно, что Пушкин не рискует дать точную цитату из нелегального Радищева о тяжести крепостного гнета и заменяет ее строфой из басни Крылова «Крестьянин и Смерть». Но именно эта строфа Крылова не оставляет никаких сомнений в том, что Пушкин, говоря об «унынии»,

* Пушкин писал по памяти, а потому поставил только две первые цифры 1662 г., к которому относились впечатления Мейерберга.

которое вызвали в нем строки Радищева, имел в виду следующее обращение Радищева к правящему классу: «Звери алчные, пьявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. ...С одной стороны — почти всесилие, с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребии заклепанного во узы, се жребии заключенного в смрадной темнице, се жребии вола во ярме» [91].

В черновой редакции своих комментариев к этой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» поэт заставляет полемизировать с Радищевым вымышленного «английского путешественника», утверждающего, что свободный английский крестьянин «несчастнее русского раба» (XI, 231). В беловой редакции главы «Русская изба» Пушкин заменяет английского туриста московским барином, от имени которого якобы и корректирует Радищева [92].

Этот «барин» подменяет в окончательной редакции «Русской избы» не только английского путешественника, но и самого Пушкина. Именно в его уста поэт вкладывает знаменитую сентенцию: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения *... Благосостояние крестьянина тесно связано с благосостоянием помещиков; это очевидно для всякого. Конечно: должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени и без того уже довольно деятельного. Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений, политических, страшных для человечества» (XI, 258).

Именно эти строки неоконченной статьи о книге Радищева и перенесены были Пушкиным через два года после их написания в шестую главу «Капитанской дочки», как автоцитата, необходимая для конкретизации в романе условных идеологических позиций его героя. Для того, чтобы обеспечить прохождение «Капитанской дочки» в печать, Пушкин должен был пойти на расщепление образа дворянина-интеллигента, оказавшегося в стане Пугачева. Положительными чертами Шванвича наделен был Гринев, а отрицательными — Швабрин. Но этого раздвоения оказалось

* Многоточие самого Пушкина.

недостаточно, и Пушкин решительно отделил Гринева — участника событий, молодого человека, невольно поддающегося обаянию Пугачева, от Гринева,— позднейшего мемуариста и комментатора, бесхитростного выразителя охранительной идеологии кн. Дашковой и Карамзина [93].

Еще в середине 1825 года, в дискуссии, которую затеял Пушкин в своей переписке с Рылеевым по поводу его уступок цензуре, обесцветивших «Войнаровского», будущий автор «Истории Пугачева» уже, видимо, близко подошел к тем самым решениям некоторых проблем эзоповского языка, которые впоследствии получили плоть и кровь в образах «Истории села Горюхина», «Повестей Белкина», «Путешествия из Москвы в Петербург» и даже «Капитанской дочки».

Письмо Пушкина с разбором «Войнаровского» не сохранилось, но об его установочных положениях мы можем судить по ответу Рылеева: «Ты во многом прав совершенно, особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова» (XIII, 182).

Пушкину не пришлось смягчать впечатления от Пугачева автокомментариями, писанными не столько для читателей, сколько для цензоров — «говорить за Войнаровского для Бирукова». Но, для сохранения в романе *своей* концепции Пугачева и пугачевщины, Пушкин вложил в уста Гринева два-три «политических афоризма», демонстрировавших осуждение, с моралистических позиций правящего класса, крестьянского движения и его вождя. Принадлежность Гринева к стану врагов восставшего народа оттенялась и особенностями его фразеологии: «Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями»; «Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности»; «Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам» и т. п.

Для усыпления органов надзора этой дымовой завесы было совершенно достаточно, но внимательный читатель с условными «верноподданническими филиппиками» прапорщика Гринева мог не считаться. Язык образов и логика фактов были гораздо убедительнее сентенций их комментаторов.

XI. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ПУГАЧЕВА

1.

10 апреля 1834 г. Д. Н. Бантыш-Каменский, автор известной истории «Малой России» и собиратель материалов для «Словаря достопамятных людей русской земли», обратился к Пушкину с предложением прислать ему «верное описание примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева», почерпнутое «из писем частных особ» к его, Бантыша-Каменского, «покойному родителю» (XV, 125). Пушкин реагировал на это предложение очень живо и в середине мая получил уже от Бантыша-Каменского не только сводку данных о Пугачеве, но и специальную подборку биографических материалов о крупнейших деятелях восстания 1773—1774 гг. и об его усмирителях.

«Поспешаю представить вам, — писал Бантыш-Каменский 7 мая 1834 г., — 1) Биографию Пугачева; 2) Разные краткие биографии, числом двадцать, отличившихся в сие смутное время верностию к престолу и содействовавших самозванцу; 3) Биографию графа Петра Ивановича Панина, из коей, может быть, Вы что-либо почерпнете любопытное. Первою (то-есть Пугачевскою) бью вам челом, предоставляя оную в полное ваше распоряжение» (XV, 143—144).

Все эти материалы Пушкин получил уже после того, как работа над основным текстом «Истории Пугачева» была доведена им до конца и даже успела пройти через цензуру Николая I. Тем не менее поэт с большим вниманием отнесся к бумагам Бантыша-Каменского и в письме последнему от 3 июня 1834 г. высоко оценил их значение: «Не знаю, как Вас благодарить за доставление бумаг, касающихся Пугачева. Несмотря на то, что я имел уже в руках множество драгоценных материалов, я тут нашел неизвестные, любопытные подробности, которыми непременно воспользуюсь» (XV, 155).

Чем же Пушкин воспользовался из этих материалов в своей монографии? В печатном тексте «Истории Пугачева» ссылка на бумаги Бантыша-Каменского сделана только однажды, и то по весьма случайному и мало значительному поводу, — мы имеем в виду справку в VII главе об убитом в Казани генерале Кудрявцеве: «Извлечено из неизданного Исторического словаря, составленного Д. Н. Бантышом-Каменским» (IX, кн. 1, 115).

Можем ли мы заключить на основании единственной печатной ссылки Пушкина на «Словарь» Бантыша-Каменского, что в других случаях он в своей «Истории» к этому источнику не обращался? Разумеется, нет.

Об активном интересе Пушкина к материалам Бантыша-Каменского свидетельствуют, помимо отмеченного выше письма поэта, многочисленные выписки из его «Словаря», сохранившиеся в литературном архиве Пушкина. На особых листках Пушкин проконспектировал биографические справки об Аристове, Белобородове, Перфильеве, Хлопуше, Чике, Шелудякове, Рейнсдорпе, Кудрявцеве и Толстом, причем в некоторых из этих выписок точно сослался на «Словарь» Бантыша-Каменского, как на первоисточник [93]. Самое количество выписок Пушкина является лучшим доказательством того, что данные Бантыша, во-первых, оказались в самом деле полезными поэту и, во-вторых, предназначались не для вставок в уже законченную рукопись «Истории Пугачева», а для использования в следующем ее издании или в будущем романе.

Бумаги Бантыша-Каменского, как было отмечено выше, оказались в распоряжении Пушкина уже после того, как его работа прошла через царскую цензуру [94]. В силу этого поэт не имел больше права ни на какие дополнения и поправки, выходящие за пределы обычной литературно-технической корректуры. Разумеется, это обстоятельство не означало, что Пушкин вовсе отказался от возможности уточнения тех или иных деталей своего повествования в процессе печатания книги, но всю эту правку приходилось делать с величайшей осмотрительностью, чтобы не идти на риск вторичного цензурного просмотра «Истории», разрешение которой к печати расценивалось многими как чистая случайность. И все же внимательный читатель может установить следы использования Пушкиным биографических справок Бантыша-Каменского не только в примечании о генерале Кудрявцеве в седьмой главе, но и в более ответственных частях «Истории Пугачева». Сошлемся, например, на строки о Белобородове в перечне сподвижников Пугачева, который Пушкин дает в третьей главе. Ни в черновых рукописях «Истории Пугачева», ни в беловой рукописной ее редакции мы не найдем имени Белобородова в ряду «главных сообщников» самозванца — Зарубина, Перфильева, Падурова, Овчинникова, Шигаева, Лысова, Чумакова, Хлопуши. Имя Белобородова появляется здесь только в печатном тексте, то

есть лишь *после того*, как Пушкин познакомился с биографией Белобородова, составленной Бантышом-Каменским, и сделал из нее выписку, опубликованную нами выше (см. стр. 65).

На основании данных Бантыша-Каменского Пушкин дополнил перечень «главных сообщников» Пугачева самым именем Белобородова и оттенил в его характеристике именно те черты, которые автор «Словаря достопамятных людей» считал для Белобородова основными.

«Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полною доверенностию самозванца, — писал Пушкин.— Он вместе с Падуровым заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева и ввел строгий порядок и повиновение в шайках бунтовщиков» (IX, ч. I, 28). В рукописной редакции этого места имя Белобородова не упоминалось, а строка о Падурове отредактирована была следующим образом: «Падуров, предатель несчастного Чернышева», заведывал письменными делами у безграмотного Пугачева» (IX, ч. I, 405).

Характеристика Белобородова, бегло намеченная в «Истории Пугачева», была художественно развернута впоследствии в «Капитанской дочке», в знаменитой сцене главы «Мятежная слобода», когда «тщедушный и сгорбленный старичок в голубой ленте», которого Пугачев называет то «Наумычем», то «фельдмаршалом» (вот когда Пушкину пригодилась его выписка из Бантыша-Каменского!), настаивает на том, что Гринев подослан в лагерь пугачевцев от «оренбургских командиров», и требует поэтому его повешения [95].

2.

В числе материалов, полученных Пушкиным от Бантыша-Каменского, была биография и самого Пугачева. Эта рукопись не сохранилась в архиве поэта ни в оригинале, ни в выписках, а между тем именно ей Бантыш-Каменский придавал особое значение, полностью предоставляя ее в распоряжение Пушкина и не сомневаясь в том, что он сумеет оценить значение этого дара.

Что же представляло собою полученное поэтом жизнеописание Пугачева? В какой мере оно могло оказаться для него полезным и чем объясняется молчание Пушкина об интересующем нас литературном документе в печатном

тексте «Истории Пугачева» и в переписке с Бантышом-Каменским?

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к публикациям Бантыша-Каменского, рассчитывая на то, что он мог сохранить у себя копию той рукописи, оригинал которой погиб в архиве Пушкина, и даже использовать этот дубликат в печати.

Разумеется, предоставляя в мае 1834 г. Пушкину свои материалы о Пугачеве, Бантыш-Каменский никак не рассчитывал на то, что он сможет когда-нибудь и сам их напечатать. Однако выход в свет «Истории Пугачева» на некоторое время снял запрет с этой не подлежавшей популяризации темы, и Бантыш-Каменский, закончив свой «Словарь достопамятных людей русской земли», получил осенью 1836 г. цензурное разрешение на публикацию в этом издании жизнеописаний не только усмирителей пугачевского восстания, но и его вождей. В ряду биографий последних в четвертом томе «Словаря» оказалась и широко развернутая (на 22 страницах) характеристика Пугачева: «Пугачев Емельян Иванов»[96].

Едва ли можно сомневаться в том, что текст этого жизнеописания Пугачева точно соответствовал его рукописи, бывшей в распоряжении Пушкина. Тождество обоих литературных документов подтверждается прежде всего той характеристикой, которую давал Бантыш-Каменский своим материалам, подчеркивая в письме к Пушкину наличие в них «верного описания примет, обыкновенной одежды и образа жизни Пугачева». Тождество это подтверждается еще и тем, что если бы Бантыш-Каменский, составляя «Словарь достопамятных людей русской земли», не располагал готовой биографией Пугачева, то он не мог бы обойтись в новом варианте этого жизнеописания без материалов «Истории пугачевского бунта». Между тем с начала и до конца биография Пугачева в «Словаре достопамятных людей» ориентирована была на допушкинскую концепцию пугачевского восстания, а документальной своей основой имела только небольшую часть тех материалов, которыми располагал Пушкин.

Опираясь на такие источники, как официальное «Описание происхождения дел и сокрушения злодея, бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачева», как сентенция «О наказании смертною казнию самозванца Пугачева и его сообщников», как «Летопись Рычкова»[97], Бантыш-Каменский

вопреки его уверениям не располагал для своего труда никакими «письмами частных особ о Пугачеве», если не считать тех, которые опубликованы были в «Записках о жизни и службе А. И. Бибикова» (СПб., 1817). Из официальных источников Бантыш-Каменский механически перенес в свою компиляцию все их тенденциозно-памфлетные измышления о Пугачеве и многочисленные фактические ошибки при изложении событий 1773—1774 гг. Ни одна деталь повествования Бантыша-Каменского не представляла для Пушкина интереса новизны, чем, конечно, и объясняется его молчание об этой биографии как в основном тексте «Истории Пугачева», так и в примечаниях и приложениях к ней.

Однако, отвергая какую бы то ни было связь монографии Пушкина с рукописной биографией Пугачева, вошедшей впоследствии в «Словарь достопамятных людей русской земли», мы не можем не признать разительного сходства одной из страниц этой биографии с пушкинской зарисовкой Пугачева в начальных главах его «Истории». Это была именно та страница, которую Бантыш-Каменский характеризовал как «верное описание примет» и «образа жизни Пугачева». К чему же сводилось описание этих «примет»?

«Пугачев имел лицо смуглое, но чистое, сухощавое,— гласила эта справка,— глаза быстрые и взор суровый; левым глазом щурил и часто мигал; нос с горбом; волосы на голове черные, на бороде такие же с проседью; роста был менее среднего; в плечах хотя широк, но в пояснице тонок; говорил просто, как донские казаки. Платье его состояло из плисовой малиновой шубы, под которою носил панцырь, и из таких же шаровар и казачьей шапки. С любимцами своими за обедом часто напивался допьяна; они сидели часто в шапках, а иногда в рубахах, пели бурлацкие песни, не оказывая ему никакого почтения; но когда он выходил на улицу, следовали за ним с открытыми головами. Являясь среди народа, Пугачев всегда бросал в толпу деньги...» [98].

Нет надобности напоминать сейчас общеизвестные строки «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки», чтобы доказать совпадение их даже в деталях с этими зарисовками Пугачева и его быта. Однако не будем спешить с выводами, ибо все то, о чем повествовал Бантыш-Каменский, принадлежало не ему, а его первоисточникам, хорошо известным Пушкину в подлинниках.

В основном тексте «Истории Пугачева» Пушкин не дал или, точнее, не мог еще дать той портретной и речевой характеристики своего героя, которую он с таким мастерством развернул через несколько лет в «Капитанской дочке». Но, даже не ставя себе в 1834 г. этих задач, великий поэт уже в «Истории Пугачева» полностью использовал все первоисточники Бантыша-Каменского. В самом деле, первые краткие сведения о внешнем облике Пугачева Пушкин дает во второй главе своей работы, показывая будущего вождя крестьянского восстания после его бегства из казанской тюрьмы: «незнакомец был росту среднего, широкоплеч и худощав. Черная борода его начинала седеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою» (IX, кн. I, 15). В главе четвертой Пушкин закрепляет это изображение, относящееся к лету 1773 г., деталями более раннего портрета Пугачева (1771): «Он был сорока лет от роду, росту среднего, смугл и худощав; волосы имел темнорусые, бороду черную, небольшую и клином» (IX, кн. I, 41).

В обеих этих справках Пушкин опирается не на компиляцию Бантыша-Каменского, а на подлинные документы: в первом случае на показания яицкого казака Кожевникова, у которого скрывался Пугачев после своего бегства из казанской тюрьмы, во втором — на описание примет Пугачева, сделанное со слов его жены[99].

В приложениях к «Истории Пугачева» Пушкин печатает «Летопись» П. И. Рычкова, в которой находим мы еще один источник Бантыша-Каменского — показания о Пугачеве писаря оренбургского соляного правления Полуворотова: «Рост его <Пугачева> небольшой, лицо имеет смуглое и сухощавое, нос с горбом; а знаков он <Полуворотов> на лице его не приметил, кроме сего, что левый глаз щурит и часто им мигает. Волосы на голове черные, борода черная же, но с небольшою сединою. Платье имеет: шубу плисовую малиновую, да и шаровары такие ж; шапку казачью. Речь его самая простая и наречия донских казаков; грамоте или очень мало, или ничего не знает» (IX, кн. 1, 235).

Пушкин полностью перепечатывает первоисточник и основную часть отмеченного выше рассказа Бантыша-Каменского — показания корнета Пустовалова, бывшего в плену у Пугачева и бежавшего 16 марта 1774 г. из Берды в Оренбург.

6*

«Лицо имеет он, — сообщал Пустовалов о Пугачеве, — смуглое, но чистое, глаза острые и взор страховитый; борода и волосы на голове черные; рост его средний или меньше; в плечах хотя и широк, но в пояснице очень тонок; когда случается он в Берде, то всё распоряжает сам и за всем смотрит не только днем, но и по ночам; с сообщниками своими, которых он любит, нередко вместе обедает и напивается допьяна, которые обще с ним сидят в шапках, а иногда-де и в рубахах и поют бурлацкие песни без всякого ему почтения; но когда-де выходит он на базар, тогда снимают шапки и ходят за ним без шапок, а он сам, когда публично ходит, то почти всегда бросает в народ медные деньги» (IX, ч. 1, 324).

Показания Пустовалова, широко использованные Пушкиным в тексте третьей главы «Истории», извлечены были им из «Летописи Рычкова» и вместе с последней перешли в «приложения» к «Истории Пугачева»[100].

Мы напомнили об основных документальных источниках, с помощью которых Пушкин реконструировал в своей «Истории» портретные черты Пугачева, вовсе не для того, чтобы показать несоизмеримость сведений Пушкина с эрудицией даже самого осведомленного из его предшественников. Для раскрытия пушкинского понимания образа Пугачева гораздо существеннее другой вывод, который позволяют нам сделать его первоисточники. И в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» портрет Пугачева является не простым обобщением впечатлений от его живого образа, зарегистрированных в тех или иных документах и мемуарах, а результатом большой работы по изучению, критическому отбору и политическому переосмыслению всех этих исторических материалов.

Бантыш-Каменский смотрит на Пугачева глазами его классовых врагов, глазами его судей. Поэтому их свидетельства биографом только суммируются, а не анализируются. Если, например, в показаниях корнета Пустовалова отмечается в ряду других черт самозванца его якобы «страховитый взор», то составитель «Словаря достопамятных людей» закрепляет этот штрих в справке о Пугачеве как основной («взор суровый»), несмотря на то, что в других свидетельствах о Пугачеве эта «примета» отсутствует. Решительно отбрасывает ее и Пушкин.

Почти во всех показаниях о Пугачеве подчеркивается его неграмотность («грамоте или очень мало, или ничего не

знает», «безграмотный Пугачев», «он же вовсе и грамоте не умеет»). Повторяется об этом не раз и в биографической справке Бантыша-Каменского. Разумеется, не может обойти эту характерную деталь и Пушкин. Но уже в «Замечаниях о бунте», представленных Николаю I в дополнение к печатному тексту «Истории», великий поэт утверждал, что эта «безграмотность» Пугачева нисколько не мешала ему в его воззваниях к народу находить именно те слова, образы и формулировки, соперничать с которыми никак не могли ни правительственные манифесты, ни «публикации» высокообразованного начальства на местах: «Первое возмутительное воззвание Пугачева к яицким казакам, — писал Пушкин, — есть удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного. Оно тем более подействовало, что объявления, или публикации, Рейнсдорпа были писаны столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце периодов» (IX, ч. 1, 371).

К тем же образцам «народного красноречия», о которых упоминал здесь Пушкин, прямое отношение имели и два анекдота о Пугачеве, которые услыхал он, возможно, от И. И. Дмитриева еще летом 1833 г., но записал только год или полтора спустя:

«Когда Пугачев сидел на Монетном дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды сидел он задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтобы он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I, во время Персидского похода услыша, что могила Стеньки Разина находилась не в далеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидать хоть кости славного бунтовщика!— Вот какова наша слава!». Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее сказка замечательна, особенно в устах Пугачева.

«В другой раз некто **, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. **был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много я перевешал вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал»[101].

И все же подлинный исторический образ вождя крестьянского восстания не получил яркого художественного воплощения на страницах «Истории Пугачева». Не имея возможности полным голосом говорить о Пугачеве по соображениям цензурно-тактического порядка, Пушкин еще в большей степени был стеснен в этих страницах своего труда усвоенной им политической концепцией событий 1773—1774 гг. Эта концепция, уходящая своими корнями еще в пору изучения Пушкиным событий периода крестьянских войн и польской интервенции начала XVII в. и истории первого самозванца, закреплена была известной недооценкой личности самого Пугачева в «Путешествии из Петербурга в Москву» и теми соображениями, которые Пушкин нашел об этом в письмах генерала А. И. Бибикова к Д. И. Фонвизину: «Пугачев, — утверждал Бибиков, — не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки: не Пугачев важен; важно общее негодование» (IX, ч. 1, 45).

Эти строки, которые Пушкин с таким сочувствием выдвигал в пятой главе своей «Истории», дают ключ к его толкованию взаимоотношений Пугачева и его атаманов в третьей главе («Пугачев не был самовластен» и проч.). Эти же установки определяют позиции исследователя в главе восьмой: «Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков; и каждая имела у себя своего Пугачева» (IX, ч. 1, 69).

Вот почему в «Истории Пугачева» оказались только мастерские этюды к портрету Пугачева, но не цельный и законченный образ вождя крестьянского движения.

Не менее далек от оригинала был и тот вариант нарочито суженной характеристики Пугачева, который дал Пушкин в своем обращении в 1835 г. к поэту-партизану Д. В. Давыдову при посылке ему «Истории пугачевского бунта»:

Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден: плут, казак прямой;
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой [102].

3.

Декабрист Н. И. Тургенев еще в 1819 г., в пору своего постоянного общения с Пушкиным, бросил замечательную мысль о том, что многие пробелы русской историографии объясняются только тем, что «историю пишут не крестьяне, а помещики» [103]. Работая над «Историей Пугачева», Пушкин сделал все, что только было в его силах, чтобы избежать этих упреков. Едва закончив в Болдине новую редакцию своего труда (в отмену той, которая сложилась к середине 1833 г.) Пушкин в одном из черновых набросков письма к Бенкендорфу от 6 декабря 1833 г. отмечал, что «по совести исполнил долг историка: изыскивал истину с усердием и излагал ее без криводушия, не стараясь льстить ни силе, ни господствующему образу мыслей» (XV, 226).

Как известно, рупором этого «господствующего образа мыслей», то есть общественного мнения крепостников, явился тотчас по выходе в свет «Истории Пугачева» министр народного просвещения и начальник Главного управления цензуры С. С. Уваров.

«В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают, — отмечал Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 г. — Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге как о возмутительном сочинении» (XII, 337).

Глава цензуры реагировал на «Историю пугачевского бунта» точно так же, как и в свое время Екатерина II на «Путешествие из Петербурга в Москву», назвав его страницы «совершенно бунтовскими»: «Намерение сей книги на каждом листе видно, — писала царица. — Сочинитель <...> ищет всячески и защищает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа в негодование противу начальников и начальства» [104].

Переходя от «Истории Пугачева» к «Капитанской дочке», Пушкин не мог уже не учитывать последствий сближения своей позиции с позицией Радищева, тем более, что сближение это подсказывалось не только мнительностью и злонамеренностью тех или иных его критиков, но самым существом дела — особенностями пушкинской трактовки крепостнической общественности с «великими отчинниками» во главе и его же оценкой перспектив крестьянской революции. Трудности показа в этих условиях образа вождя крестьянского движения не упрощаются, а увеличиваются. В период между «Капитанской дочкой» и «Историей Пуга-

чева» Пушкину приходится работать над особыми полемическими примечаниями к «Путешествию из Петербурга в Москву» и над статьей «Александр Радищев». Этот предварительный политический комментарий к роману оказывается особенно необходимым потому, что поэт решительно отказывается от своего прежнего подхода к Пугачеву как к человеку более или менее случайному, как к слепому орудию в руках яицких казаков, как к «прошлецу, не имевшему другого достоинства, кроме некоторых военных познаний и дерзости необыкновенной» (IX, ч. 1, 27).

В окончательной редакции романа от этой трактовки его героя почти не остается уже и следа. Мы говорим «почти», ибо образ Пугачева дан в «Капитанской дочке» не однолинейно, а в разных профилях и аспектах, в речах и действиях, о которых передает читателю не только автор романа, но и Гринев, от имени которого ведется повествование, человек совсем иных интеллектуальных масштабов и социально-политических горизонтов, чем Пушкин.

В подчеркнуто наивных философско-исторических сентенциях и моралистических афоризмах Гринева, комментировавших события романа, окончательно определился тот метод художественного письма, который стал занимать Пушкина примерно с 1827 г. (сатирический набросок «Если звание любителя отечественной литературы само по себе достойно уважения» (XI, 62—63), ясно обозначился в «Истории села Горюхина» (1830 г.) и ожил вновь в публицистике 1833—1836 гг.

Это был уже метод не только новых форм «эзоповского языка», но и функционально связанных с последним некоторых других приемов литературной экспозиции. Все больше и больше привлекает к себе творческое внимание Пушкина работа над сатирическим образом бесхитростного выразителя консервативно-помещичьей идеологии, который то пытается полемизировать с Радищевым (московский барин, член «английского клоба», едущий из Москвы в Петербург), то негодует на «Историю Пугачева» (образ престарелого провинциального «критика» в ответе Пушкина на рецензию Броневского), то громит всю современную мировую литературу с позиций мракобесов Российской академии, не замечая комического эффекта своих претензий («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной»). Таков же был и Гринев как автор записок о временах Пугачева, когда он «с важ-

ностью забавной» судил об успехах европейского просвещения, о «кротком царствовании Александра I» и о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном». Все эти образы генетически связаны между собою, выполняя одну и ту же литературно-политическую функцию и в художественной прозе и в публицистике Пушкина[105].

* * *

Пушкин, конспектируя летом 1833 г. рукописную хронику П. И. Рычкова «Осада Оренбурга», обратил внимание на рассказ о поведении пленного Пугачева в ставке графа П. И. Панина: «В Синбирск привезенный на дворе г. Панина Пугачев отвечал ему дерзко и смело (хотя и признавался в самозванстве), за что граф ударил его несколько раз по лицу» (IX, ч. 2, 772).

Поэт И. И. Дмитриев, рассказывая Пушкину об этой сцене, вспомнил еще одну жуткую ее деталь: «Панин вырвал клок из бороды Пугачева, рассердясь на его смелость» (IX, ч. 2, 498).

В окончательном тексте «Истории Пугачева» Пушкин тщательно учел оба эти свидетельства. Но самый факт развертывания в самостоятельный эпизод кратких мемуарных данных о бессудной расправе графа Панина с Пугачевым[106] не мог бы, конечно, иметь место, если бы в распоряжении Пушкина не оказалось еще одного источника. Мы имеем в виду то предание о Панине и Пугачеве, которым Пушкин это столкновение политически и психологически мотивировал в восьмой главе «Истории Пугачева»: «Пугачева привезли прямо на двор к графу Панину, который встретил его на крыльце, окруженный своим штабом.— Кто ты таков?— спросил он у самозванца.— Емельян Иванов Пугачев,— отвечал тот.— Как же смел ты, вор, назваться государем?— продолжал Панин.— Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, по своему обыкновению, иносказательно), я вороненок, а ворон-то еще летает <...> Панин, заметя, что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды» (IX, ч. 1, 78).

Кто же из симбирских старожилов (а сцена эта едва ли могла быть записана в другом месте) познакомил Пушкина

с преданием о бесстрашной реплике Пугачева, которую не мог вспомнить Дмитриев и которую не записал Рычков? Естественнее всего предположить, что на помощь Пушкину здесь пришел П. М. Языков, старший брат Н. М. Языкова, один из интереснейших представителей симбирской интеллигенции тридцатых годов, знаток местного края и ревнитель его преданий, этнограф, историк и натуралист, с которым Пушкин провел несколько часов на пути в Оренбург и вновь увидался по дороге в Болдино [107]. Именно о нем Пушкин писал 12 сентября 1833 г. жене из Симбирска: «Здесь я нашел старшего брата Языкова, человека чрезвычайно замечательного и которого готов я полюбить, как люблю Плетнева или Нащокина. Я провел с ним вечер» (XV, 80 и 83).

В пользу симбирско-языковской локализации предания о смелой пугачевской шутке, вызвавшей кулачную расправу с ним графа Панина, свидетельствует и тот факт, что именно в Симбирской губернии записана была А. М. Языковым, другим братом поэта, народная песня о беседе Пугачева с его тюремщиком:

Судил тут граф Панин вора Пугачева.
— Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иваныч,
Много ль перевешал князей и боярей?
— Перевешал вашей братьи семьсот семь тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил
За твою-то бы услугу повыше подвесил [108].

Предание, рассказанное Языковым, оставило след не только в «Истории Пугачева». Слова из живой речи пленного крестьянского вождя, записанные Пушкиным в Симбирске в 1833 г., явились тем зерном, из которого выросла вся речевая характеристика Пугачева в «Капитанской дочке».

Радищев, характеризуя мотивы или, как он говорил, «голоса русских народных песен», в них, в этих «голосах», предлагал искать ключи к правильному пониманию «души нашего народа» [109].

Пушкин с исключительным вниманием отнесся к этим творческим заветам автора «Путешествия из Петербурга в Москву» и уже во время своей поездки в Заволжье, Орен-

бург и Уральск именно в фольклоре нашел недостававший ему материал для понимания Пугачева как подлинного вождя крестьянского движения и свойств его характера как типических положительных черт русского человека. Это было открытием большой принципиальной значимости, ибо без него было бы невозможно и новаторское разрешение задач воскрешения подлинного исторического образа Пугачева.

В процессе работы над монографией и романом Пушкин явился и первым собирателем и первым истолкователем устных документов народного творчества о Пугачеве, памятью о котором более полувека продолжало жить крестьянство и казачество Поволжья и Приуралья. Подобно тому, как еще в пору своей михайловской ссылки великий поэт в «мнении народном» нашел разгадку успехов первого самозванца и гибели царя Бориса, так и сейчас, в осмыслении образа нового своего героя, он опирался не только и не столько на свои изучения памятников крестьянской войны в государственных архивах, сколько на «мнение народное», запечатленное в преданиях, песнях и рассказах о Пугачеве. В 1825 г. Пушкин считал Степана Разина «единственным поэтическим лицом русской истории» (XIII, 121); пугачевский фольклор позволил ему эту формулу несколько расширить.

«Уральские казаки (особливо старые люди), — осторожно удостоверял Пушкин в своих замечаниях о восстании, представленных царю 31 января 1835 г., — доныне привязаны к памяти Пугачева. Грех сказать, говорила мне 80-летняя казачка, на него мы не жалуемся; он нам зла не сделал. — Расскажи мне, говорил я Д. Пьянову, как Пугачев был у тебя посаженным отцом? — Он для тебя Пугачев, отвечал мне сердито старик, а для меня он был великий государь Петр Федорович» (IX, ч. 1, 373).

Без учета этих ярких и волнующих рассказов свидетелей и участников восстания, непосредственно воздействовавших на Пушкина своей интерпретацией личности Пугачева, как подлинного вождя крестьянского движения, как живого воплощения их идеалов и надежд, «Капитанская дочка» не могла бы, конечно, иметь того политического и литературного звучания, которое она получила в условиях становления русского критического реализма как новой фазы искусства. Мастерство Пушкина, как и мастерство

Толстого, это мастерство раскрытия самых существенных сторон действительности, самых существенных черт национального характера, показываемого не декларативно, не статично, а в живом действии, в конкретной исторической борьбе.

В своих суждениях по поводу «Путешествия из Петербурга в Москву», оформившихся примерно за два года до «Капитанской дочки», Пушкин с гордостью отмечал высокий интеллектуальный и моральный уровень русского трудового народа: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны» [110]. Этот перечень положительных свойств русского крестьянина как черт типических, закрепленных в самых неблагоприятных условиях его политического и экономического быта, был полностью повторен, углублен и дополнен в знаменитой формулировке Белинского.

«Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен? — спрашивал великий критик во второй своей статье о «Деяниях Петра Великого» и тут же отвечал: «Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухе рожь молотить, зерна не обронить, нуждою учиться калачи есть — молодечество, разгул, удальство, и в горе и в радости море по колено» [111]. Всеми этими качествами, родившимися в конкретных материальных условиях и закрепившимися в многовековой исторической борьбе, в избытке наделен в «Капитанской дочке» именно Пугачев. Именно он является воплощением неиссякаемой творческой энергии и всех высоких моральных и интеллектуальных качеств русского народа — ясный ум, свободолюбие, великодушие, справедливость, бесстрашие, находчивость, удаль и широта натуры.

Образ Пугачева Пушкин заново освещает не только своим пониманием лучших свойств русского человека. Вся речевая его характеристика строится по тем же принципам.

Еще в 1825 г., определяя Крылова как «представителя духа» русского народа, Пушкин «отличительными чертами в наших нравах» признал «какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» (XI,

34). Неслучайно именно эти признаки выдвигаются как основные в повадках и речах Пугачева, начиная от первой встречи с ним Гринева во время бурана до вдохновенной передачи Пугачевым сказки об орле и вороне в одиннадцатой главе романа.

«Сметливость его и тонкость чутья меня поразили»,— рассказывает Гринев о первой встрече своей с Пугачевым (VIII, ч. 1, 288).— Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза его так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское» (VIII, ч. 1, 290). В главе восьмой эта характеристика дополнялась. «Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец, он засмеялся, и с такой непритворною веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему» (VIII, ч. 1, 331).

Вот когда Пушкину пригодилось его знание документальных описаний «примет» Пугачева, вот когда возвратился он к показаниям Пустовалова и Полуворотова, едва затронутым им на страницах «Истории Пугачева». В главе «Вожатый» Пушкин заставляет Гринева быть свидетелем замечательного разговора Пугачева с хозяином умета. Будущий самозванец дает понять старому казаку, что яицкому войску, утесненному после восстания 1772 г., не следует унывать, что оно еще даст себя знать правительству.

«Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе,— сказал он,— опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» — Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком, да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши? — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

— Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит» (VIII, ч. 1, 290).

Этот метод речевой характеристики Пугачева выдерживается Пушкиным до конца романа, поскольку именно

пословицы, сказки, шутки и прибаутки, лукавые намеки и иносказания окрашивают юмор Пугачева в национальные русские тона. Характеризуя использование Пушкиным в одной из последних глав «Истории Пугачева» народной песни о Пугачеве и графе Панине, мы определили самый ранний опыт демонстрации поэтом «веселого лукавства ума» Пугачева и его «живописного способа выражаться». Сцена в умете, с Хлопушей и Белобородовым, беседа с Гриневым в кибитке во время поездки в Белогорскую крепость являлись иллюстрацией тех же приемов письма. Все действия Пугачева одухотворены его волей к победе, сознанием правоты его исторической миссии. Он уверенно ждет своего часа. Как свидетельствует уже сцена в умете, он терпелив, но знает и то, что всякому терпению есть предел.

Пушкин, оттеняя в Пугачеве и эту черту характера русского человека, хорошо помнил, видимо, наблюдения Радищева: «Я приметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив: и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать» [112].

XII. „СЧЕТ САВЕЛЬИЧА"

Предметные уроки крестьянского восстания 1773—1774 гг., его противоречия и их социально-политический смысл волновали Пушкина в «Капитанской дочке» не в меньшей степени, чем в «Истории Пугачева».

Естественно поэтому, что роман, вытесненный на некоторое время из творческого календаря Пушкина научно-исследовательской работой, вновь оказывается в центре его внимания тотчас же после опубликования «Истории Пугачева». Материалы, собранные и критически освещенные Пушкиным в его исторической монографии, политически и литературно были так значимы и богаты, так свежи, так многообразны, что поэту, казалось бы, не было нужды в процессе его работы над романом выходить из круга первоисточников его книги, утруждать себя новыми историческими разысканиями.

Однако, чем внимательнее вчитываемся мы в материалы литературного архива Пушкина, тем явственнее определяется изначальный параллелизм его не только творческих,

но и собирательских интересов. Из многих тысяч документов, просмотренных Пушкиным в архивах Петербурга, Москвы, Казани, Оренбурга и Нижнего-Новгорода, он отбирает для копировки лишь наиболее значительные, наиболее колоритные, наиболее характерные, причем этот отбор с самого начала производится не только под специальным углом зрения историка и источниковеда, но с учетом запросов исторического романиста. Так, явно для будущего романа, а не для «Истории Пугачева», Пушкин копирует в 1833 г. такой замечательный бытовой документ, как «Реестр» убытков, понесенных неким надворным советником Буткевичем во время захвата пугачевцами пригорода Заинска. Приводим этот неизвестный документ полностью (с сохранением основных особенностей орфографии подлинника)[113]:

РЕЕСТР, ЧТО УКРАДЕНО У НАДВОРНОГО СОВЕТНИКА БУТКЕВИЧА ПРИ ХУТОРЕ В ПРИГОРОДЕ ЗАИНСКЕ.

Кобыл больших 65 ценою на 780 рублей.
Трех и двух лет 21 ценою на 5 р.
Коров больших нетельных 58 — на 230 ру<блей>.
Три седла черкасских с кожаными подушками, с хометами, войлоками и подметками и 3 узды ямских и сыромятных ремней с медными пряжками — на 8 рублей.
Котлов медных 3, в 4 ч., 1 ведро весом 1 п. на 10 р. 70 к.
Гусей 20, 4 уток, 45 кур русских на 8 р. на 80 к.
Людской одежды пять шуб бараньих на 7 р. на 50.
Епанечь валеных на 3 р.
3 пары суконных онучь на 1 р.
5 п. шерстяных чулок на 60 коп.
Три шапки в 60 коп.
Холстов на 3 р. посконных.
Сена поставленного 38 стогов на 76 рубл.
Овса 30 четв. на 25 р.
Два человека дворовых.
Спасителев образ в ризе и серебряном окладе.
Казанская богоматерь в окладе с жемчугом на 330 рублей.
Экипажу: сундук кованный железом с внутренним замком на 5 рублей; в нем: три п. кафтанов немецких 1) люстриновая, вторая кофейная — на 25 р.

Епанча суконная, алая, обложенная золотым прорезным позументом 65 р.

Два тулупа, один мерлущетой, второй из беличьего меху 60 руб.

Два халата, один хивинский, другой полосатый на 20 рубл.

Женского платья. Два лаброна, один люстриновый, другой гризетовый на 100 р.

Три кофты с юбками тафтяных на 90 р.

Салоп штофный на лисьем меху в 50 р.

Мантилья черная на сибирских белках 26 р.

Платков штофных три, тальянских пять на etc, ситцевых на 40 р.

Косынок шелковых на 10 р.

Черевиков, шитых золотом 9 руб.

Башмаков шит. зол. 2 п. на 4 руб.

12 рубах мужских полотняных с манжетами на 60 р.

Скатерти и салфетки на 45 р.

Одеяло из лисьих хвостов, другое из барсучьих 26 руб.

Одеяло ситцевое, другое на хлопчатой бумаге 19 руб. etc.

О том, что реестр этот, обнажавший с большой яркостью своекорыстие, мелочность и жадность правящего класса, предназначался уже в момент его копировки для будущего романа, свидетельствуют и некоторые формальные признаки копии, снятой Пушкиным собственноручно, но без обычной для него археографической тщательности. Так, переписывая документ, Пушкин не обозначил ни места его хранения, ни даты, а самый текст подлинника воспроизвел с сокращениями, о которых говорят две его же отметки «etc» в самой концовке реестра и в перечне «платков штофных» и «тальянских». Копия писана была чернилами, на двух сторонах полулиста бумаги обычного канцелярского формата (размер 220×342 мм) фабрики Гончаровых. Водяной знак — «1829». В момент смерти поэта «реестр» находился в его личном архиве — автограф хранит след той самой жандармской нумерации (цифра «11» красными чернилами в середине листа), которую прошли все бумаги, опечатанные по распоряжению Николая I в кабинете Пушкина 29 января 1837 г.

Историкам Пугачевского восстания хорошо известен «пригород Заинск», откуда вышел заинтересовавший Пушкина «реестр». Заинск — это старинный укрепленный пункт, входивший в Закамскую линию пограничных постов Московского государства. В конце 1773 г. Пугачев без боя взял Заинск, где встречен был «с честью» не только народом, но и всем городским начальством, с комендантом во главе.

В «Истории Пугачева» Пушкин очень точно передал содержание официальных документов как об этом эпизоде, так и о позднейших действиях полковника Бибикова, который на пути из Бугульмы в Мензелинск вырвал буйный пригород «из злодейских рук». Боям под Заинском уделено было внимание и в одном из приложений к «Истории Пугачева» — в «Экстракте из журнала генерал-маиора и кавалера кн. П. М. Голицына». Ни в печатном тексте «Истории Пугачева», ни в приложениях и дополнениях к ней не нашли мы имени «надворного советника Буткевича». Но другие члены, видимо, этой же большой помещичьей семьи неоднократно упоминаются в материалах, собранных Пушкиным. Так, один из Буткевичей (секунд-майор, «воеводский товарищ») вместе с женою был убит пугачевцами в г. Петровске, а другой — отставной прапорщик, перешедший на сторону самозванца, — претендовал на пост заинского коменданта.

«Реестр», представленный начальству третьим из этих Буткевичей, находился, возможно, в числе приложений к тому самому рапорту Бибикова о взятии Заинска, точная копия с которого сохранилась в бумагах Пушкина и частично была использована в «Истории Пугачева».

Рапорт Бибикова учтен был в «Истории Пугачева», реестр Буткевича Пушкин оставил для «Капитанской дочки» [114].

Счет Буткевича исключительно выразителен. Не только духовный облик, но и вся социально-политическая сущность «дикого барства» получала выражение в этой деловой бухгалтерской справке Буткевича о его убытках от революции. Несмотря на то, что «состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно» (мы цитируем «Капитанскую дочку»), несмотря на то, что кровавая расправа карательных отрядов с «виноватыми и безвинными» была еще единственной формой решения гражданских и уголовных дел, господа Буткевичи спешили по-своему использо-

вать предоставленную им историей передышку. Без всяких претензий на юмор счет Буткевича механически регистрировал все, что вспоминалось его составителю в процессе писания — «кобыл больших 65» и «два человека дворовых», «спасителев образ в ризе» и «сена 38 стогов», «казанскую богоматерь» и «три пары суконных онуч».

Читатель, вероятно, уже вспомнил знаменитую сцену девятой главы «Капитанской дочки», в которой Савельич с таким простодушным упорством домогается возмещения убытков, понесенных его барином в дни взятия Белогорской крепости. У самой виселицы, на которой еще качаются тела капитана Миронова и «кривого поручика», официальных представителей помещичьего государства, крепостной дядька Гринева хлопочет о том, чтобы вождь крестьянской революции немедленно обратил внимание на представленный ему «реестр барскому добру, раскраденному злодеями»:

«Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух»,— сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее.

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит?— сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее,— отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

«Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

«Штаны белые суконные, на пять рублей.

«Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

«Погребец с чайною посудою, на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье?— прервал Пугачев.— Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объяснять. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...»

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич <...> — Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

«Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге, четыре рубля.

«Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

«Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще? — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами» (VIII, ч. 1, 335).

Знакомство с «реестром» Буткевича подсказало Пушкину одну из самых знаменательных сцен «Капитанской дочки». Изучение этого документа позволяет сейчас и нам значительно расширить и углубить понимание социально-политической функции счета Савельича, как художественного документа, которым оперирует в романе старый слуга только потому, что ни обычная цензура, ни тем более цензура Бенкендорфа и Николая I не могли бы допустить использование «реестра» в его прямой исторической значимости.

Но и при переводе этого документа из поля зрения Пушкина-историка в рамки «семейной» хроники Гриневых, поэт устами разгневанного Пугачева, выхватывающего из рук Савельича его нелепый «реестр», определял отношение вождя крестьянского восстания, конечно, не к Савельичу, а к его господам. И не только к Гриневым, но и к Буткевичам.

«Глупый старик! их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками...» (VIII, ч. 1, 336).

Формы использования в «Капитанской дочке» материалов документа, скопированного Пушкиным, были многообразны. Реестр Буткевича, предопределив сценарий и идейную нагрузку девятой главы, оказался учтенным и в самой завязке романа (глава вторая). «Два тулупа, один мерлущатой, второй из беличьего меху», отмеченные в документе, подсказывают ход и к «тулупчику заячьему», который так облегчил Пушкину долго не дававшуюся ему, судя по начальным планам «Капитанской дочки», мотивировку отношений его героев.

Дословно или с самыми незначительными уточнениями

переключено было из реестра Буткевича в реестр Савельича все то, что могло найти себе место в гардеробе молодого офицера. К этому добавить пришлось лишь кое-что из офицерского обмундирования («мундир из тонкого зеленого сукна», «штаны белые суконные») и из походного инвентаря («погребец с чайною посудою»). Характерная деталь: Пушкин, используя номенклатуру Буткевича, значительно снижает все его расценки, как бы противопоставляя этим преувеличенные претензии жадного заинского помещика бескорыстию крепостного слуги.

Гоголь, характеризуя в 1846 г. «Капитанскую дочку» как «решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде», утверждал: «Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственною и карикатурною. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственною пушкою, бестолковщина времени и простое величие простых людей, — все не только самая природа, но и еще как бы лучше ее» [115].

Такие человеческие документы крестьянской войны 1773—1774 гг., как «реестр» Буткевича, художественно преображенный в «Капитанской дочке», с исключительною выразительностью конкретизировали в живой ткани романа не только то, что хотел видеть в нем Гоголь. Действительность «Капитанской дочки» была, конечно, не просто художественной фикцией, успешно якобы противопоставленной «самой природе» [116]. Действительность «Капитанской дочки, отраженная гениальным поэтом и историком, была совершенно конкретной крепостнической действительностью, понимаемой, однако, как преходящая форма процесса исторического развития, со всеми его уродствами и противоречиями [117].

Роман Пушкина не уводил читателей от «искусственности» и «карикатурности» этой действительности, а звал на борьбу за ее скорейшее переустройство.

ПРИМЕЧАНИЯ

Новые материалы и некоторые результаты их анализа и обобщения, положенные в основу настоящего исследования, впервые были частично опубликованы нами в статьях «Пушкин в работе над «Историей Пугачева» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934,

стр. 443—466); «Запись рассказов И. А. Крылова о пугачевщине» («Временник Пушкинской комиссии АН СССР», т. 1, 1936, стр. 26—29); «Пушкин в работе над «Капитанской дочкой» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 222—242) ; «Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева» («Научный ежегодник Саратовского Гос. университета за 1954 год», 1955, стр. 149—154). Краткий свод этих данных вошел в комментарии к «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» в «Полн. собр. соч. Пушкина в шести томах» под ред. Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, т. IV, М.—Л., «Academia», 1936, стр. 741—758 и 797—799. Все ссылки на академическое издание Пушкина в тексте настоящего исследования даются нами сокращенно: римские цифры обозначают том, арабские — страницы.

[1] Статья Я. К. Грота «Приготовительные занятия Пушкина для исторических трудов» впервые была опубликована в двенадцатой книжке «Русского вестника» 1862 г., вошла в два издания сборника статей Я. К. Грота «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (1887 и 1899 гг.) и в последний раз перепечатана в «Трудах Я. К. Грота», т. III, СПб., 1901 стр. 119.

[2] «По недостатку ли полученных материалов или за недосугом,— писал П. А. Ефремов,— Пушкин так и не занялся историею Суворова, а разработал только один из ее эпизодов: Пугачевский бунт. Этим <...> поясняется и начало предисловия: «Сей исторический отрывок составлял часть труда, мною оставленного», т. е. истории Суворова» («Сочинения А. С. Пушкина», т. VI, СПб., 1880, стр, 477—478).

[3] «Среди архивных занятий по истории Петра Великого, начатых в 1832 г, у Пушкина возникла мысль о другом историческом труде — истории Суворова, из которой написал он лишь один эпизод о Пугачевском бунте» («Сочин. А. С. Пушкина. Изд. Льва Поливанова для семьи и школы», т. V, 2-е изд., М., 1898, стр. 265).

[4] Не перечисляя всех вариаций этого ложного положения в общих и специальных работах о Пушкине, отметим для примера лишь статью проф. Е. А. Боброва «Пушкин в Казани»: «В начале 1833 г. А. С. Пушкин еще имел намерение писать биографию генералиссимуса князя А. В. Суворова, куда, в качестве одной главы, должно было войти изображение его участия в усмирении Пугачевского бунта» («Пушкин и его современники», вып. III, СПб., 1905, стр. 24).

[5] «Сочинения Пушкина», изд. Академии Наук, т. XI, П. 1914, стр. 20—24 второй пагинации. Характерно, что даже В. Я. Брюсов, очень резко выступивший в печати против комментариев Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачевского бунта», не решился оспаривать рассказанной в академическом издании истории работы Пушкина над материалами о пугачевщине. В этом отношении он, как и Н. Н. Фирсов, оказался в плену традиционных представлений о связи «Истории Пугачева» с задуманной якобы Пушкиным биографией А. В. Суворова. См. В. Брюсов, Пушкин перед судом ученого историка («Русская мысль», 1916, кн. 2, стр. 110—123; перепечатано в сборнике статей В. Я. Брюсова «Мой Пушкин», М., 1929). Ни в одной из специальных работ об «Истории Пугачева», вышедших в свет после нашей статьи «Пушкин в работе над «Историей Пугачева» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 443—466), легенда о связи этого труда с «Историей Суворова» уже не повторялась. См. статьи А. Грушкина «Пушкин 30-х годов в борьбе с официозной историографией»

(«Временник Пушкинской Комиссии», т. IV—V, 1939, стр. 212—256); А. С. Чхеидзе, «К вопросу об источниках «Истории Пугачева» Пушкина» («Труды Тбилисского гос. учительского института им. А. С. Пушкина», т. II, 1942, стр. 273—307); ее же «История Пугачева» А. С. Пушкина». Автореферат диссертационной работы, Тбилиси, 1950; Г. П. Блок, «Пушкин в работе над историческими источниками», М.— Л., 1949.

[6] Пушкин, Полн. собр. соч., Академия Наук СССР, т. IX, ч. 1, 1938, стр. 1. Опечатка, вкравшаяся в текст предисловия Пушкина к «Истории Пугачева» в «Полном собрании сочинений Пушкина», т. V, кн. 1, М.—Л., 1932 («Часть труда, мною составленного» вместо «оставленного») послужила основанием для внесения редакцией «Литературного наследства» в нашу работу при ее первой публикации нескольких строк, исказивших правильное понимание этого места первоисточника.

[7] В подлиннике письма Пушкина явная описка («7 февр.» вместо 9 февраля), так как поэт отвечал на запрос канцелярии военного министерства от 8 февраля 1833 г. (XV, 46).

[8] Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском архиве», 1881, кн. 1, стр. 448. См. фототипическое воспроизведение этого плана в изд. «Рукописи А. С. Пушкина. Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Тетрадь № 2374 Публичной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина», М., 1939, л. 9.

Из числа документальных данных, проясняющих хронологию повести о Шванвиче, должно быть исключено «свидетельство» С. Л. Пушкина в его письме к О. С. Павлищевой от 16 марта 1833 г. из Москвы, в котором отмечалось, что сын его «кончил прелестный свой роман, над которым провозился довольно долго, и начинает другой; сюжетом выбрал происшествие времен Екатерины Великой. Этому последнему труду, а также и другим, поэтическим, посвящает все время» (Л. Павлищев, Из семейной хроники. Воспоминания об А. С. Пушкине, М., 1890, стр. 310—311). Как свидетельствует наше обращение к автографу этого письма (архив О. С. Павлищевой в Пушкинском Доме), отмеченные выше строки в нем отсутствуют, являясь продуктом фантазии Л. Н. Павлищева, известного и другими фальшивками в этом же роде.

[9] Биографические данные об отце и сыне Шванвичах (родоначальником русской ветви этой фамилии был Мартин Шванвиц, почтдиректор города Торна, переселившийся в Россию в 1718 г. и умерший в 1740 г. в должности учителя латинского и немецкого языков академической гимназии) с наибольшей точностью и полнотою собраны в работе Г. П. Блока «Путь в Берду» («Звезда», 1940, № 10, стр. 208—217; № 11, стр. 139—149). В этой же работе дан критический комментарий к заметкам Пушкина о Шванвичах. Как свидетельствуют архивные материалы, отец пугачевца, Александр Мартынович Шванвич (он родился около 1727 г., умер в 1792 г.), в 1760 году «за учиненные непорядочные против чести офицерской поступки (относившиеся, вероятно, к трактирной ссоре с А. Г. Орловым) был «выключен из лейб-кампании» и тем же чином определен в Оренбургский крепостной гарнизон. Впоследствии Шванвич был возвращен в Петербург, служил в Голштинских полках и пользовался расположением Петра III. При Екатерине попал в опалу, вышел в отставку в чине секунд-майора, определился на гражданскую службу, но в 1776 г. вернулся в армию и до самой смерти своей был ко-

мандиром 3-го Кронштадтского батальона. Его старший сын, Николай Александрович, брат пугачевца, упоминаемый в записи Пушкина, умер в 1830 г.

В пору работы Пушкина над повестью о Шванвиче один из племянников пугачевца, Дмитрий Николаевич, был полковником лейб-гвардии Финляндского полка, а другой — отставным полковником лейб-гвардии Измайловского полка (ЦГИАЛ, архив Правительствующего Сената, дело Временного присутствия Герольдии, 1835, № 137, о дворянском происхождении рода Шванвичей). Сентанция от 10 января 1775 г. о Михайле Шванвиче вошла в «Полн. собр. законов Российской империи», т. XX, стр. 9, № 14233.

[10] Пушкин, Полное собр. соч., т. IX, ч. 2, 1940, стр. 498. Впервые опубликовано с некоторыми неточностями Е. И. Якушкиным в «Библиографических записках» 1859 г., № 6, стр. 180—181. Генерал Н. С. Свечин, со слов которого сделана была эта запись Пушкина (не раньше лета 1833 г.), женат был на С. П. Соймоновой, двоюродной тетке С. А. Соболевского. Последний еще в письме от 19 декабря 1818 г. предлагал Свечину подписаться на несостоявшееся издание стихотворений Пушкина («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 727). Инициалы Н. С. Свечина впервые правильно расшифрованы в указателе к «Полн. собр. соч. Пушкина», т. IX, ч. 2, 1940, стр. 912.

[11] Заметки об отце и сыне Шванвичах, цитируемые нами по черновому автографу Пушкинского Дома (собрание Л. Н. Майкова), были сильно сокращены и смягчены Пушкиным в той редакции «Замечаний о бунте», которую он представил царю при письме на имя графа А. X. Бенкендорфа от 26 января 1834 г. (IX, ч. 1, 374; XVI, 7—8). Беловая редакция «Замечаний о бунте» была впервые опубликована в журнале «Заря» 1870 г., кн. XII (декабрь), стр. 418—422, по копии, сохранившейся в бумагах И. П. Шульгина. Нынешнее местонахождение белового оригинала записки Пушкина неизвестно, но в статье Д. А. Корсакова «Из воспоминаний о Л. Н. Майкове» сохранились строки, исключающие всякие сомнения в авторитетности копии И. П. Шульгина: «Профессор новой истории в Петербургском университете И. П. Шульгин преподавал в 40-х годах историю и статистику великим князьям Константину Николаевичу, Николаю Николаевичу и Михаилу Николаевичу. Для этих-то уроков профессор Шульгин получил доступ в государственный архив и извлек оттуда весьма много очень интересного и неизвестного материала по русской истории XVIII и XIX вв. Бумаги Шульгина перешли к родственнику Майкова, В. В. Кашпиреву, издававшему журнал «Заря» («Исторический вестник», 1900, № 8, стр. 468).

[12] «Известие о самозванце Пугачеве», составленное священником Полянским, извлечено было Пушкиным из дел архива Главного штаба, доставленных ему в начале 1833 г. по распоряжению А. И. Чернышева. См. выше, стр. 28. Ссылки на эту же рукопись см. в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПб., 1884, стр. 38.

[13] Сводку основных данных о работе Пушкина над романом «Дубровский» см. в статьях Д. П. Якубовича «Незавершенный роман Пушкина» (Сб. «Пушкин. 1833 год», Л., 1933, стр. 33—42) и И. Н. Кубикова «Общественный смысл повести «Дубровский» (Пушкинская Комиссия Общества любителей Российской словесности. Пушкин. Сборник второй. Редакция Н. К. Пиксанова. М.—Л.,

1930, стр. 79—109). О романе «Дубровский» и традициях западноевропейского разбойничьего романа см. работы А. И. Яцимирского «Дубровский» («Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Пушкин», т. IV, 1910, стр. 271—276) и Б. В. Томашевского «Пушкин и романы французских романтиков» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 954—957). Много ценных соображений о месте «Дубровского» в творческой эволюции Пушкина рассеяно в «Заметках о прозе Пушкина» В. Б. Шкловского (М., 1937, стр. 82—87 и 91—92), в статье П. Калецкого «От «Дубровского» к «Капитанской дочке» («Литературный современник», 1937, № 1, стр. 148—168) и в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля», (М., 1957, стр. 370—372 и 375—376). Статья Т. П. Соболевой «Крестьянство и крестьянский бунт в повести А. С. Пушкина «Дубровский» («Ученые записки Московского Гос. Пед. Института им. В. И. Ленина», т. CXV, 1957, стр. 45—72) не выходит за пределы компиляции.

[14] План этот, печатаемый нами далее по автографу Пушкинского Дома (собрание Я. К. Грота), впервые был опубликован в газете «Русь», 1885, № 22, стр. 3; точнее, в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 г.», П., 1922, стр. 3—6. О Перфильеве см. данные «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 28, 69, 79—80), а также выписку о нем из бумаг Д. Н. Бантыша-Каменского (см. далее, стр. 65). О распоряжении Пушкина, судя по примечаниям его к восьмой главе «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 116), были, кроме рукописи записок И. И. Дмитриева и справки о Перфильеве, сделанной Д. Н. Бантышом-Каменским, неизданные материалы о Перфильеве, сохранившиеся в бумагах одного из ликвидаторов восстания, капитана гвардии А. П. Галахова. Эти документы, полученные Пушкиным от внука этого капитана, ротмистра лейб-гвардии конного полка А. П. Галахова (1802—1863), воспитанника лицейского благородного пансиона, невольно ввели Пушкина в заблуждение, так как он, подобно некоторым деятелям екатерининского государственного аппарата, поверил в возможность предательства Перфильева и дал об этом неверную информацию в «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 69). Не лишено вероятия, что фальшивка Долгополова заставила Пушкина отказаться от выдвижения Перфильева в герои повести, задуманной им в начале 1833 г. Документы, устанавливавшие непричастность Перфильева к афере Долгополова, см. в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, 1884, гл. 4 и 9.

В рукописной редакции первой главы «Истории Пугачева», хронологически близкой первому наброску плана повести о Шванвиче, рассказ о восстании в Яицком городке 13 января 1771 г. заканчивался сентенцией: «Мятежники торжествовали. Казак Перфильев отправился в Петербург, дабы от их имени объяснить и оправдать кровавое происшествие» (IX, ч. 1, 413). В печатной редакции «Истории Пугачева» имя Перфильева в этом контексте отсутствовало (IX, ч. 1, 11).

[15] План этот печатается по автографу Пушкинского Дома (собрание Л. Н. Майкова). Впервые опубликован в брошюре И. С. Зильберштейна «Из бумаг Пушкина», М., 1926, стр. 42—43. Этот вариант плана набросан на листе, оторванном от полученного Пушкиным письма, со следами почтового штемпеля: «Москва, сентября 11». На основании этой даты Б. В. Томашевский отнес новый вариант плана повести о Шванвиче к октябрю-ноябрю 1833 г. («Полн. собр. соч. А. С. Пушкина в десяти томах», т. VI, изд. 2-е, 1957, стр. 781—782). Мы не можем, однако, принять этого «уточнения» хронологии замысла

Пушкина, так как письмо, на обрывке которого набросан был третий вариант повести о Шванвиче, могло относиться к 11 сентября любого из годов, предшествовавших работе Пушкина над реализацией этого замысла.

[16] В. Б. Шкловский, развивая наши соображения о дате отставки и отъезда в деревню А. П. Гринева («1762 год»), обратил внимание на то, что поскольку действие повести Пушкина относится к 1773 г., Петру Гриневу должно было бы быть в это время не 17, а не более 10 лет (В. Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, М., 1937, стр. 84—86). И действительно, изъятию из печатного текста повести ссылки на 1762 г. предшествовала цифровая выкладка в одной из тетрадей Пушкина, определяющая год рождения Шванвича («1755»), на основании его возраста в 1773 г. («Рукописи А. С. Пушкина». Фототипическое издание. Альбом 1833—1835 гг. Комментарии под ред. С. М. Бонди. Москва, 1939, стр. 18 и 30).

[17] Специальная литература о «Капитанской дочке» и предшествующих ей планах повести из времен восстания Пугачева не очень велика. Ее достижения за весь досоветский период пушкиноведения обобщены в работах Н. И. Черняева «Капитанская дочка» Пушкина. Историко-критический этюд», М., 1897, и М. Л. Гофмана «Капитанская дочка» («Пушкин», под ред. С. А. Венгерова, т. IV, изд. Брокгауз — Ефрон, СПб., 1910, стр. 353—378). Основные вопросы, связанные с историей создания «Капитанской дочки», были вновь поставлены и частично разрешены в наших исследованиях повести, опубликованных в 1934—1954 гг. Первым итогом этих разысканий явились комментарии к «Капитанской дочке» в «Полном собрании сочинений А. С. Пушкина в шести томах», изд. «Academia», т. IV, 1936, стр. 746—759. Наиболее значительными из позднейших работ о «Капитанской дочке» являются статьи В. Александрова «Пугачев. Народность и реализм Пушкина» («Литературный критик», 1937, № 1, стр. 17—45); Н. Е. Прянишникова «К столетию «Капитанской дочки» («Литературная учеба», 1937, № 1, стр. 94—113); Д. П. Якубовича «Капитанская дочка» и романы Вальтер Скотта» («Временник Пушкинской комиссии», т. IV—V, 1939, стр. 165—197); брошюра Е. Н. Купреяновой «Капитанская дочка» А. С. Пушкина», Л., 1947; очерк С. М. Петрова «Исторический роман Пушкина» («Историко-литературный сборник». Под ред. С. П. Бычкова, Ф. М. Головенченко, С. М. Петрова, М., 1947, стр. 146—172). О страницах, посвященных «Капитанской дочке» в книгах В. Б. Шкловского «Заметки о прозе Пушкина» (М., 1937) и Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (М., 1957), см. далее стр. 110—111 и 131.

[18] Копии документов о беглом сержанте Илье Аристове, изъятые из архива Пушкина П. В. Анненковым, ныне хранятся в Пушкинском Доме АН СССР (IX, ч. 2, 704—709).

[19] Показания И. С. Аристова от 25 июля 1774 г. опубликованы с незначительными сокращениями, но с концовкой, отсутствующей в копии Пушкина (первая редакция оговора архиепископа Вениамина) в сборнике материалов «Пугачевщина», т. II, М.— Л., 1929, стр. 305. Впервые эти показания использованы были в печати в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, СПб., 1884, стр. 329—352.

[20] Показания И. С. Аристова от 4 августа 1774 г. до сих пор из-

вестны были только по глухой ссылке на них в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. III, стр. 331.

[21] Перевод письма Пушкина к П. А. Осиповой от 29 июня 1831 г.: «Времена стоят печальные. В Петербурге свирепствует эпидемия. Народ несколько раз начинал бунтовать. Ходили нелепые слухи. Утверждали, что лекаря отравляют население. Двое из них были убиты рассвирепевшей чернью. Государь явился среди бунтовщиков <...> Нельзя отказать ему ни в мужестве, ни в умении говорить; на этот раз возмущение было подавлено, но через некоторое время беспорядки возобновились. Возможно, что будут вынуждены прибегнуть к картечи» (XIV, 430). Ср. дневниковые записи Пушкина от 26 и 29 июля 1831 г. (XII, 199—200).

[22] «Крестьянское движение 1827—1861 гг.», вып. 1, М., 1931, стр. 10. Основной документальный материал о восстании 1831 г. опубликован в книге А. Слезскинского «Бунт военных поселян в холеру 1831 г. (По неизданным конфирмациям)». Новгород, 1894. См. также сборник «Бунт военных поселян в 1831 г. Рассказы и воспоминаиия очевидцев», СПб., 1870, и документальные данные работы П. Евстафиева «Восстание военных поселян Новгородской губернии в 1831 г.». Издание Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, М., 1934.

[23] Н. К. Шильдер, Император Николай I, т. II, 1903, стр. 613. Обращение Николая I к депутатам Новгородского дворянства мы цитируем по публикации А. Долгорукова «Новгородские дворяне и военные поселяне» («Русская Старина», 1873, № 9, стр. 411—414).

[24] О деятельности Н. М. Коншина в Новгородской следственной комиссии см. материалы А. Слезскинского «Бунт военных поселян в холеру 1831 г.», Новгород, 1894, стр. 212—213. Ср. А. И. Кирпичников «Очерки по истории новой русской литературы», т. II, М., 1903, стр. 106.

[25] Впервые опубликовано нами в «Литературном наследстве», т. 16—18, 1934, стр. 450. См. варианты рукописи «Барышня-крестьянка» в академическом издании полн. собр. соч. Пушкина, т. VIII, ч. 2, 1940, стр. 672.

[26] Дата окончания работы Пушкина над первой редакцией «Истории Пугачева» отмечена была нами впервые в рецензии на однотомник «Сочинения А. Пушкина. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского», Л., 1935 («Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», кн. 2, М.—Л., 1936, стр. 412). Б. В. Томашевский, утверждая, что «шесть глав «Истории Пугачева» были написаны 22 мая (помета в рукописи)», повторял ошибочную справку академического комментатора «Истории пугачевского бунта» Н. Н. Фирсова, удостоверявшего, что шестая глава этой работы самим автором датирована в рукописи 22 мая 1833 г. («Соч. Пушкина», т. XI, 1914, примеч., стр. 41). Однако в результате специального исследования рукописей «Истории Пугачева» нами было установлено, что дата «22 мая 1833» относилась не к переделанной шестой главе, а к черновому наброску заключительных строк главы восьмой,— именно к описанию отправки пленного Пугачева в Москву и его казни. Эта черновая запись занимает в автографе частичку двойного листа плотной белой бумаги, который несколько месяцев спустя был использован Пушкиным для обложки шестой главы, что и ввело в заблуждение как Н. Н. Фирсова, так и всех позднейших комментаторов «Истории Пугачева». Устанавливая наличие в портфеле Пушкина уже 22

мая 1833 г. не только шестой главы, но и черновой редакции *всей* «Истории Пугачева», мы с полным вниманием должны отнестись к давно известному, но считавшемуся не заслуживающим доверия сообщению Гоголя в письме от 8 мая 1833 г. о том, что Пушкин «уже почти кончил «Историю Пугачева» («Письма Н. В. Гоголя». Редакция В. И. Шенрока, т. 1, стр. 250). Эта начальная редакция «Истории Пугачева», конечно, самым существенным образом в течение всего 1833 г. и начала 1834 г. дополнялась, исправлялась и перестраивалась на основании получаемых Пушкиным новых документальных и мемуарных данных, но как некая цельная, хотя еще и сугубо поедварительная схема, охватывающая всю историю восстания 1773—1774 гг., она уже существовала в мае 1833 г.

[27] Сцены, относящиеся к суду и расправе Пугачева в крепости Ильинской (обстоятельства казни капитана Камешкова и прапорщика Воронова, помилование капитана Башарина и т. п.), исключительно близки в «Истории Пугачева» и в «Капитанской дочке» подробнейшим показаниям об этом эпизоде фурьера Иванова, допрошенного 3 декабря 1773 г. Эти же показания, копия которых сохранилась в бумагах Пушкина (IX, ч. 2, 1940, стр. 698—701), легли в основание и данных о взятии крепости Ильинской и судьбе ее защитников в книге Н. Ф. Дубровина «Пугачев и его сообщники», т. II, СПб., 1884.

[28] Это же произвольное решение вопроса о хронологии дошедших до нас планов повести о Шванвиче повторено было в «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина в десяти томах», т. VI, 1949, стр. 761—762. Во втором издании десятитомника (т. IV вышел в свет в 1957 г.) Б. В. Томашевский отказался от этого предположения, слишком поспешно, к сожалению, усвоенного в работе Н. И. Фокина «К истории создания «Капитанской дочки» («Учен. Зап. Уральского Пединститута», 1957, стр. 104—124). Никакой критики не выдерживают и предположения Н. И. Фокина о возможности датировки первых записей Пушкина о Шванвиче 1830—1832 гг.

[29] Печатается по автографу Пушкинского Дома, тетрадь № 2374 (по старой нумерации Румянцевского музея), л. 4, об. Впервые опубликовано П. И. Бартеневым в «Русском архиве», 1881, кн. 1, стр. 448, без вставной строки, представлявшей собою приписку вверху листа. При перепечатке этого плана в примечаниях к второму изданию десятитомного «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина» Б. В. Томашевский предложил новое чтение строки «Башарин отцом своим привезен в Петербург», поместив после фамилии «Башарин» дату «в 1772 г.» (т. VI, 1957, стр. 783). Это уточнение текста представляется сомнительным.

[30] Печатается по автографу Пушкинского Дома, тетрадь № 2375 (по старой нумерации), л. 32. Листок с этим планом вырезан был Пушкиным из предыдущей тетради и вшит в тетрадь № 2375 после его смерти. Впервые опубликовано В. Е. Якушкиным в «Русской старине» 1884, № 9, стр. 653; чтение записи уточнено Д. П. Якубовичем в сб. «Работа классиков над прозой», Л., 1929, стр. 11. Тонкий анализ строк об «изувеченном башкирце» в этом варианте плана, перешедших в окончательную редакцию романа, см. в «Заметках о прозе Пушкина» В. Б. Шкловского, М., 1937, стр. 107—111. Как правильно замечает исследователь, Пушкин, «делая исполнителем казни коменданта пытанного им башкирца, изменяет значение казни, превращая ее в возмездие».

[31] Печатается по автографу Пушкинского Дома (писано на листке, занятом стихами А. Боде. Дата стихов: 28 октября 1834 г.). Впервые

опубликовано (вместе с факсимиле) М. А. Цявловским в «Трудах Публичной Библиотеки им. Ленина», т. III, М., 1934, стр. 24; более точно — Д. П. Якубовичем в «Полн. собр. соч. А. С. Пушкина», т. VIII, ч. 2, 1940, стр. 930. Следует отметить живые черты прототипов героев повести, которыми Пушкин пользуется в этом варианте плана, согласно обычной технике своего прозаического письма: «Валуев» — это Петр Александрович Валуев (1815—1890), девятнадцатилетний жених (а с 22 мая 1836 г. муж) дочери П. А. Вяземского, впоследствии министр. Маша Горисова — это, видимо, Марья Васильевна Борисова, молодая девушка, сирота, жившая в доме П. И. Вульфа, о которой Пушкин шутливо писал 27 октября 1828 г. из Малинников, что «намерен на днях в нее влюбиться» (XIV, 33). Характерен зачеркнутый вариант фамилии Валуева — Швабрин, впоследствии использованный в «Капитанской дочке». Знак вопроса (в скобках), заменяющий фамилию пугачевского атамана, подступающего к крепости, свидетельствует о том, что Пушкин еще не решил, сам ли Пугачев будет показан в повести или кто-либо из его соратников.

[32] О двух Гриневых, один из которых был подпоручиком и привлекался к дознанию о сообщниках Пугачева, а другой — подполковником, принимавшим деятельное участие в борьбе с самозванцем (имя его не раз встречается в пятой главе «Истории Пугачева») см. в работе Н. И. Черняева «Капитанская дочка» Пушкина», М., 1897, стр. 64 и 200.

[33] «Пропущенная глава» впервые опубликована была П. И. Бартеневым в «Русском архиве», 1880, т. III, стр. 218—227, под названием «Новая глава из «Капитанской дочки». Пушкин сам назвал эту главу «пропущенной» и сделал соответствующую надпись на ее обложке после того, как все прочие части этой редакции «Капитанской дочки» были им уничтожены. В окончательной редакции романа месту «пропущенной главы» соответствовали те страницы XIII главы, которые предшествовали абзацу: «Не стану описывать нашего похода и окончания войны» (VIII, ч. 1, 364). Сводку данных об этой главе в дореволюционной критической литературе о Пушкине см. в статье А. Незеленова «Кем и почему пропущена одна глава из повести «Капитанская дочка» («Новое время» от 5 января 1881 г.; перепечатано в сб. А. И. Незеленова «Шесть статей о Пушкине», СПб., 1892, стр. 96—103), а также в очерке Н. И. Черняева «Капитанская дочка» Пушкина», М., 1897, стр. 76—78 и 202—203. С наибольшею полнотою материалы для текстологического и историко-литературного комментария к «Пропущенной главе» объединены были в наших пояснениях к заметке И. С. Тургенева, предшествовавшей переводу этой главы на французский язык в 1881 г. («Une épisode de guerre civile en Russie. Chapitre inédit de «La Fille du capitaine». См. «Соч. И. С. Тургенева», т. XII, 1933, стр. 612—615).

В самом тексте «Пропущенной главы» нами впервые установлено было правильное чтение нескольких черновых строк, в числе которых оказалось описание пловучей виселицы, на которой Гринев увидел трех казненных пугачевцев: «Один из них был старый чуваш, другой [заводский] русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву» («Полн. собр. соч. Пушкина», прилож. к журналу «Красная нива» на 1930 г., т. IV, вып. 9, стр. 579.

Ср. VIII, ч. 1, 376). Зачеркнутый эпитет «заводский» позволял уточнить символическое значение трех основных социально-политических сил восстания, объединенных казаком Пугачевым — угнетенные национальные меньшинства Поволжья, заводские рабочие Урала и крепостное крестьянство. См. об этом в статье Д. П. Якубовича «Разработка литературного наследия и биографии Пушкина после Октября. Издания текстов художественной прозы» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 1122).

[34] В процессе последней переписки романа Пушкин внес существенные исправлеиия только в текст XI главы. В первоначальной ее редакции, как установил Б. В. Томашевский, Гринев, получив отказ генерала Рейнсдорпа помочь ему в спасении Марьи Ивановны, решает обратиться за помощью к главе другого лагеря — Пугачеву: «В этот лагерь гнали его беспомощное бессилие и трусость оренбургской администрации. Вся картина развала в правительственном лагере должна была подготовить решение Гринева уйти из него. «Страшная мысль», мелькнувшая в его голове, состояла в том, что он обратится за помощью к самому Пугачеву. После того уже, как следующая, XI, глава, была переделана, Пушкин приспособил конец X главы самым простым образом — вычеркнул слово «странная». Но какая же мысль мелькнула в голове Гринева согласно с окончательной редакцией? В начале следующей главы в окончательном тексте она дана словами самого Гринева: «Я еду в Белогорскую крепость». Но что же думал делать Гринев в этой крепости один против гарнизона, во главе которого стоял его враг Швабрин? Пушкин этого не разъясняет и не может разъяснить, так как по ходу романа Гринев попадает не в крепость, а в Берду к Пугачеву. Приступая к XI главе, Пушкин сочиняет эпиграф, приписанный им А. Сумарокову:

В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
«За чем пожаловать изволил в мой вертеп?» —
Спросил он ласково.

Этот эпиграф гармонирует именно с первоначальным замыслом: Гринев — гость Пугачева, а не пленник, и как гостя ласково принял его Пугачев» («Пушкин, Временник Пушкинской Комиссии, кн. 4—5. 1939, стр. 12).

[35] 1 ноября 1836 г. Пушкин читал свой роман на вечере у П. А. Вяземского («Остафьевский архив», т. III, стр. 347), замечания которого дошли до нас в письменной форме (XVI, 183) и частично были учтены Пушкиным — например, им уничтожен был в восьмой главе анахронизм в словах Пугачева «Ступай ко мне в службу — и я пожалую тебя в князья Потемкины» (в эту пору Потемкин еще не был всесильным временщиком), а в первой главе слово «абшит» заменено на «пашпорт». Исключительно интересны впечатления и критические оценки, получившие отражение в статье Вяземского «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина» (1847). Эта статья, своевременно не опубликованная, напечатана была лишь после смерти автора. Вот, например, как характеризовал Вяземский особенности стиля «Истории пугачевского бунта»: «Рассказ везде живой, но обдуманный и спокойный, может быть, слишком спокойный. Сдается, что Пушкин будто сторожил себя; наложенною на себя трезвостью он будто силился отклонить от себя и малейшее подозрение в употреблении поэтического напитка. Прозаик крепко накрепко запер себя в прозе, так, чтобы поэт не мог и заглянуть к нему. Впро-

чем такое хладнокровие, такая мерность были естественными свойствами дарования его, особенно когда выражалось оно прозою. Он не любил бить на эффект, des phrases, des mots à effet, как говорят и делают французы. Может быть, доводил это правило почти до педантизма». И далее: «В «Капитанской дочке» история пугачевского бунта или подробности о нем как-то живее, нежели в самой истории. В этой повести коротко знакомишься с положением России в эту странную и страшную годину. Сам Пугачев обрисован метко и впечатлительно. Его видишь, его слышишь. Может быть, в некоторых чертах автор несколько *идеализировал* его. В его — странно сказать, а иначе сказать нельзя — простодушии, которое в нем по временам показывается, в его *искренности* относительно Гринева, пред которым он готов не выдаваться за Петра III, есть что-то напоминающее очерк Дмитрия Самозванца, начертанный тем же Пушкиным. Но если некоторые подробности встречаешь с недоумением, то основа целого и басня, на ней изложенная, верны. Скажем опять: если оно было и не так, то могло так быть. О крепости Белогорской вплоть до Царского Села картина сжатая, но полная и мастерски воспроизведенная. Императрица Екатерина также удачно и верно схвачена кистью мастера, как и комендантша Василиса Егоровна. А что за прелесть Мария! Как бы ни было, она принадлежит Русской былине о Пугачеве. Она воплотилась с нею, и отсвечивается на ней отрадным и светлым оттенком. Она другая Татьяна того же поэта» («Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», т. II, СПб., 1879, стр. 375—377).

Очень близки были этим заключениям Вяземского впечатления А. И. Тургенева, которыми он поделился в письме из Петербурга от 9 января 1837 г. к К. Я. Булгакову: «Повесть Пушкина «Капитанская дочка» так здесь прославилась, что Барант предлагал автору при мне перевести ее на французский с его помощью: но как он выразит оригинальность этого слога, этой эпохи, этих характеров старорусских и этой девичьей русской прелести — кои набросаны во всей повести? Главная прелесть в рассказе, а рассказ перерассказывать на другом языке — трудно» («Московский пушкинист», М., 1927, стр. 34—35).

[36] В. Б. Шкловский, опираясь на материал первого варианта нашего исследования о планах «Капитанской дочки» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 443—466) и принимая большую часть наших наблюдений и выводов, резко возражал, однако, против тезиса о том, что политические установки Пушкина «в процессе всех переработок начального замысла повести о Шванвиче оставались неизменными» и что «союз Шванвича с Пугачевым мог по-разному мотивироваться, но никогда не оправдывался». В этой своей редакции наша формулировка давала, конечно, материал для возражении. Однако она вовсе не снималась той концепцией работы Пушкина над «Капитанской дочкой», которую выдвигал В. Б. Шкловский, утверждая, что «реальный ход работы Пушкина над планами «Капитанской дочки» состоит не в том, что он, не изменяя отношения к восстанию, делает своего героя-дворянина все менее ответственным за восстание, а в том, что он заменяет первый конфликт, основанный на борьбе дворянских группировок, показом самого Пугачева и конфликтом между ним и дворянином-недорослем, симпатичным, но недалеким». Как полагает исследователь, «разрешение личного конфликта Гринева» дается в последних вариантах повести «уже не в плане сговора представителей когда-то поссорившихся родов, а на обнаруживании его невиновности. Личная судьба Гринева разрешена поездкой Маши в Петер-

бург, но здесь разрешена фабульная, а не сюжетная линия повести. Орловы, которые в «Дубровском» назывались Троекуровыми, удалены из повести начисто. Москва и Петербург, которые занимали сравнительно много места в планах, почти не даны в повести. Пугачев сделался из эпизодического героя — главным. Его кивок головой перед самой казнью — последний сюжетный штрих произведения» (В. Шкловский, Заметки о прозе Пушкина, М., 1937, стр. 103). Одни из этих утверждений бесспорны, но наличествовали и в нашей работе, другие оригинальны, но вовсе не убедительны. Более значимы, на наш взгляд, наблюдения В. Б. Шкловского в области работы Пушкина над эпиграфами «Капитанской дочки» (стр. 103—106 и 112—121), много дающие для правильного понимания образа Пугачева и отношения к нему самого Пушкина. Исключительно интересны и соображения исследователя об условности традиционных черт образа Екатерины II, восходящих в «Капитанской дочке» к ее портрету, писанному Боровиковским в 1791 г. (стр. 126—128).

[37] Биографические материалы о капитане А. П. Крылове см. в «Библиографических и исторических примечаниях к басням Крылова». Составил В. Кеневич, изд. 2-е, СПб., 1878, стр. 299—300. О действиях А. П. Крылова 18 сентября 1773 г. см. данные «Записки подполковника Пекарского о бунтах яицких казаков» («Москвитянин», 1841, ч. III, стр. 441—442). Список с рукописи Пекарского, сохранившийся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 598—616), учтен в «Истории Пугачева» (IX, ч. I, 16). В архиве Пушкина сохранились выписки и конспекты из «журналов» полковника И. Д. Симонова об осаде Яицкого городка (IX, ч. 2, 501—504). Новейшую сводку данных о капитане А. П. Крылове (к сожалению, далеко не полную) см. в статье А. В. Десницкого «Из биографических материалов о родителях И. А. Крылова» («Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института им. А. И. Герцена», т. 120, 1955, стр. 231—240).

[38] Крылов, лично знакомый с Пушкиным еще, видимо, с конца десятых годов (см. М. А. Цявловский, Летопись жизни и творчества Пушкина, 1951, стр. 138), вскоре после высылки поэта из Петербурга печатно выступил против критиков «Руслана и Людмилы» в своей известной эпиграмме «Напрасно говорят, что критика легка» («Сын отечества», 1820, т. 64, № 38, стр. 233). Воспоминания кн. П. А. Вяземского свидетельствуют о дружеской встрече Крылова с Пушкиным вскоре после возвращения поэта из ссылки на чтении «Бориса Годунова» в квартире А. А. Перовского («Полн. собр. соч. П. А. Вяземского», т. 1, СПб., 1878, стр. 184). С начала тридцатых годов, после переезда Пушкина на постоянное жительство в Петербург, учащаются и его встречи с Крыловым (прежде всего на вечерах у Жуковского и Оленина). 8 января 1830 г. А. А. Шаховской писал С. Т. Аксакову: «Вчера провел вечер у Жуковского с Крыловым, Пушкиным, Гнедичем» («Русский архив», 1873, № 4, стр. 472). Известен эпизод на обеде 19 февраля 1832 г. у А. Ф. Смирдина по случаю его «новоселья», когда Крылов, сразу же после окончания официальных тостов, пытался провозгласить «здоровье Пушкина», но был остановлен М. Е. Лобановым, указавшим на необходимость прежде почтить Жуковского («Пушкин и его современники», вып. XXXI—XXXII, 1927, стр. 114). Вместе с Крыловым, Гнедичем и Жуковским Пушкин позирует 15 апреля 1832 г. для известной картины Г. Г. Чернецова «Парад на Марсовом поле» («Нива», 1914, № 25, стр. 494).

О встречах Пушкина с Крыловым 4 и 6 февраля 1833 г. см. выше стр. 38). 14 июля 1833 г. Пушкин встретился с Крыловым на чествовании И. И. Дмитриева (см. об этом выше, стр. 54). Со слов Крылова Пушкин записывает 22 декабря 1834 г. в своем дневнике несколько забавных сентенций по поводу запрещения стихов В. Гюго «Красавице» в переводе Деларю (XII, 335). Несколько позже Пушкин вносит характернейший анекдот о Крылове в «Table-talk»: «У Крылова над диваном, где он обыкновенно сиживал, висела большая картина» и пр. (XII, 170). Около середины июня 1836 г. Пушкин встретился с Крыловым на вечере у П. А. Вяземского по случаю приезда в Петербург французского литератора Леве-Веймара («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 808). Наконец, воспоминания А. П. Савельевой свидетельствуют о посещении Пушкиным Крылова за день или за два до дуэли» («Русский архив», 1877, кн. III, стр. 402).

[39] Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин (в сборнике статей Ю. Н. Тынянова «Архаисты и новаторы», «Прибой», 1929, стр. 87—227). Отмечаемые нами проблемы не получили надлежащего освещения и в книге Н. Л. Степанова «И. А. Крылов. Жизнь и творчество», ГИХЛ, 1949, в которой находим мы, однако, немало интереснейших данных об особой позиции Крылова в «Беседе любителей русского слова» в период борьбы ее с «Арзамасом» (стр. 94—95 и 138—143).

[40] Дневник В. К. Кюхельбекера. Предисловие Ю. Н. Тынянова. Редакция, введение и примечания В. Н. Орлова и С. И. Хмельницкого. Л., 1929, стр. 303—304. Курсив Кюхельбекера. В письме от 29 июня 1839 г. из Баргузина к Н. Г. Глинке Кюхельбекер отмечал: «Легко статься может, что «Капитанская дочь» и «Пиковая дама» лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным» («Летописи Гос. Литературного музея. Декабристы». Ред. Н. П. Чулкова. М., 1938, стр. 182).

[41] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, 1955, стр. 140. В 1845 г., развивая эти же положения в статье «Иван Андреевич Крылов», великий критик утверждал, что «поэзия Крылова и в эстетическом и в национальном смысле должна относиться к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов выразил и, надо сказать, выразил широко и полно одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию. Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца; мы видим в нем нечто большее» (там же, т. VIII, 1955, стр. 571).

[42] М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VII, СПб., 1895.

[43] «Пушкин и его современники», вып. XXIX—XXX, 1918, стр. 35.

[44] Записи рассказов Крылова печатаются по беловому автографу ПД (собрание Л. Н. Майкова). Записи сделаны чернилами на полулисте бумаги обычного канцелярского формата (без водяных знаков), сложенном вдвое. Размер рукописи 180×219 мм. Жандармская помета отсутствует. На бумаге след оттиснутого овального штемпеля с орлом. Дата записи «11» переправлена самим Пушкиным из перво-

начально поставленной: 12 апр. 1833. При жизни Пушкина запись рассказов Крылова входила, очевидно, в обложку, обнаруженную нами в 1935 г. в неописанной пачке бумаг Пушкина в Государственной Публичной библиотеке им. В. И. Ленина («Материалы для «Истории пугачевского бунта», на 269 листах. По описи Румянцевского музея, № 2391. Ныне эти бумаги переданы в Пушкинский Дом). Рукою Пушкина обложка озаглавлена: «Журнал Симонова и показания Крылова (поэта)». Запись рассказов Крылова изъята была из этой обложки еще, вероятно, в середине пятидесятых годов П. В. Анненковым, от наследников которого автограф впоследствии перешел к Л. Н. Майкову. См. опись В. И. Срезневского «Пушкинская коллекция, принесенная в дар библиотеке Академии наук А. А. Майковой» («Пушкин и его современники», вып. IV, 1906, стр. 31).

[45] Последний из рассказов Крылова очень близок эпизоду из времен восстания Пугачева, отмеченному в «Автобиографических записках» сенатора Д. Б. Мертваго, опубликованных много лет спустя после смерти и Пушкина, и Крылова. Эпизод этот в записках Д. Б. Мертваго приурочен к лету 1774 г., когда он сам жил в занятом пугачевцами г. Алатыре (Симбирской губернии): «Все умы заняты были тогдашними суровыми происшествиями. Безпрерывные слухи о сражениях и убийствах и почти ежедневное зрелище смертной казни завели и у нас тому подобные игры. Мы разделились на две партии, из которых одной я был предводителем, и играли в войну. Однажды собралось мало мальчиков моей партии, и я, видя невозможность защищаться на открытом месте и напасть, как прежде бывало, на неприятеля, засел в пустых срубах сгоревших изб. Предводитель неприятельской партии, сын ямщика, не зная, где мы скрывались, послал из партии своей лазутчиком мальчика-дворянина ровесника мне, и так же, как я, чудесным образом спасшегося от смерти, поручив ему разведать, откуда удобнее на нас напасть. Этот мальчик, маленький ростом, разделся и, прикрыв спину рогожею, пополз на животе исполнить данное ему поручение. Неприятель наш не знал, что для надзора за его движениями я поставил в скрытых местах несколько часовых, которые поймали и привели ко мне лазутчика. Я собрал начальников моей партии, нарядил суд, который решил виновного повесить, и как не любил я этого мальчика, но привел в исполнение приговор суда. К счастью нашему, петля, сделанная из той рогожи, которая покрывала лазутчика, слабо скрученная, была мягка и не сильно захватила горло; однако он переставал уже дышать, когда гарнизонный солдат, шедший по пустырю, увидев наши проделки, прибежал и во время снял повешенного, который долго лежал без чувства. Мы стали дышать ему в рот и качать, — и кое-как оживили. Не могу передать, как сильно я почувствовал важность моего преступления. Я сознался во всем пред солдатом, просил его отвести меня, как убийцу, к воеводе, говоря, что я достоин строгого наказания, что согрешил я пред богом и пред людьми и не должен более жить на свете. Когда мальчик ожил и солдат, только пожурив меня, отпустил, я сильно обрадовался, тотчас помирился с лазутчиком и, отыскав его платье, помог ему одеться, и как все мальчики разбежались, видя беду, то и мы воротились домой; с этих пор я дал себе слово не заводить вперед подобной забавы и играл только в козлы и чушки» («Автобиографические записки Д. Б. Мертваго», М., 1867, стр. 28—29).

[46] Некритическое отношение к официальным документам, игнорирующее специфику их происхождения и назначения, обусловило

неудачную попытку историка Н. Ф. Дубровина выступить в защиту И. Д. Симонова от нареканий Пушкина: «А. С. Пушкин обвиняет Симонова в робости, но это едва ли справедливо. Осторожность не есть робость, а между тем ни в одном из многочисленных показаний мы не встретили ни одного намека в подтверждение этого факта, да и сам капитан Крылов, считавший себя недостаточно награжденным, изложил свои заслуги в письме к П. С. Потемкину, но не упомянул, что он распоряжался вместо Симонова» (Н. Дубровин, Пугачев и его сообщники, СПб., 1884, т. II, стр. 269).

[47] В несколько ином плане наши положения о функции образа капитана Миронова в «Капитанской дочке» и о связи этого образа с его историческим прототипом — капитаном Крыловым развиты были Г. А. Гуковским, утверждавшим, что в последнем романе Пушкина получило «явственное выражение» его одинаково положительное отношение и к Пугачеву и к капитану Миронову: «Индивидуально — они в разных лагерях, но в каждом из них говорит некая народная правда; и эта народная правда оценивается Пушкиным высоко, тогда как личные пути каждого из этих людей Пушкин отказывается судить» (Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, М., 1957, стр. 374).

[48] Печатается по автографу Пушкинского Дома в тетради Пушкина № 2385 (по нумерации бывш. Румянцевского музея), л. 16. Впервые опубликовано, с существенными неточностями, В. Е. Якушкиным в «Русской старине», 1884, № 7, стр. 530.

Н. И. Черняев, автор первой специальной историко-литературной работы, посвященной «Капитанской дочке», разбирая проект недописанного предисловия к ней, не сомневался в том, что «анекдот, о котором в нем <в этом предисловии> говорится, едва ли будет когда-нибудь узнан со всеми его подробностями» (Н. И. Черняев, «Капитанская дочка» Пушкина. Историко-критический этюд, М., 1897, стр. 81) Расшифровка строк Пушкина об «одном из наших альманахов», как указания на «Рассказ моей бабушки» в «Невском альманахе», впервые предложена была нами в комментариях к «Капитанской дочке» в «Полн. собр. соч. Пушкина в шести томах», «Academia», т. IV, 1936, стр. 753. Этой расшифровке, в настоящее время уже общепринятой, предшествовала наша же гипотеза о том, что Пушкин имел в виду в наброске своего предисловия альманах М. А. Максимовича «Денница на 1834 г.», в котором опубликован был очерк С. Т. Аксакова «Буран», широко использованный Пушкиным, как известно, при описании бурана во второй главе «Капитанской дочки» (А. С. Поляков, Картина бурана у Пушкина и С. Т. Аксакова. Сб. «Пушкин в мировой литературе», Л., 1926, стр. 287—288. Ср. Ю. Г. Оксман, К истории библиотеки Пушкина, «Сборник статей, посвященных академику А. С. Орлову», Л., 1934, стр. 445—446).

[49] Впервые связь некоторых фабульных деталей «Рассказа моей бабушки» с повестью Пушкина «Капитанская дочка» отмечена была Н. О. Лернером в его специальном докладе об этом, прочитанном в Пушкинском Доме АН СССР осенью 1933 г. Доклад Н. О. Лернера остался ненапечатанным, но факты, им установленные, были популяризированы в комментариях к «Полному собранию сочинений Пушкина в шести томах», изд. «Academia» (т. IV, 1936, стр. 753), и в статье В. Г. Гуляева «К вопросу об источниках «Капитанской дочки» («Пушкин». Временник Пушкинской комиссии, т. IV—V, 1939, стр. 198—211). В этой же статье инициалы «А. К.», которыми была под-

писана публикация «Рассказа моей бабушки» в «Невском альманахе», ошибочно раскрыты были как «А. Корнилович». Об А. Крюкове как авторе «Рассказа моей бабушки» см. в автореферате кандидатской диссертации Н И. Фокина «Роман А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (Л., 1955, стр. 8) и в брошюре: Peter Brang, «Puschkin und A. Kriukow». Berlin, 1957.

50 Комендантом Нижне-Озерной крепости был не капитан Шпагин, как указывалось в «Рассказе моей бабушки», а майор Харлов, молодая жена которого после его гибели стала наложницей Пугачева (XI, ч. I, 27—28). Возможно, конечно, что Настя в «Рассказе моей бабушки» была дочерью Харлова от первого брака, а подлинную фамилию коменданта не позволяли сохранить в рассказе, предназначенном для печати, бытовые и литературные условности.

О близости образа капитана Миронова его прототипу в «Рассказе моей бабушки» свидетельствуют следующие строки последнего: «Покойный мой батюшка (получивший капитанский чин еще при блаженной памяти императрице Елизавете Петровне) командовал отставными солдатами, казаками и разночинцами <...> Батюшка мой (помяни господи душу его в царстве небесном) был человеком старого века <...>. Он или учил своих любезных солдат (видно, что солдатской-то науке надобно учиться целый свой век) — или читал священные книги, хотя был учен по-старинному — и сам бывало говаривал в шутку, что грамота ему не далась, как турку пехотная служба. Зато уж он был великий хозяин <...>. Каждый почти вечер собирались в нашу приемную горницу: старик поручик, казачий старшина, отец Власий и еще кое-какие жители крепости» («Невский альманах на 1832 год», стр. 263—264).

51 Время приобретения Пушкиным этого экземпляра «Путешествия из Петербурга в Москву» связывается нами с началом его работы над «Историей Пугачева» на том основании, что ни в одном из произведений и писем Пушкина с конца двадцатых годов до середины 1833 г. мы не найдем не только каких-нибудь следов интереса к книге Радищева, но даже случайных упоминаний о ней. Надпись на принадлежавшей Пушкину книге гласит: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии, заплачен двести рублей. А. Пушкин». Книга, переплетенная в красный с золотым тиснением сафьян, имеет ряд критических замечаний и подчеркиваний на полях, сделанных красным карандашом. По предположению В. Л. Бурцева, все эти отметки принадлежат Екатерине II и использованы были как своего рода руководство к действию в допросах Радищева. См. об этом статью В. Л. Бурцева «Пушкинский экземпляр «Путешествия» Радищева с пометками императрицы Екатерины II» («Биржевые ведомости» от 13 декабря 1916 г., № 15981), а также сб. «Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты». Подготовили к печати М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер», М.—Л., «Academia», 1935, стр. 603—604.

Не рискнув сослаться на книгу Радищева ни в тексте «Истории Пугачева», ни в предисловии и в примечаниях к ней, Пушкин попытался в особой статье, якобы не связанной с основным его трудом, ввести в широкий научный и литературный оборот показания и рассуждения Радищева о тех противоречиях русской крепостнической действительности, которые в 1773—1774 гг. привели к крестьянской войне, но не утратили актуального значения и 60 лет спустя. Началь-

ная дата работы Пушкина над статьей о «Путешествии из Петербурга в Москву» — 2 декабря 1833 г.

Вся дореволюционная литература об отношении Пушкина к Радищеву и его литературному наследию критически учтена в работе П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М., 1920. Дополняют и продолжают эту работу статьи В. П. Семенникова «Радищев и Пушкин» (В. П. Семенников, Радищев. Очерки и исследования, М.—П., 1923, стр. 241—318); Г. П. Макогоненко, Пушкин и Радищев («Учен. зап. Ленинградского Гос. Университета», № 33, вып. 2, 1939); брошюра Н. Л. Степанова «Пушкин и Радищев», Л., 1951; книги Вл. Орлова «Радищев и русская литература», изд. 2-е, дополненное, Л., 1952, стр. 164—189 и Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 393—420.

52 «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге, 1790, стр. 387 (глава «Городня»).

53 Там же, стр. 7 (глава «София»).

54 Там же, стр. 260—262 (глава «Хотилов).

55 К. В. Пигарев. Рассуждение о непременных государственных законах Д. И. Фонвизина в переработке Никиты Муравьева («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, стр. 358).

56 «Восстание декабристов», т. II, 1926, стр. 71—72.

57 Свое понимание «просвещенного дворянства», его исторического генезиса и политической функции в условиях царизма и крепостничества Пушкин очень четко сформулировал в 1830 г. в набросках неоконченной статьи «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений» (XI, 173) и в заметках «О дворянстве» (XII, 205—206). Много внимания мыслям Пушкина о «просвещенном дворянстве» уделено было в работах Д. Д. Благого «Классовое самосознание Пушкина», М., 1927; П. Н. Сакулина «Классовое самоопределение Пушкина» (Пушкинская Комиссия Общества любителей Российской словесности. «Пушкин». Сборник второй. М.—Л., 1930, стр. 3—78); С. М. Петрова «Проблема историзма в мировоззрении и творчестве Пушкина» (Академия Наук СССР. «А. С. Пушкин». 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств. М.—Л., 1951, стр. 204); Б. С. Мейлаха «Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 412—421. В массовой литературе о Пушкине некоторое время бытовали антиисторические сожаления о том, что Пушкину так и не удалось отрешиться до конца своих дней от «круга идей просвещенного дворянства», помешавших ему «стать на точку зрения крестьянской революции, как это сделали революционеры-разночинцы» (В. Ермилов, Наш Пушкин, М., 1949, стр. 70). Ответ на суждения этого рода дан был еще в 1937 г. в статье В. Александрова «Пугачев. Народность и реализм Пушкина»: «Не будем требовать от Пушкина того, чтобы он, оставаясь Пушкиным, был кроме того еще и Чернышевским: это слишком много для одного человека, даже такого человека, каким был Пушкин» («Литературный критик», 1937, кн. 1, стр. 44).

58 Мы говорим о двух статьях, которые Пушкин предполагал посвятить Радищеву в своем «Современнике», а не об одной («Александр Радищев»), так как в дошедшем до нас большом перечне задуманных поэтом в 1836 г. статей и заметок о редких русских изданиях и зарубежных книгах о России сохранилась строка: «Путеш<ествие> Рад<ищева>». Как мы полагаем, это был последний след обращения Пушкина к рукописям его заметок о «Путешествии из

Москвы в Петербург», относившимся к периоду 1833—1835 гг. В академическое издание сочинений Пушкина перечень его статей, проектируемых для «Современника», не вошел. С наибольшей точностью он опубликован и объяснен в «Полн. собр. соч. Пушкина», «Academia», т. IX, 1937, стр. 304—305 и 740—741. Пушкин предположительно наметил и название всего цикла задуманных им публикаций: «Опыты библиографические».

[59] Записи рассказов И. И. Дмитриева впервые полностью опубликованы были В. Л. Комаровичем в приложениях к «Истории Пугачева» в академическом издании полного собрания сочинений Пушкина (IX, ч. II, 1940, стр. 497—498).

[60] Время работы Пушкина над хроникой П. И. Рычкова («Осада Оренбурга») мы относим к последним числам июля 1833 г., так как до этого времени автор «Истории Пугачева» мог знать о существовании труда Рычкова только по слухам. Основанием для нашей датировки первых выписок из «Осады Оренбурга», сохранившихся в бумагах Пушкина (IX, ч. II, 759—772), является письмо поэта к Г. И. Спасскому, известному знатоку Сибири и Приуралья: «Мне сказывали, что у вас находится любопытная рукопись Рычкова, касающаяся времен Пугачева. Вы оказали бы мне истинное благодеяние, если б позволили пользоваться несколько дней сею драгоценностию» (XV, 68). Письмо это не имеет даты. Однако черновой карандашный его набросок, сохранившийся в записной книжке Пушкина на том же листке, на котором набросан тем же карандашом проект письма к Бенкендорфу от 22 июля 1833 г. (XV, 224), не позволяет отделять эти черновики один от другого более чем на день или два (датировка письма к Г. И. Спасскому в академическом издании (XV, 261) излишне широка и никак не мотивирована: «Июнь — 18 июля 1833»). Подтверждением исполнения Спасским просьбы Пушкина являются строки одного из примечаний в третьей главе «Истории Пугачева» о трех списках «любопытной рукописи академика Рычкова, доставленных мне гг. Спасским, Языковым и Лажечниковым» (IX, 101). Список Языкова Пушкин не мог получить раньше своего пребывания в Симбирской усадьбе Языковых, т. е. осени 1833 г. (XV, 79, 80, 83), а список Лажечникова оказался в его распоряжении лишь в апреле 1834 г. (XV, 127).

[61] Мы воспроизводим черновик письма Пушкина к Дмитриеву, дополняя недописанные слова и опуская зачеркнутые. Весьма характерно, что Пушкин отмечает свою возможность работать над материалами о Пугачеве как «случай». Выражая желание «прочесть возможно позже» полный текст записок Дмитриева, Пушкин имеет в виду решение их автора не печатать мемуары при жизни.

[62] Дата приезда И. И. Дмитриева в Петербург нами установлена по информации об этом в «Северной пчеле» от 14 июня 1833 г. № 131. Ср. запись в дневнике П. А. Вяземского: «15 июня 1833 г. Я сегодня обедал у Дмитриева. Каждые два часа беседы с ним могут дать материалов на несколько глав записок» («Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского», т. VII, 1882, стр. 166). Во время пребывания И. И. Дмитриева летом 1833 г. в Петербурге Пушкин услыхал от него о некоторых подробностях заговора против императора Павла, давших материал для позднейшей его записи (от 6 октября 1834 г., в Болдине): «Дмитриев предлагал имп. Александру Муравьева <Апостола> в сенаторы. Царь отказал начисто» и пр. (XII, 161). Из Петербурга Дмитриев выехал в Дерпт 16 июля 1833 г. («Северная

пчела» от 21 июля 1833 г., № 162). О выезде его из Дерпта в Москву см. письмо П. А. Вяземского от 2 августа 1833 г. к А. Я. Булгакову («Русский архив», 1879, № 6, стр. 240).

[63] Наши соображения о датировке чернового письма Пушкина к Дмитриеву позволяют отвергнуть ничем не мотивированную дату этого наброска в академическом издании Пушкина — «Март-апрель 1833 г.» (XV, 62), равно как и отнесение этого черновика к «второй половине ноября 1833 г.» в «Письмах Пушкина» под ред. Л. Б. Модзалевского, т. III, 1935, стр. 660.

[64] Из «20 особ», присутствовавших на этом обеде, в «Северной пчеле» названы были Д. Н. Блудов и барон Люцероде, саксонский посланник при русском дворе. В письме от 3 августа 1833 г. сам Дмитриев выразил особенную признательность за оказанное ему внимание в день 14 июля обоим «графам Вильегорским, А. С. Пушкину и П. А. Плетневу» («Письма И. И. Дмитриева к кн. П. А. Вяземскому». СПб., 1898, стр. 157). Имена других участников обеда (в том числе Гоголя, Д. И. Хвостова, С. С. Уварова) позволяют установить подписной лист на сооружение памятника Н. М. Карамзину, заполнявшийся на этом же обеде («Литературное наследство», т. 52, стр. 247, а также справка О. С. Соловьевой «Новейшие приобретения пушкинского текста» в сб. «Пушкин». Исследования и материалы, т. 2, 1958, стр. 400—402).

[65] Сводку биографических данных о сенаторе Д. О. Баранове (1773—1834) см. в примечаниях Л. Б. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. III, 1935, стр. 586—587.

[66] В бумагах Пушкина сохранились копии основных документов дела Казанской губернской канцелярии о бегстве Пугачева из Казанской тюрьмы. Эти копии, озаглавленные Пушкиным «О побеге Пугачева», впервые полностью опубликованы в 1940 г. в приложениях к академическому изданию «Истории Пугачева» (IX, ч. 2, стр. 723—747). Характеризуя эти материалы, Г. П. Блок в своих заключениях о методах работы Пушкина над историческими источниками отметил, что в печати данные казанского архива занимают «полных 25 страниц, т. е. около 1000 строк. В «Истории Пугачева» эти 1000 строк обратились в 7 строк, причем цитат здесь нет» («Пушкин в работе над историческими источниками», М.—Л., 1949, стр. 67). Это наблюдение приходится отвести, ибо история бегства Пугачева написана была Пушкиным, как свидетельствует первая редакция «Истории Пугачева, до знакомства поэта с материалами архива Казанской губернской канцелярии. Ни один документ из этой серии материалов не был учтен и в печатном тексте «Истории Пугачева».

[67] В черновой редакции «Замечаний о бунте», писанных для царя, сохранилась следующая ссылка Пушкина на рассказы И. И. Дмитриева об архаических фигурах казанского губернатора и его жены: «Ив. Ив. Дмитриев описывал мне Корфа как человека очень простого, а жену его как маленькую и старенькую дуру; муж и жена открывали всегда губернаторские балы меноветом á la reine. Он в старом мундире времен Петра I, она в венгерском платье и в шляпе с перьями» (IX, ч. I, 476). В автографе, видимо, описка: «Корфа» вм. «Брандта».

[68] Об этом см. выше в главе «Проблематика «Истории Пугачева» Пушкина в свете «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева», стр. 42. Характеризуя действия кн. Урусова при усмирении Башкирии в 1741 г., Пушкин в «Истории Пугачева» писал: «Казни, произведен-

ные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений. «Иных растыкали по кольям, других повесили ребром за крюки, некоторых четвертовали. Остальных, человек до тысячи (пишет Рычков), простили, отрезав им носы и уши». Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта» (IX, ч. I, 373). По рецептам кн. Урусова действовали усмирители восстания Пугачева и в 1774 г.: «Комендант Верхне-Яицкой крепости, полковник Ступишин,— отмечал Пушкин,— вошел в Башкирию, сжег несколько пустых селений и, захватив одного из бунтовщиков, отрезал ему уши, нос, пальцы правой руки и отпустил его, грозясь поступить таким же образом со всеми бунтовщиками. Башкирцы не унялись» (IX, ч. I, 55).

[69] Характерно, что И. И. Дмитриев, обращение к которому летом 1833 г. обогатило Пушкина ценным материалом о делах и людях периода 1773—1774 гг., вновь опрашивается Пушкиным в 1835 г. уже в связи с поисками данных для политической биографии Радищева. Мы имеем в виду заметку Пушкина о Радищеве и его друзьях («Козодавлев, Ушаков и Радищев из пажей, Насакин, Наумов из гвардии сержантов посланы Екатериною в чужие края» и пр.), до сих пор не датированную и не объясненную в специальной литературе о Пушкине и Радищеве. О том, что запись эта сделана со слов Дмитриева, свидетельствуют заключительные строки заметки: «Дм<итриев> у Держ<авина> слышит от Коз<одавлева> об *Путеш<ествии>*. Держ<авин> доносит о п<утешествии> Зуб<ову>» (XII, 351—352).

Заметка эта относится к осени 1835 г., ибо летом 1833 г., когда Пушкин впервые опрашивал Дмитриева о событиях конца XVIII столетия, факты биографии Радищева еще не входили в сферу его интересов. Работа над «Путешествием из Петербурга в Москву», начатая 2 декабря 1833 г., продолжалась в 1834—1835 гг., сочетаясь под конец с собиранием материалов для литературно-биографической статьи «Александр Радищев». В августе 1835 г. Дмитриев вторично приезжает в Петербург, где остается до 7 сентября («Северная пчела», 1835, от 12 сентября, № 204; «Русский архив», 1868, стр. 639—640). К одной из встреч его с Пушкиным в эту пору и должен быть приурочен рассказ о Радищеве и его окружении, отмеченный нами выше. О близости Дмитриева к О. П. Козодавлеву, свидетельства которого занимали центральное место в заметке Пушкина о Радищеве, см. «Взгляд на мою жизнь. Записки действительного тайного советника И. И. Дмитриева», М., 1866, стр. 200.

[70] Письмо С. Энгельгардта, дальнего родственника В. В. Энгельгардта, передано было последним Пушкину вместе с биографией Н. З. Повало-Швыйковского. Оно зарегистрировано в «Журнале, веденном при разборе бумаг покойного А. С. Пушкина» с 15 по 17 февраля 1837 г. («Дела III Отделения С. Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине», СПб., 1906, стр. 190). Впервые опубликовано нами в «Литературном наследстве», т. 16—18, 1934, стр. 460, по автографу, хранившемуся в собрании П. Е. Щеголева (ныне в Пушкинском Доме АН СССР).

[71] «Биография секунд-майора Н. З. Повало-Швыйковского» (IX, ч. 2, 498—500) обнаружена была нами в пачке бумаг Пушкина, хранившихся в Государственной Публичной Библиотеке им. В. И. Ленина под № 2391, лл. 270—272 (ныне в ПД). В известной описи

В. Е. Якушкина пачка эта обозначена следующим образом: «Материалы для Пугачевского бунта. Материалов очень много, все ненапечатанное. Всего 269 листов, почти все рукою Пушкина» («Русская старина», 1884, № 12, стр. 573). Биография, писанная на трех листах (бумага с водяным знаком 1833 г.), из которых последний занят примечаниями, впервые опубликована нами в 1934 г. вместе с письмом С. Энгельгардта. См. выше примеч. 70. В очень неточной и тенденциозной передаче некоторые детали рассказов Повало-Швыйковского попали в печать четверть века спустя после записи их для Пушкина. Мы имеем в виду публикацию А. Кононова под названием «Два семейные предания» («Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете», 1862, кн. III, отд. V, стр. 346—347).

[72] Неточность в рукописной редакции «Истории Пугачева» об условиях перевозки пленного Пугачева из Симбирска в Москву, впоследствии устраненная Пушкиным на основании записки Н. З. Повало-Швыйковского, объяснялась тем, что другие источники по истории пугачевщины не учитывали замены «деревянной клетки», в которой привезен был самозванец из Яицкого городка, на «простую кибитку», доставившую его из Симбирска в Москву. Свидетели первой части пути пленного Пугачева говорили поэтому о клетке, свидетели второй — о кибитке.

[73] Об этой выписке из бумаг Д. Н. Бантыша-Каменского см. далее, стр. 80. Рукописные первоисточники справок Пушкина о Белобородове н Перфильеве опубликованы были полностью в «Словаре достопамятных людей русской земли», 1836, ч. I, стр. 238 (справка о Белобородове) и ч. IV, стр. 132—133 (справка о Перфильеве). Самый стиль биографии Бантыша-Каменского очень ярко характеризуют следующие его строки о Белобородове: «Сей любимец пугачевский, ученый между разбойниками, потому, что умел подписывать, кое-как, свое имя и управлял пушками, не избег праведной мести».

[74] Б. Л. Модзалевский, Библиотека Пушкина (библиографическое описание), СПб., 1910, стр. 225—226.

[75] Mémoires, correspondance et ouvrages inédites de Diderot, publiés d'après les manuscrits confies, en mourant, par l'auteur à Grimm. Paris, 1830, t. I, p. 44—49. В полном собрании сочинений Дидро, сохранившемся в библиотеке Пушкина, русским его отношениям посвящены были некоторые материалы третьего и двенадцатого томов. См., напр., публикации «Sur la princesse d'Aschkow» и «Plan d'une université pour le gouvernement de Russie» («Oeuvres de D. Diderot», t. III, Paris, 1821, p. 93—105; t. XII, p. 149—234). Сводку высказываний Дидро о России и русских см. в работах В. А. Бильбасова «Дидро в Петербурге», СПб., 1884; M. Tourneux «Diderot et Catherine II», Paris, 1899; М. П. Алексеева «Д. Дидро и русские писатели его времени» («XVIII век», сборник 3, 1958, стр. 416—431).

[76] «Записки кн. Е. Р. Дашковой». Перевод с французского по изданию, сделанному с подлинной рукописи под редакцией и с предисловием Н. Д. Чечулина, СПб., 1907, стр. 101—103. Пушкин, в бумагах которого сохранились выписки из французского текста воспоминаний Дашковой, относящиеся к биографии Радищева (см. сб. «Рукою Пушкина», М.—Л., 1935, стр. 589—592), пользовался, вероятно, тем списком с рукописи Дашковой, который принадлежал П. А. Вяземскому («Русский архив», 1866, стр. 1721). Дата выпи-

сок Пушкина из записок кн. Дашковой о Радищеве не установлена, но, видимо, они сделаны в пору работы над статьями о Радищеве и его книге, т. е. между 1833 и 1836 г. С дискуссией о рабстве крестьян, которую вел Дидро с кн. Дашковой, хорошо гармонировал отзыв Екатерины II о великом энциклопедисте: «Monsieur Diderot a cent ans à bien des égards, mais à d'autres il n'en a que dix» (Castéra «Vie de Catherine II», t. II, p. 67).

[77] Н. Карамзин, Сочинения, т. IV, М., 1803, стр. 193 («Письма русского путешественника», ч. III, письмо из Парижа от 1790 г.).

[78] Известный тезис Аполлона Григорьева о тождестве образов Белкина и Гринева и об адекватности их взглядов философско-историческим позициям самого Пушкина, прокламированный в его статьях 1859—1861 гг. («Соч. Аполлона Григорьева», т. I, СПб, 1876, стр. 252, 254, 514), широко популяризировался в массовой литературе о Пушкине второй половины XIX в. В наиболее обнаженной форме эта концепция поставлена была на службу самодержавно-дворянской реакции в книге Н. И. Черняева «Капитанская дочка». Анализируя афоризмы Гринева о революции, исследователь утверждал, что именно в них «заключался символ веры политических убеждений не только Гринева, но и Пушкина, раз навсегда покончившего в зрелые годы своего ума и таланта с революционным увлечением молодости» (Н. И. Черняев, «Капитанская дочка». Историко-критический этюд, М., 1897, стр. 50). Очень близок этим тенденциозным искажениям взглядов Пушкина неожиданно оказался Н. О. Лернер, один из крупнейших буржуазных пушкиноведов начала XX столетия. В своей работе «Проза Пушкина», появившейся впервые в 1908 г. на страницах известного коллективного труда «История русской литературы XIX в.», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского (Изд. «Мир», т. I, ч. 2, стр. 376—428), Н. О. Лернер следующим образом трактовал литературно-политические взгляды Пушкина в пору создания им «Капитанской дочки»: «Своей эпохой в смысле движения вперед он <Пушкин> был очень доволен: «конечно, должны еще произойти великие перемены; но не должно торопить времени, и без того уже довольно деятельного»,— писал он в одну из самых мертвых эпох русской жизни, в середине 30-х годов:— «лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества». Призрак революции пугал Пушкина, который, наконец, дошел до того, что не мог говорить спокойно о Радищеве и его книге». Эти строки, перепечатанные без всяких перемен в отдельном изданни очерка Н. О. Лернера («Проза Пушкина», изд. 2-е, «Книга», П.—М., 1923, стр. 90), очень сочувственно цитировались П. Н. Сакулиным в работе «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М., «Альциона», 1920, стр. 57.

[79] В книге Н. Л. Бродского «А. С. Пушкин» мы читаем, что в известной политической формулировке «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» — «мемуарист Гринев, дворянин, переживший кровавые годы «пугачевщины», точно выразил не только *свое* отношение к событиям 1773—1774 годов, — Пушкин также разделял это мнение о «русском буите», то-есть о крестьянском восстании, мужицкой Жакерии. «Бессмысленным» ему казался народный мятеж не потому, что Пушкин не видел в нем социально-политической цели, внутреннего смысла: «Цель гнусного бунта была ниспро-

вержение престола и истребление дворянского рода»,— кратко и вполне исторично сформулировал автор «Капитанской дочки» свое понимание крестьянского движения XVIII в. Антидворянский характер этого движения, протест крестьянской массы против самодержавно-дворянского государства, — вот в чем, по мнению Пушкина, был смысл движения с точки зрения восставших. «Русский бунт» не был в глазах Пушкина без смысла, без определенных политических идей. Крестьянскую войну Пушкин обессмысливал тем, что признавал ее обреченность на неудачу и бесцельность кровавых жертв, ее бесполезность и неосуществимость выставленных лозунгов» (Н. Бродский, А. С. Пушкин. Биография, М., 1937, стр. 854—855).

Совершенно категорическими были утверждения о тождестве Пушкина и Гринева в исследовании Н. К. Пиксанова «Крестьянское восстание в «Вадиме» Лермонтова»: «В VI главе «Капитанской дочки», которая носит выразительное название «Пугачевщина», Пушкин пишет от имени Гринева: «Молодой человек, если записки мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». А в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», посвященной Радищеву, Пушкин уже от своего собственного имени говорит: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения <...> Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» («Историко-литературный сборник». Под ред. С. П. Бычкова, Ф. М. Головенченко, С. М. Петрова. М., 1947, стр. 221—222). На этих же позициях остается по сути дела и С. М. Петров, подчеркивающий в своей статье «Исторический роман Пушкина», с одной стороны, «факт неправильной трактовки» некоторыми из наших литературоведов сентенции «Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный», а с другой стороны, уклоняющийся от объяснений, в чем же эта «неправильность» состоит, и заявляющий: «Пушкин никогда бы не вложил в уста своего героя такой многозначительной фразы без важных на то соображений» (там же, стр. 162).

[80] «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу» (редакция и примечания А. Н. Шебунина), М.—Л., 1936, стр. 241. Курсив наш. Свое понимание «просвещения» Н. И. Тургенев в записке «Нечто о состоянии крепостных крестьян» (1819 г.) формулировал очень осторожно: «Россия, как думают многие и как позволительно думать каждому, делает успехи в просвещении. Но в чем состоит истинное гражданское просвещение? — Оно состоит в знании своих прав и своих обязанностей» (сб. «Декабристы. Отрывки из источников», М., 1926, стр. 50—51). Эти определения расшифровываются при их сравнении с первоисточником Н. И. Тургенева. Мы имеем в виду книгу И. П. Пнина «Опыт о просвещении относительно к России» (СПб, 1804): «*Просвещение*, в настоящем смысле приемлемое, — писал Пнин,— состоит в том, когда каждый член общества, в каком бы звании ни находился, совершенно знает и исполняет свои должности: то-есть, когда начальство с своей стороны свято исполняет обязанности в вверенной оному власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения. Если сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное в отношениях своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели <...> Там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть удел каж-

дого гражданина. Но доколе власть во зло употребляет довереииость, обществом ей делаемую, доколе подчиненность не перестает выходить из своих пределов и доколе равновесие гражданственных взаимностей теряется, дотоле та страна, хотя бы она состояла вся из ученых и философов, едва ли счастливее той, которая покрыта мраком невежества» (Иван Пнин, Сочииения. Подгот. к печати и комментарии В. Н. Орлова, М., 1934, стр. 123—124).

81 «Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к С. И. Тургеневу», М.—Л., 1936, стр. 267. Характерно использование Черной Грязи в этом же символическом значении в трагедии В. К. Кюхельбекера «Прокофий Ляпунов» (1834 г.), в которой крестьяне на вопрос героя о названии их села отвечают: «Черные Грязи, барин» (В. К. Кюхельбекер. Драматические произведения. Ред. и прим. Ю. Тынянова, Л., 1939, стр. 291). Пессимистическое отношение к перспективам развития русской культуры в условиях крепостного строя звучит не только в каламбуре Пушкина о «первой станции просвещения», но и в одной из строф седьмой главы «Евгения Онегина», написанной ровно десять лет спустя:

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц
Лет чрез пятьсот)...

82 «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге. 1790 (глава «Черная Грязь»), стр. 417—418.

83 И. П. Пнин, Опыт о просвещении относительно к России (1804 г.). Цитируем по «Сочинениям» И. П. Пнина, М., 1934, стр. 132. Литературно-политическую характеристику Пнина и наиболее полный свод био-библиографических материалов о нем см. в книге Вл. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов», ГИХЛ, 1950, стр. 63—176 и 445, 459.

84 И. П. Пнин, Опыт о просвещении относительно к России («Сочинения», 1934, стр. 133. Курсив подлинника).

85 Записка Н. И. Тургенева «Нечто о состоянии крепостных крестьян», объединявшая политические, экономические, исторические и моральные доводы в пользу немедленной ликвидации крепостных отношений, впервые опубликована была по беловому автографу, представленному Александру I, в «Сборнике исторических материалов, извлеченных из архива собственной его императорского величества канцелярии», вып. IV, СПб., 1891, стр. 441—450. По экземпляру, сохранившемуся в архиве автора, напечатана самим Тургеневым в книге его «Взгляд на дела России». Лейпциг, 1862, стр. 10—38.

86 Записка В. Ф. Раевского «О рабстве крестьян», дошедшая до нас лишь в виде нескольких черновых фрагментов, была несомненно закончена (не позже декабря 1820 г.) и имела распространение в кругах, идейно близких ее автору. См. о ней в нашей статье «Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX в.» в «Очерках по истории движения декабристов» под ред. Н. М. Дружинина и Б. Е. Сыроечковского, М., 1954, стр. 509. В своих воспоминаниях, писанных уже в Сибири, В. Ф. Раевский при характеристике задач, стоявших перед членами Союза Благоденствия, отметил борьбу за «Развитие просвещения, т. е. умножение учебных заведений и народных школ, свободу слова и печати, гласное судопроизводство» («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, 1956, стр. 83). Эта форму-

лировка особенно интересна при учете разных толкований понятия «просвещение» деятелями передовой общественности первой четверти XIX в.

[87] «Русская старина», 1896, кн. 10, стр. 74—75 (Сообщение Н. К. Шильдера). Тезис Бенкендорфа о том, что «у нас, со времен Петра Великого, всегда впереди нации стояли ее монархи», выхвачен был из очень популярной после разгрома декабристов концепции русского исторического процесса, пропагандируемой П. Я. Чаадаевым (см., напр., «Соч. и письма П. Я. Чаадаева», т. II, 1914, стр. 218 и 306—307). Характерно, что и Пушкин, полемизируя с некоторыми положениями Радищева в своих заметках о «Путешествии из Петербурга в Москву», вкладывает в уста московского либерального барина мысли о том, что «со времен возведения <на престол> Романовых, от Михаила Федоровича до Николая I, правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно. Вот что и составляет силу нашего самодержавия» (XI, 223). Перефразировкой мыслей Чаадаева о возможностях революции сверху являются рассуждения об этом в статьях и книгах В. Ф. Одоевского, Н. А. Мельгунова, М. П. Погодина, в письме Белинского к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г., в некоторых записях Герцена. См. об этом «Известия ОЛЯ», 1956, № 2, стр. 169—170 и в комментариях к «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XI, 1956, стр. 624.

[88] Пушкин, цитируя в своей записке «О народном воспитании» царский манифест, обнародованный в связи с окончанием процесса декабристов, писал: «Не просвещению, сказано в высочайшем манифесте от 13 июля 1826 года, *но праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых познаний, должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — погибель.* Скажем более: одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия» (XI, 43—44. Курсив Пушкина). С этим пониманием «просвещения» связана сентенция Пушкина в его Кишиневских заметках по русской истории XVIII в.: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения» (XI, 14). Ср. его же строки о Петре в «Стансах» 1828 г.:

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье.

[89] В. И. Ленин, Сочинения, изд. 4-е, т. 22, стр. 175. Вопрос об «Эзоповском языке» в статьях Пушкина о Радищеве, поставленный А. И. Герценом еще в 1858 г., явился предметом специального рассмотрения в работах В. Е. Якушкина «Радищев и Пушкин» («Чтения Общества истории и древностей Российских при Московском университете», 1886, кн. 2, стр. 1—58) и П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев. Новое решение старого вопроса», М. 1920. Первый из них утверждал, что Пушкин под видом полемики с Радищевым пытался пропагандировать его общественно-политические взгляды, а второй рассматривал эти же самые статьи Пушкина лишь как выражение полного несогласия великого поэта с идеями «Путешествия из Петербурга в Москву». В советском литературоведении утвердилась точка зрения В. Е. Якушкина (с некоторыми оговорками, имевшими в виду учет Пушкиным того «опыта истории», которым не мог располагать Ради-

щев). Самая возможность споров о толковании замысла обеих статей свидетельствует о том, что Пушкин в своем стремлении «перехитрить» цензуру не нашел пути к правильному пониманию читателями его подлинных политических позиций, затемненных условностями эзоповского языка. Б. С. Мейлах, характеризуя в своей книге «Пушкин и его эпоха» исключительные трудности изучения статей Пушкина о Радищеве, очень убедительно рекомендует необходимость детального исследования всех дошедших до нас черновых и беловых набросков Пушкина о книге Радищева в их «динамике», так как «ни одна рукопись Пушкина не содержит столько противоречивых, даже взаимоисключающих вариантов одних и тех же формулировок, стольких оговорок и всевозможных ухищрений с целью обойти цензуру. Весьма важным является то, что в пушкинском «Путешествии» образ путешественника не тождествен Пушкину» («Пушкин и его эпоха», М., 1958, стр. 393—410).

[90] А. И. Герцен, знавший большую часть беловой редакции «Русской избы» по посмертному изданию «Сочинений Александра Пушкина» (т. XI, 1841, стр. 47—50), очень внимательно учел наблюдения великого поэта в своем введении к работе «О развитии революционных идей в России»: «Крестьянин, живущий в этих домишках, — все в том же положении, в каком застигли его кочующие полчища Чинхизхана. События последних веков пронеслись над его головой, даже не заставив его задуматься. Это — промежуточное существование между геологией и историей. У этой формации свой особый характер, образ жизни, физиология, но нет биографии» (А. И. Герцен, Собр. соч., т. VII, 1956, стр. 138. Цитируем в переводе с франц. оригинала).

[91] Эта цитата из главы «Пешки» заменена была в заметках Пушкина о «Путешествии из Петербурга в Москву» выпиской из басни Крылова. Разбирая главу «Медное», Пушкин также отказывается от ее цитирования, замечая: «Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях <...>, с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле» (XI, 263). В. А. Десницкий в своем анализе этих строк Пушкина ставит вопрос о том, «с чем Пушкин «соглашается поневоле»?» и вместо ответа выписывает то самое место из главы «Медное», с которым Пушкин «согласился»: «Все те, кто мог бы свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Как далее заключает В. А. Десницкий, Пушкин не сомневается в том, что «Предпосылки для 1793 года у нас имеются (крестьянский вопрос и возможности его разрешения «от самой тяжести порабощения»); но их нет для 1789 года. В самоотречение русского дворянства, в русское 4 августа Пушкин не верит... Отсюда пушкинский русский вариант концепции французских историков: осуществление принципов 1789 г. не революцией, а разумом «просвещения» и волею просвещенного монарха» (В. Десницкий, Пушкин и мы. Вводная статья в однотомнике «Соч. Пушкина», Л., 1936, стр. 20—21).

[92] В. В. Виноградов, характеризуя «основные средства реалистического преобразования всей стилистической системы исторического романа в творчестве Пушкина, усматривает их прежде всего в «новых принципах структуры «образа автора», «образа повествователя» и новых формах взаимоотношений между стилем повествования и стилями речей действующих лиц». Самое повествование в «Капитанской дочке» отражало «два разных исторических периода, которые иногда и сопо-

ставлялись. С одной стороны, происшествия, люди, речи и документы времени пугачевского восстания воспроизводились в их «исторической истине», в формах языка и стиля того времени. А с другой стороны. Гринев как мемуарист излагает события 70-х годов XVIII века уже спустя несколько десятилетий, «в кроткое царствование императора Александра». Таким образом, стиль его изложения, пусть и в разной мере, характеризует две эпохи и тем самым до некоторой степени сближается с языком современности» (В. Виноградов, Из истории стилей русского исторического романа. «Вопросы литературы», 1958, № 12, стр. 134—135).

[93] В бумагах Пушкина сохранились выписки из материалов, сообщенных ему Д. Н. Бантышом-Каменским («Об Аристове», «О Белобородове и Перфильеве», «Хлопуша, Чика, Шелудяков», «О Кудрявцеве», «О полковнике Толстом», «О Рейнсдорпе»). Первые две выписки, впервые опубликованные нами в 1934 г., см. выше, стр. 21 и 65; остальные напечатаны В. Л. Комаровичем в «Полн. собр. соч. Пушкина», т. IX, ч. 2, 1940, стр. 775—777. Пушкин возвратил Бантышу-Каменскому полученные им материалы 26 января 1835 г. (XVI, 8). Можно не сомневаться в том, что выписок из бумаг Бантыша-Каменского сделано было Пушкиным значительно больше, чем это сейчас нам известно, так как фонды черновых материалов, относящиеся к работе поэта над «Историей Пугачева», сохранились далеко не полностью.

[94] Первая часть рукописи «Истории Пугачева», представленная Пушкиным царю 6 декабря 1833 г., возвращена была ему через Жуковского 29 января, а вторая часть через Бенкендорфа 8 марта 1834 г. Печатание «Истории Пугачева» началось 4 июля 1834 г., но работа над примечаниями продолжалась еще в конце этого месяца. Так, 26 июля 1836 г. Пушкин писал жене: «Держу корректуру двух томов вдруг, пишу примечания» (XV, 182). Об окончании печатания «Истории Пугачева» Пушкин довел до сведения Бенкендорфа 23 ноября 1834 г. Резолюция Николая I о разрешении выпуска книги в свет положена была на докладе об этом начальника III Отделения 18 декабря. Фактически «История Пугачева» поступила в продажу 29 декабря 1834 г. Цензурная история книги освещена в статьях: Т. Г. Зенгер «Николай I — редактор Пушкина» («Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 524—535); Н. С. Чхеидзе «История Пугачева» Пушкина и царская цензура» («Труды Тбилисского Гос. Университета», т. XXX—XXXI, 1947, стр. 135—175).

[95] «Капитанская дочка», гл. XI (VIII, ч. 1, 347—350). Используя в своем романе биографию Белобородова, написанную Бантышом-Каменским, Пушкин ориентировался не только на свои выписки, но и на полный ее текст, где справка о «жестокости» Белобородова мотивирована была данными о том, что он «предал мучительной смерти многих помещиков» («Словарь достопамятных людей русской земли», ч. 1. М., 1836, стр. 237). См. выше, стр. 79—80.

[96] «Словарь достопамятных людей русской земли, составленный Дмитр<ием> Бантыш-Каменским», ч. IV, Москва. В типографии Лазаревых. 1836, стр. 231—253. Дата цензурного разрешения: 30 октября 1836 г.

[97] Все эти свидетельства о Пугачеве, положенные в основание биографической справки Бантыша-Каменского, перепечатаны в «Истории Пугачева» (IX, кн. 1, 175—179, 180—184, 235, 324).

[98] «Словарь достопамятных людей русской земли», ч. IV.

стр. 252—253. Далее следовали строки, основанные на показаниях И. Иванова о суде и расправе Пугачева после взятия им крепости Ильинской. Эти же показания использованы были Пушкиным в «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 35—36) и в «Капитанской дочке» (VIII, ч. 1, 324—325).

[99] Показания жены Пугачева см. в примеч. к главе IV «Истории Пугачева» (IX, ч. 1, 107). Копия показаний Кожевникова, у которого Пугачев скрывался после бегства своего из Казанской тюрьмы, сохранились в архиве Пушкина (IX, ч. II, 692—695).

[100] Показания Пустовалова, включенные в хронику П. И. Рычкова и опубликованные в приложениях к «Истории Пугачева», легли в основу характеристики Пугачева в главе третьей (IX, ч. 1, 27). Выписки из этих же показаний сохранились в архиве Пушкина (IX, ч. 2, 769).

[101] Анекдот «Когда Пугачев сидел на Монетном дворе», сокращенный в рукописи самим Пушкиным, мы даем в его начальной, наиболее полной и точной редакции. Во всех изданиях сочинений Пушкина слова Пугачева о Петре печатались в редакции: «и велел разметать курган, дабы увидать хоть его кости». Как мы полагаем, это искажение объясняется тем, что Пушкин, готовя к печати часть анекдотов, вошедших в рукопись, названную им «Table-Talk» («Застольные рассказы»), сам пытался приспособить анекдот о Пугачеве к цензурным требованиям. Однако эта уловка не помогла (или сам он от нее отказался), и рассказы о Пугачеве не попали в ту подборку, которая появилась на страницах «Современника» в 1836 г., т. III, стр. 187—191, под заголовком «Анекдоты». После смерти поэта анекдот о Пугачеве опубликован был в «Современнике» 1837 г., т. VIII, стр. 229—230 в сокращенной редакции, перепечатывавшейся затем в течения ста лет во всех изданиях сочинений Пушкина. Первая редакция пушкинской записи «Когда Пугачев сидел на Монетном дворе» восстановлена была нами впервые по рукописи Пушкина в 1936 г. («Пушкин», Временник Пушкинской комиссии, вып. 2, стр. 435). В академическом издании сочинений Пушкина анекдот о Пугачеве произвольно печатается в сокращенной редакции, а зачеркнутая строка дается лишь в подстрочном примечании (XII, 161).

[102] Черновой набросок стихов «Вот мой Пугач» и пр. датируется началом 1835 г. (III, ч. 2, 1267). Мы полагаем, что в дату утраченного белового автографа этого обращения Пушкина к Д. В. Давыдову («18 января 1836 г.») при ее публикации Н. В. Гербелем вкралась ошибка: 1836 г. вместо 1835 г.

[103] Н. И. Тургенев. Нечто о состоянии крепостных крестьян в России (1819). См. выше стр. 72 и 123.

[104] «Архив князя Воронцова», кн. V, М., 1872, стр. 407—422. Отзыв Екатерины II о Радищеве был не так уж далек от той официальной политической характеристики, которая дана была Пушкину в «Отчете о действиях корпуса жандармов» за 1837 г.: «В начале сего года, — отмечалось в этом отчете Бенкендорфа, — умер от полученной на поединке раны, знаменитый наш стихотворец Пушкин. — Пушкин соединял в себе два отдельных существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он однако же до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных» (П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, 1931, стр. 148).

[105] Об этом подробнее см. выше, стр. 76—77 и 24 (примеч. 89).

В политических афоризмах Гринева Пушкин явно пародировал язык и стиль философско-исторических сентенций В. Б. Броневского, выступившего против «Истории Пугачева» в «Сыне отечества» 1835 г.: «Политические и нравоучительные размышления, коими г. Броневский украсил свое повествование, — писал Пушкин, — слабы и пошлы и не вознаграждают читателей за недостаток фактов, точных известий и ясного изложения происшествий» (IX, ч. 1, 392). Не менее резко Пушкин в письме от 26 апреля 1835 г. к И. И. Дмитриеву протестовал и против критиков «Истории Пугачева» слева: «Что касается до тех мыслителей, которые негодуют на меня за то, что Пугачев представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. Полевому, который, вероятно, за сходную цену возьмется идеализировать это лицо по самому последнему фасону» (XVI, 21).

[106] Этот эпизод отсутствует в биографии П. И. Панина, составленной Д. Н. Бантышом-Каменским и вошедшей в «Словарь достопамятных людей русской земли» (ч. IV, М., 1836, стр. 108—126). Сам Панин в письме из Симбирска от 2 октября 1774 г. к кн. М. Н. Волконскому отмечал: «Пугачев, на площади, скованный, перед всем народом велегласно признавался и каялся в своем злодеянии, и отведал тут от моей распаливнейся крови на его произведенные злодеяния несколько моих пощечин» (Н. Дубровин, Пугачев и его сообщники, т. III, СПб., 1884, стр. 307). Основываясь на этом официальном письме и забывая о том, что Панин вовсе не был заинтересован в точной передаче интересующего нас эпизода, Н. Ф. Дубровин не преминул отметить, что рассказ Пушкина о встрече графа Панина с Пугачевым ему представляется «плодом позднейшей фантазии. Слова, приписанные Пугачеву, несообразны ни с характером, ни со складом ума бывшего самозванца, никогда не отличавшегося остротою и находчивостью. Свидетели-современники, присутствовавшие при этом свидании, не упоминают ни слова о таких ответах» (там же, стр. 307—308). Разумеется, все эти «доказательства» настолько явно подчинены официальной концепции восстания, настолько примитивны в своей оценке первоисточников и лживы в своих заключениях о характерах конкретных исторических лиц, что ни в какой мере не могут подорвать версии Пушкина. Если эта версия покоилась и на предании, то предание это было прочно связано с тем, что запечатлелось в Симбирске в памяти народа о Пугачеве. О встрече Панина с Пугачевым см. также сводку документальных и мемуарных данных в примечаниях Н. Н. Фирсова к «Истории Пугачева» («Соч. Пушкина», изд. императорской Академии Наук, т. XI, П., 1914, стр. 302—304).

[107] Биографические сведения о П. М. Языкове (1798—1851) и о встречах его с Пушкиным осенью 1833 г см. в примечаниях Л. Б. Модзалевского к «Письмам Пушкина», т. III, М.—Л., 1935, стр. 634—635. В одной из дорожных записных книжек Пушкина сохранились его заметки о Пугачеве, сделанные со слов старожилов, враждебных лагерю крестьянской революции. Записи эти, не учтенные в «Истории Пугачева», вошли в книгу «Рукою Пушкина» («Academia», Л.—М., 1935, стр. 340—341), но две первых из них расшифрованы неточно, искажая оригинал в очень существенных местах. Даем эти записи в исправленной редакции, опубликованной нами в «Временнике Пушкинской комиссии», кн. 2, 1936:

Чугуны — Кар etc.

Васильс<урск> — пред<ание> о Пугачеве. Он в Курмыше повесил маи<ора> Юрлова за смелость его обличения — и мертвого секли нагайками — Жена его спасена его крестьянами.

Сл<ышал> от старухи, сестры ее — жив<ущей> милостынею.

Пугачев ехал мимо копны сена — собачка бросилась на него — он велел разброс<ать> сено — Нашли двух барышен — он их, подумав, велел повесить.

Слышал от смотрителя за Чебоксарами.

168 «Песни и сказания о Разине и Пугачеве». Вступительная статья, редакция и примеч. А. Лозановой. М.—Л., 1935, стр. 186 и 386—387. В работу эту, к сожалению, не вошли многие из записей фольклорных материалов о Пугачеве, сделанные Пушкиным во время его поездки в 1833 г. в Поволжье, Оренбург и Уральск. Некоторые из этих записей почти стенографически передают живую речь сказителей и точно отмечают их имена («Папков в Сорочинской», «Матрена в Татищевой», «В. Петр. Бабин. Казань», «Старуха в Берде» и т. п.). Вот, например, одна из этих записей, материалы которой были учтены поэтом в «Истории Пугачева» (гл. III и примеч. к гл. II и V) и в «Капитанской дочке» (гл. VII и IX):

«Пугачев на Дону таскался в длинной рубахе (турецкой). Он нанялся однажды рыть гряды у казачки — и вырыл 4 могилы. В Озерной узнал он одну дончиху, и дал ей горсть золота. Она не узнала его. По наговору Яицких казаков, велел он расстрелять в Берде Харлову и 7-летнего брата ее — Перед смертию они *сползлись* и обнялися — так и умерли, и долго лежали в кустах. — Когда Пугачев ездил куда-нибудь, то всегда бросал народу деньги. — Когда под Тат<ищевой> разбили Пугачева, то Яицк<их> прискакало в Оз<ерную> израненных,— кто без руки, кто с разрубл. головою — человек 12, кинулись в избу Бунтихи — Давай, старуха, рубашек, полотенец, тряпья— и стали драть, да перевязывать друг у друга раны.— Старики выгнали их дубьем. А гусары галицынские и Корфа (?) *так и ржут по улицам, да мясничат их*. Когда разлился Яик, тела поплыли вниз. Казачка Разина каждый день прибредши к берегу, пригребала палкою к себе мимо плывущие трупы, переворачивая их и приговаривая:— Ты ли, Степушка, ты ли мое детище? Не твои ли черные кудри свежа вода моет?— Но видя, что не он, тихо отталкивала тело и плакала.— Пугачеву приводили ребят.— Он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой булаву. — У Пугачева рука лежала на колене — подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку.— Пугачев в Яицке сватался за <*в автографе пробел — для вставки имени*>, но она за него не пошла.— Устинью Кузн<ецову> взял он насильно, отец и мать не хотели ее выдать: она де простая казачка, не королевна, как ей быть за государем. (*В Берде от старухи*)».

Впервые эти записи опубликованы нами в изд. «Пушкин». Временник Пушкинской комиссии АН СССР, кн. 2, 1936, стр. 434—435; перепечатано в академ. изд. полн. собр. соч. Пушкина, т. IX, ч. 2, 1940, стр. 496—497. Новейший анализ фольклорных данных, относящихся к работе Пушкина над его романом и монографией о Пугачеве

см. в работе Н. В. Измайлова «Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки» («Пушкин. Исследования и материалы. Труды третьей Всесоюзной пушкинской конференции», М—Л., 1953, стр. 266—297).

[109] «Путешествие из Петербурга в Москву». СПб., 1790, стр. 7 («София»). Как тонко отмечает в своей работе о «Капитанской дочке» В. Александров, в этой повести явственно и неслучайно все «поэтическое отдано пугачевцам, — они являются его носителями», причем «это не какая-то внешняя орнаментация. В этом весь пушкинский Пугачев». И далее: «Народное творчество не было для Пушкина каким-то нейтральным материалом, откуда можно заимствовать интересные частности, образы и обороты, безобидные декоративные мотивы для литературного вышивания. Пушкин воспринимал народное творчество с теми чаяниями и стремлениями, которые в этом творчестве выражались; он не боялся в этом творчестве того, что враждебно противостояло «дворянской братьи». В этом и заключается величайшая победа народности в пушкинском искусстве. Вряд ли будет преувеличением сказать, что само пугачевское восстание было для Пушкина проявлением народного творчества» (В. Александров. «Пугачев. Народность и реализм Пушкина». «Литературный критик». 1937, № 1, стр. 26 и 43—44).

[110] «Русская изба» (XI, 258). Впервые этот набросок опубликован был в «Сочинениях Александра Пушкнна», т. XI, СПб., 1841, стр. 49.

[111] В. Белинский, Полн. собр. соч., т. VI, СПб., 1903, стр. 185. Впервые в «Отечествен. записках», № 5. Белинский писал под непосредственным впечатлением только что опубликованных набросков статьи Пушкина «Русская изба». См. примеч. 110.

[112] «Путешествие из Петербурга в Москву». СПб., 1790, стр. 128—129 («Зайцево»).

[113] «Реестр, что украдено у надворного советника Буткевича при хуторе в пригороде Заинске» (автограф входит в наше собрание литературных документов с 1933 г.) скопирован был Пушкиным с архивного оригинала, местонахождение и полный текст которого историкам неизвестен. Связь «реестра» Буткевича с «Реестром барскому добру, раскраденному злодеями» в «Капитанской дочке» (гл. IX) впервые была отмечена нами в примечаниях к «Полн. собр. соч. Пушкина», изд. «Academia», т. IV, 1936, стр. 755. Самый автограф впервые опубликован в пушкинском выпуске газеты Саратовского Государственного Университета «Сталинец» от 7 июня 1949 г., № 16.

[114] «Капитанская дочка», гл. IX (VIII, ч. 1, 335—336). В беловой рукописи этой главы строки, посвященные реестру, не имеют сколько-нибудь существенных отличий от печатной его редакции (VIII, ч. 2, 883).

[115] «Выбранные места из переписки с друзьями» («В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность») — Н. Гоголь, Соч., изд. 10, т. IV, М., 1889, стр. 186. Из откликов на «Капитанскую дочку» ее первых читателей особенно интересны суждения кн. В. Ф. Одоевского в письме его к Пушкину от последних чисел декабря 1836 г.: «Вот критика не в художественном, но в *читательском отношении*: Пугачев *слишком скоро* после того как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость; увеличение слухов не довольно растянуто — читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже и взята. Семейство Гринева

хотелось бы видеть еще раз после всей передряги; хочется знать, что скажет Гринев, увидя Машу с Савельичем. Савельич — чудо! Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жалко в повести. Пугачев чудесен; он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева» и пр. (XVI, 195—196; письмо неправильно отнесено в академ. изд. к «концу ноября—началу декабря 1836 г.»). О других откликах современников Пушкина см. выше, примеч. 35.

[116] Г. А. Гуковский, характеризуя особенности творческого метода Пушкина-романиста, очень убедительно популяризировал свои заключения о том, что в «Дубровском» и в «Капитанской дочке», как и в других прозаических произведениях Пушкина тридцатых годов, «самый конфликт, даже самый сюжет, как и характеристика действующих лиц и их взаимоотношений между собою, определены социально-дифференцированной культурой, породившей и воспитавшей их. Сама же эта социальная дифференциация понята не только как различие социальных слоев данной нации, но и как борьба их, как вражда социальных противников — классов общества. Так в борьбе противостоят друг другу помещики-дворяне и крестьяне, богатые помещики-магнаты, созданные деспотией, и небогатые дворяне, чуждые нравам двора, сохраняющие патриархальные понятия о чести» и т. д. Далее, говоря о «Капитанской дочке», Г. А. Гуковский напоминает, что в этом романе «авторским сочувствием или обаянием могучей внутренней правды овеяны только люди «низов» — сам Пугачев, вся семья Мироновых (капитан Миронов, «вышедший в офицеры из солдатских детей», был человек необразованный и простой), Савельич и даже Хлопуша. При этом люди «низов» освещены светом сочувствия, независимо от того, в каком они лагере — повстанческом или борющемся против него: в обоих случаях они несут в себе начало правды. Наоборот, люди «верхов» осуждены — тоже независимо от того, примкнули они к Пугачеву или сражаются с ним <...> Глубоко понимая социальные пружины «пугачевщины» и оправдывая ее даже в ее жестокости — жестокостью режима, против которого восстали пугачевцы, строя сюжет таким образом, что мужицкий царь дал герою право и счастье, которых ему не дали императорские чиновники, Пушкин не пропагандировал крестьянский бунт, считая его, как и во времена создания «Бориса Годунова», бесперспективным, бессмысленным. Но его анализ событий был не только социален, но и демократичен в степени, совершенно недоступной Гизо или Тьерри; а созданные им образы героев в самой сути своей психологии, своей духовной эволюции, своих характеров определены историко-социально, в мере, недоступной ни одному историческому романисту до него, в том числе и Вальтеру Скотту» (Г. А. Гуковский, Пушкин и проблемы реалистического стиля, 1957, стр. 368 и 373).

[117] Время выхода в свет четвертой книжки «Современника» за 1836 г., в которой опубликована была «Капитанская дочка», точно не установлено. На это литературное событие не откликнулся ни один журнал, ни одна из петербургских и московских газет. Даже «Северная пчела», регулярно отмечавшая в своей хронике или в объявлениях книгопродавцев поступление в продажу очередных номеров всех литературных журналов, обошла молчанием появление «Капитанской дочки». В переписке Пушкина сохранилось два упоминания о четвертой книжке «Современника», но оба эти свидетельства не имеют дат.

Неудивительно, что и библиографический справочник Н. Синявского и М. Цявловского «Пушкин в печати», определяя время выхода в свет последней книжки «Современника», ограничился условной датировкой: «Во второй половине ноября — в декабре» («Пушкин в печати 1814—1837», издание 2-е, исправленное. М., 1938, стр. 132). Эта справка основывалась на дате цензурного разрешения четвертого тома, подписанного к печати 11 ноября 1836 г. Вероятно, на этой же дате основано было полвека спустя и глухое упоминание П. И. Бартенева о том, что последняя книжка «Современника» появилась «в исходе ноября» («А. С. Пушкин», вып. II, М., 1885, стр. 84).

Отсутствие точных данных о времени выхода в свет «Капитанской дочки» заставляет нас с особым вниманием учесть все косвенные свидетельства об этом. В их ряду наиболее авторитетными являются отметки в дневниках и в письмах А. И. Тургенева, который день за днем в течение последних двух месяцев 1836 г. регистрировал все новости великосветской, литературной и научной жизни Петербурга. Как старый друг Пушкина и один из ближайших сотрудников его журнала, А. И. Тургенев раньше, чем кто-либо другой, должен был откликнуться и на выход в свет четвертой книжки «Современника».

И действительно, записи в дневнике А. И. Тургенева от 24, 25 и 26 декабря являются самыми ранними из известных нам свидетельств о последней книжке «Современника» (П. Е. Щеголев, Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, 1928, стр. 281). 24 декабря А. И. Тургенев беседовал о ней с П. А. Вяземским и тогда же приступил к чтению «Капитанской дочки»; 25 декабря он поделился впечатлениями от нового номера «Современника» с самим Пушкиным; 26 декабря он рекомендовал познакомиться с четвертой книжкой «Современника» К. А. Булгакову и в тот же день отправил этот том журнала в Москву («Письма А. Тургенева Булгаковым», М., 1939, стр. 202).

Все эти записи свидетельствуют о том, что четвертая книжка «Современника» явилась между 24 и 26 декабря самой злободневной новинкой, известной ближайшему окружению Пушкина в Петербурге, и еще не успевшей дойти до Москвы. Поэтому мы и полагаем, что, если А. И. Тургенев получил свой авторский экземпляр четвертого тома «Современника» 24 декабря, то временем выхода в свет «Капитанской дочки» можно считать или этот самый день, или день предшествующий. Это наше предположение было подтверждено впоследствии документами, обнаруженными Н. И. Фокиным в архиве С.-Петербургского цензурного комитета: билет на выпуск в свет четвертого номера «Современника» был подписан 22 декабря 1836 г. («Ученые Записки Уральского пединститута», 1957, стр. 124).

Таким образом, и недатированная записка Пушкина к В. Ф. Одоевскому с запросом: «получили ли вы 4 № Современника и довольны ли им?» должна быть отнесена к последним числам декабря 1836 г. К этим же дням должны быть приурочены и критические замечания В. Ф. Одоевского о «Капитанской дочке», посланные им Пушкину в ответ на его запрос (XVI, 195—196). Эту датировку подтверждает и рассказ А. А. Краевского о том, как он вместе с Пушкиным присутствовал 29 декабря 1836 г. на годовом акте в Академии наук: «Пред этим только что вышел четвертый том «Современника» с «Капитанской дочкой», — вспоминал Краевский, — В передней комнате Академии пред залом Пушкина встретил Греч — с поклоном чуть не в ноги: «Батюшка, Александр Сергеевич, исполать вам! Что за пре-

лесть вы подарили нам! — говорил с обычными ужимками Греч. — Ваша Капитанская дочка чудо как хороша! Только зачем это вы, батюшка, дворовую девку свели в этой повести с гувернером? Ведь книгу-то наши дочери будут читать! — «Давайте, давайте, им читать! — говорил в ответ, улыбаясь, Пушкин» («Русская старина», 1880, № 9, стр. 220).

В тот же день, то есть 29 декабря 1836 г., Пушкин дал письменное распоряжение о выдаче 25 экземпляров четвертой книжки «Современника» для книжного магазина А. Ф. Смирдина («Читатель и писатель», 1928, № 4—5, стр. 2). Первая же печатная информация о новой книжке «Современника» появилась лишь месяц спустя. Мы имеем в виду две строчки в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» 1837 г. о публикации «в IV томе «Современника» на 1836 г. превосходной повести Пушкина «Капитанская дочка» (№ 5 от 30 января 1837 г., стр. 48). Эти строки помещены были в разделе «Замечательные явления в русской журналистике» и дошли до читателей уже после смерти поэта. Других откликов на «Капитанскую дочку» в печати не было до 1838 г.

К ИСТОРИИ ПОЭМЫ РЫЛЕЕВА „ВОЙНАРОВСКИЙ“

1.

Биографы Рылеева, характеризуя переход поэта от умеренно-либеральных лозунгов его ранних од и дум к революционной патетике национально-исторической эпопеи, до сих пор не располагали никаким материалом, который позволил бы точно документировать творческую работу автора «Войнаровского» и «Наливайко» в период, отделяющий его первую поэму от последних баллад.

В это время Рылеев еще не входил в революционную организацию. Лишь осенью 1823 г. он становится членом Северного общества, после чего вся его литературная деятельность полностью подчиняется задачам политической борьбы, определяется как одна из форм массовой агитационно-пропагандистской работы.

Рукописи Рылеева, обнаруженные в найденной недавно части его архива, дают возможность по-новому осветить все его замыслы переходной поры, неразрывно связав их с литературной и общественной борьбой 1822—1823 гг. Уроки именно этой борьбы потребовали от Рылеева, как ученика Гнедича и Катенина, полного литературно-технического перевооружения и, в первую очередь, освоения той высокой культуры нового лиро-эпического письма, образцы которого даны были в поэмах Пушкина. С предельной выразительностью процесс переобучения молодого Рылеева иллюстрируется набросками его ранее неизвестной поэмы из скандинавского быта о витязе Ольбровне и красавице Русле.

И в тематическом, и в ритмико-метрическом, и в лексико-фразеологическом отношении эти наброски еще не выхо-

дят за пределы ученических вариаций, сделанных как бы на полях «Руслана и Людмилы».

Приводим первые шестнадцать стихов этой поэмы, озаглавленных самим Рылеевым как «Отрывок», хотя мы полагаем, что ни другого начала, ни продолжения эта поэма не имела:

На дальних берегах чужбины
Он девять месяцев разил
Иноплеменные дружины
И их зеленые равнины
Невинной кровию багрил.
Непостоянство бурной влаги,
Пучины грозные морей,
Ни блеск сверкающих мечей
Не охлаждали в нем отваги.
Владыки чуждые пиры
В нагорных замках нам давали,
Несли с покорностью дары,
Свои услуги предлагали,
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
И дружбу нашу, и союз[1].

Эти строки Рылеева сразу же вызывают в памяти рассказ Фина об его борьбе за Наину в первой песне «Руслана и Людмилы»:

Мы десять лет снега и волны
Багрили кровию врагов.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.

Поэма из скандинавского быта была брошена Рылеевым в самом начале, как слишком абстрактная по своей псевдоисторической тематике, во-первых, и как явная имитация характерных деталей стиля и композиции юношеской поэмы Пушкина, во-вторых.

Автограф «Ольбровна и Руслы» не имеет сколько-нибудь определенных хронологических признаков. Трудно, однако, думать, чтобы Рылеев мог имитировать «Руслана и Людмилу» после выхода в свет «Кавказского пленника». Новая поэма Пушкина опубликована была в августе 1822 г. Под ее непосредственным воздействием определяется новый этап творчества Рылеева — работа над «Войнаровским».

Следовательно, и планы «Ольбровна» никак нельзя относить к более позднему времени, чем первая половина 1822 г. Но, даже начисто зачеркнув свое первое большое эпическое полотно, Рылеев перенес из набросков «Ольбровна и Руслы» в «Войнаровского» две строфы, являющиеся сейчас документальной иллюстрацией связи обоих этих поэм. Так, в рассказе Войнаровского о его набегах на «хищных крымцев и поляков» мы читаем:

Враги везде от нас бежали
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
У нас сомнительный союз.

В этой строфе перефразирован рассказ скальда из «Ольбровна и Руслы» о «чуждых владыках», которые удальцам Скании

Свои услуги предлагали
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
И дружбу нашу и союз [2].

Таков же был генезис строк «Войнаровского» о Мазепе после разгрома его под Полтавой:

Мазепа пред костром сосновым
Вдали на почерневшем пне
Сидел в глубокой тишине.

В «Ольбровне и Русле» эта экспозиция предварялась в строфе:

Однажды пред костром дубовым
На почерневшем сидя пне,
Вечерних сумраков порою,
Задумчиво склонясь главою:
«О, царь певцов!» — сказал он мне.

Связь «Ольбровна и Руслы» с «Войнаровским» определяется не только наличием во второй поэме двух строф, непосредственно и почти без доработки перенесенных в нее из черновиков первой. В «Ольбровне и Русле» Рылееву уже удалось нащупать те выразительные приемы экспозиции политической биографии героя, которая развертывается в поэме не в порядке последовательного авторского изложения основных событий (как, например, в поэме «Наливайко»), а предлагается читателю в форме рассказа третьего лица, как бы снимающего с автора ответственность за апологетическую тональность повествования. Правда, в первой поэме Рылеева этот новый композиционный прием еще не

имел той функции нарочитой дымовой завесы, которая обеспечивала прохождение в легальную печать остро-политического толкования даже совершенно, казалось бы, нейтрального исторического материала. На путях от «Ольброва и Руслы» к «Войнаровскому» в этом отношении гораздо более показателен опыт второй работы Рылеева над большой исторической темой — мы имеем в виду замысел «Меншикова в Березове», предвосхищавший планы «Войнаровского в Якутске».

Первоначально Рылеев предполагал использовать политическую биографию Меншикова в той новой серии дум, которая намечалась им в конце 1822 г. Из этой серии известны недописанные думы о Вадиме, Марфе Посаднице, царевне Софии, Минихе. До нас дошел, в двух вариантах, и зачин думы о Меншикове («В краю, где солнце редко блещет /На мрачных небесах» и «В стране угрюмой и глухой/ Где Сосва с бурей часто воет»)[3]. Рукописи Рылеева позволяют установить, что в начале 1823 г. тема «Меншиков в Березове» возрождается в форме большого эпического замысла, гораздо более близкого будущему «Войнаровскому», чем любой из его последних дум.

История генерала-фельдмаршала Меншикова, «друга мудрого Петра», закончившего свою бурную жизнь политическим ссыльным в глухой сибирской тайге, передавалась в поэме устами его случайного березовского знакомца и почитателя. Этот рассказ выслушивала княгиня Наталья Долгорукая, функция которой в поэме о Меншикове была аналогична функции витязя Иснеля в «Ольбровне и Русле» или Миллера в «Войнаровском». История заговора Мазепы и его борьба с Петром развертывалась в исповеди Войнаровского, единомышленника и соратника преступного гетмана. Эта форма изложения и обеспечивала перенесение ответственности за положительную оценку героя, бесповоротно осужденного приговором народа и истории, с автора на рассказчика.

2.

Исторический эпос Рылеева столь же откровенно тенденциозен, как и его более поздние агитационные песни. Поэму, вновь завоевавшую себе после выхода в свет «Кавказского пленника» функцию ведущего жанра литературы (каким в начале XIX в. была трагедия, а в его середине —

роман), автор «Войнаровского» целиком и полностью подчиняет политико-просветительным целям, ориентируя свою работу прежде всего на подъем революционного активизма передового читателя. Новаторство Рылеева в этом отношении не вызывает сомнений, хотя проблематика поэмы нового типа как исторической эпопеи, прямо и непосредственно отвечающей задачам агитационно-пропагандистской работы декабристов, была прокламирована еще примерно за год до появления первых строф «Войнаровского», в известном послании В. Ф. Раевского «К друзьям в Кишинев». Это послание, вышедшее из-под пера одного из крупнейших литературных теоретиков революционного лагеря, в эту пору уже узника тираспольской крепости, не могло быть, конечно, напечатано, но очень быстро дошло до кишиневских друзей Раевского с Пушкиным во главе, а вслед затем и до их единомышленников в Москве и Петербурге. Программный характер литературно-политических установок нелегального послания «К друзьям в Кишинев» проявился с особой выразительностью в строфах, обращенных лично к Пушкину. Широко развертывая в этих строфах свое понимание задач, стоящих перед представителями передовой русской литературы, Раевский откровенно высказывал свою неудовлетворенность даже самыми большими ее достижениями, в числе которых уже был и «Кавказский пленник». Именно эту поэму имел в виду поэт-декабрист, именуя Пушкина «певцом Кавказа». Как известно, первая рукописная редакция «Кавказского пленника» (печатного текста поэмы Раевский еще знать не мог) имела заголовок «Кавказ» [4]. В порядке отталкивания от фабулы и образов этой поэмы Раевский и заклинал «певца Кавказа» обратиться к политически более актуальной национально-исторической тематике:

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху,
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать!
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы

И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И гнуло звуком издалече
Царей кичливых рамена[5].

Пушкин сразу же откликнулся на призыв Раевского поэмой «Вадим», но произведение это осталось в его бумагах незаконченным. Реализация задач, поставленных перед русскими поэтами в послании Раевского, выпала на долю Рылеева. Его поэмы на несравненно более высоком политическом уровне, чем «думы», «пробивали», говоря словами А. А. Бестужева, «новую тропу в русском стихотворстве»[6].

В условиях цензурно-полицейского режима 1820-х гг. проблема показа положительного героя, борца за свободу родного народа, сокрушающего «царей кичливых рамена», могла быть разрешена лишь в историческом аспекте, то есть путем обращения не к настоящему с его «ростками будущего», а только к прошлому. Но и в этом прошлом остаются запретными самые большие исторические имена подлинных народолюбцев — Радищева, Пугачева, Разина, Болотникова. Со времен Княжнина передовая русская литература сосредоточивает поэтому свое внимание на героях Новгородской республики, выдвигая на авансцену образы таких «борцов с самовластьем», как легендарный Вадим или Марфа Посадница. Продолжая эту традицию, Рылеев в своих думах напоминает и об иных подвигах выходцев из народных низов — Ермака и Сусанина, но терпит решительную неудачу, пытаясь искусственно расширить круг положительных исторических героев путем включения в него произвольно революционизированных образов великих князей и опальных вельмож, жертв царского произвола. Характерно, что героем первой политической поэмы Рылеева едва не стал князь Меншиков, и только знакомство с материалами о заговоре Мазепы в «Истории малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского, вышедшей в свет в 1822 г., заставило Рылеева отказаться от начального замысла.

Единство генезиса поэм о «Меншикове в Березове» и о «Войнаровском в Якутске» характеризуется не только определенными идейно-тематическими и жанровыми признаками. Оно может быть подтверждено и в результате анализа основных текстологических данных, ибо один из самых ранних черновых набросков «Войнаровского» сохранился на обороте листа, занятого перебеленным вариантом начала поэмы о Меншикове. Этот автографический документ, быв-

ший в 1872 г. в распоряжении П. А. Ефремова, затем на многие годы выпал из поля зрения исследователей, а потому и не получил правильного освещения в литературе о поэмах Рылеева [7]. Прежде чем привести его полностью, отметим, что в «Войнаровском» оказалась сохраненной в числе прочих конструктивных деталей поэмы о Меншикове и вся пейзажная ее экспозиция. Этот затерянный в снежных сугробах холм, с одиноким крестом, уныло склонившимся над заброшенной могилой изгнанника, в зачине «Меншикова» обозначал березовский погост, в концовке «Войнаровского» — якутскую заимку. Возможно, что Рылеев потому только и не уничтожил начальных строк брошенной поэмы о Меншикове, что уже рассматривал их как материал, могущий понадобиться ему в процессе осуществления нового замысла. Вот эти строки:

Будь ласков, дедушка, ко мне;
Скажи, над чьей простой могилой
Стоит под елью, в стороне,
К земле склонившись крест унылый?
Сугробы снега занесли
Пустынный холм и все кладбище,
Часовня древняя вдали
И обветшалое жилище...
С могилы две стези бегут;
Одна бежит по косогору
Под тот бревенчатый приют,
Другая змейкой вьется к бору.
Березов мне не край родной;
Сюда я брошена судьбою.
Скажи ж страдалице младой,
Над чьей могилою простою
Стоит под елью крест простой?

На обороте листка, занятого этой предельно скупой экспозицией Березова [8], сохранились исчерканные наброски стихов, посвященных другой «младой страдалице», закончившей свои дни в сибирской ссылке, — мы имеем в виду строки новой поэмы о первых встречах Войнаровского с его героической подругой:

Я помню радость девы нежной,
Когда в хранительную сень
Был я, страдалец безнадежный,
Снесен к отцу ее в курень.
[Томим болезнию жестокой
Как цвет в степи я увядал
Уж встать с одра я не мечтал;
Но мне в казачке черноокой
Творец спасителя послал].
С какой заботою ходила

Она за вянущим больным,
С каким участием живым
[illegible]и желания ловила,
Чтоб их заране упреждать.
[В час моего успокоенья,
Она ходила собирать
Степные травы и коренья,
Чтоб ими друга врачевать].
Я все утехи наход<ил>
В <моей> казачке черноокой,
В ее словах я нектар пил
И облегчил недуг жестокой[9].

Этот черновой набросок, соответствуя примерно стихам 405—424 окончательной редакции «Войнаровского», интересен для нас не только потому, что время работы Рылеева над его отделкой почти неотделимо от даты «Меншиков в Березове». Не в меньшей степени этот лиро-эпический фрагмент ценен для нас и как показатель еще продолжающегося пристального изучения автором «Дум» особенностей мастерства Пушкина. Робкая имитация тематики и приемов поэтического языка «Руслана и Людмилы» в «Ольбровне и Русле» уже через несколько месяцев сменяется освоением деталей стиля и композиции «Кавказского пленника». Из нескольких строк о появлении перед «пленником безнадежным» его будущей спасительницы —

Очнулся русский. Перед ним
С приветом нежным и немым
Стоит черкешенка младая

— в поэме Рылеева развернулся целый эпизод о спасении «казачкой черноокой» другого «безнадежного страдальца» — Войнаровского. Это подражательное лирическое отступление являлось, конечно, для Рылеева только «пробой пера» и не имело значения в дальнейшем развертывании основной темы, но, характеризуя генеалогию «Войнаровского», исследователь не может пройти мимо наброска, принадлежащего к числу самых ранних фрагментов первой политической поэмы Рылеева.

3.

Поэма «Войнаровский» принадлежит к числу тех произведений Рылеева, текст которых особенно сильно был искажен, с одной стороны, цензурой 1820-х гг., с другой, еще в большей степени, авторскими приспособлениями к ней. Поэ-

ту о многом приходилось говорить только «намеками», тем эзоповским, проклятым эзоповским языком, к которому, — по известной формулировке В. И. Ленина, — царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для «легального» произведения» [10].

«Думаю, что ты получил уже из Москвы Войнаровского, — писал Рылеев 10 марта 1825 г. Пушкину. — По некоторым местам ты догадаешься, что он несколько ощипан. Делать нечего. Суди, но не кляни» [11]. А в начале июня того же года, отвечая на критику Пушкина, Рылеев признавал правильность полученных замечаний: «Благодарю тебя, милый чародей, за твои прямодушные замечания на Войнаровского, ты во многом прав совершенно; особенно говоря о Миллере. Он точно истукан. Это важная ошибка; она вовлекла меня и в другие. Вложив в него верноподданнические филиппики за нашего великого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова». [12]

Ошибки, о которых шла речь в переписке Рылеева и Пушкина, имели в виду дефекты самого замысла и внутренней структуры «Войнаровского», неустранимые без коренной его перестройки. Мы знаем, что Рылеев, увлеченный новыми замыслами, не имел уже в 1825 г. ни времени, ни охоты для возвращения к первой своей поэме. Но, если переработка «Войнаровского» и не входила в творческие планы Рылеева, он не мог оставаться равнодушным к тому, что его поэма, несмотря на принесенные им жертвы, оказалась все же варварски «ощипанной» цензурой в самых ответственных своих частях. Можно поэтому не сомневаться, что автор сам выправил значительную часть тех экземпляров отдельного издания «Войнаровского», которые предназначались для его ближайших друзей. Ни один из дарственных экземпляров поэмы еще не обнаружен, но сделанные в них исправления, став известными тем или иным путем широкому кругу единомышленников Рылеева, еще при его жизни, судя по некоторым спискам поэмы, успешно вошли в массовый литературный оборот. Пробелы и искажения печатного текста были так велики, что передовые читатели охотнее пользовались рукописными копиями поэмы, чем изданием 1825 г.

Исследователь текста «Войнаровского» не может не учитывать и факта распространения списков поэмы до ее опубликования. Об этом открыто, например, писал Булгарин,

отмечая в «Северной пчеле» (1825 г.), что поэма Рылеева «долго ходила по рукам в рукописи»[13]. Об этом же свидетельствует и одно из писем декабриста П. А. Муханова, подробно информировавшего Рылеева о том, как реагировали в Одессе на список еще даже неоконченного «Войнаровского» Пушкин и М. Ф. Орлов весной 1824 г.[14].

Число копий поэмы было так велико, что, несмотря на массовое уничтожение всех печатных и рукописных произведений Рылеева после 14 декабря, в центральных и областных архивохранилищах СССР даже сейчас насчитывается около ста списков «Войнаровского» разной степени авторитетности, давности, значимости и полноты. На основании тех или иных из этих списков (не всегда самых достоверных) и производилась в течение почти столетия правка текста «Войнаровского» во всех изданиях Рылеева[15].

Разумеется, если бы мы располагали автографом окончательной редакции поэмы, уяснение значимости тех или иных поправок, внесенных переписчиками Рылеева в печатный текст «Войнаровского», не представляло бы большого интереса. Но, при отсутствии подлинной авторской рукописи, задача освобождения текста «Войнаровского» от цензурных искажений не может быть разрешена без предварительного критического учета и анализа всех его списков. Эта же работа требует для своего успешного завершения внесения полной ясности в вопрос о всех утраченных и сохранившихся первоисточниках известных нам разночтений поэмы[16]. Круг этих первоисточников до недавнего времени был крайне ограничен. До нас не дошел, как известно, ни беловой автограф окончательной редакции «Войнаровского», ни та его авторизованная копия, которая, по поручению Рылеева, сдана была П. А. Мухановым в Московский цензурный комитет в конце 1824 г. Однако с полной определенностью можно утверждать, что беловой автограф «Войнаровского» исчез не совсем бесследно — именно он был в числе тех рукописей Рылеева, которые выкрал из архива Следственной комиссии по делу декабристов один из сотрудников этой Комиссии — А. А. Ивановский[17]. Правда, в числе бумаг Рылеева из собрания Ивановского, которые печатались в 1888—1889 гг. на страницах «Вестника Европы» и «Русской старины», а затем поступили на хранение в Пушкинский дом, автографа «Войнаровского» уже не оказалось, но возможность находки его в том или ином из архивов не лишена вероятия. Не исключена надежда и

на существование копий с этого автографа. Мы основываемся на письме молодого литератора А. П. Бочкова, который под впечатлением тех литературных раритетов, с которыми познакомил его Ивановский, писал последнему в конце 1826 г: «Я думаю мудрено сыскать таких страстных, как мы с вами, любителей литературных конфект, только у вас всегда свежие, из тех, которые иногда от времени делаются черствыми, и самые лучшие (т. е. самые верные, напр. Войнаровский), из тех, которые никогда не мокнут и не сохнут и еще не бывавшие в тисках у цензуры» [18].

Потеря автографа окончательной редакции «Войнаровского», бывшего в распоряжении А. А. Ивановского и А. П. Бочкова, была бы не так катастрофична, если бы мы располагали черновыми рукописями поэмы или хотя бы фрагментами наиболее значительных ее частей. И в этом, однако, отношении история текста «Войнаровского» документируется более чем скудно.

Из беловых автографов отдельных эпизодов «Войнаровского» специалистам известен только один — «Беседа Войнаровского с Мазепой». Эти строки, соответствующие стихам 457—524 печатного текста, вписаны были в 1823 г. Рылеевым в альбом С. Д. Пономаревой. В этой случайной записи полностью дошла до нас и та замечательная строфа, обезображенная в издании 1825 г. отсутствием последнего стиха:

Но я решился: пусть судьба
Грозит стране родной злосчастьем,
Уж близок час, близка борьба,
Борьба свободы с самовластьем[19].

Из черновиков «Войнаровского» в распоряжении исследователей некоторое время был лишь один случайный набросок, отражавший процесс создания и отделки стихов 405—424 печатного текста (об этом автографе см. выше, стр. 140). Все же данные начальной редакции поэмы исчерпывались материалами автографа ее первых 226 стихов, перебеленных Рылеевым для прочтения в заседании С.-Петербургского Вольного общества любителей российской словесности, состоявшемся 22 мая 1823 г.[20]. Выписка эта была снабжена заголовком, который и позволил нам установить ее назначение: «*Ссыльный*. Отрывки из поэмы Войнаровский». В письме же А. А. Бестужева от 23 мая 1823 г. к П. А. Вяземскому об успехе выступления Рылеева в Воль-

ном обществе отмечалось именно это название прочитанной части поэмы: «Рылеева *Ссыльный* полон благородных чувств и разных возвышенных мыслей» [21].

4.

По-новому творческую историю «Войнаровского» позволяют осветить рукописи поэмы, обнаруженные в 1950 г. при разборке архива Е. Е. Якушкина. Правда, беловых автографов последней редакции «Войнаровского» и в этом фонде бумаг Рылеева не оказалось, но все прочие стадии его работы над поэмой обозначились весьма выразительно, начиная от самых ранних черновых набросков и заготовок отдельных строф и кончая перебеленными на особых листах фрагментами основных разделов повествования [22].

Из 1084 стихов печатного текста «Войнаровского» мы имеем возможность после вхождения в научный оборот новой части архива Рылеева возвести к автографам начальной редакции (иногда к беловым, чаще к черновым) всего 610 строк [23]: стихи 1—239, 299—545, 589—696, 1001—1014, 1021—1024.

Многие из этих строк «Войнаровского» имеют ряд существенных отличий от общеизвестного печатного текста, в том числе и в стихах, явно искаженных цензурой в издании 1825 г. Таковы, например, стихи 652, 1005, 1006, 1008, К числу дефектов цензурного порядка в тексте 1825 г. мы относим и отсутствие в нем пяти строк о самоубийстве, как акте, недостойном подлинного революционера. Место этих строк, как свидетельствует автограф, между 1014 и 1015 стихами. По-новому должны печататься сейчас в основном тексте «Войнаровского» следующие строки, выделяемые нами из контекста курсивом:

стихи 649—652

О, как неверны наши блага!
О, как подвластны мы судьбе!
Вотще в душах кипит отвага:
Настал конец святой * *борьбе* [24].

стихи 1003—1012

Чтить *Брута* с детства я привык **,
Защитник Рима благородный,

* В печатном тексте: Уже настал конец борьбе.
** В печатном тексте: Чтить славных с детства я привык.

С душою истинно свободной,
В делах он истинно велик *.
Но он достоин укоризны,
Свободу сам он погубил **,
Он торжество врагов отчизны ***
Самоубийством утвердил...
Ты видишь сам, как я страдаю,
Как жизнь в изгнаньи тяжела,
Мне б смерть отрадою была...
Но жизнь и смерть я презираю.
Сей мир тогда б лишь от себя
Самоубийством я избавил,
Когда бы совесть погубя,
Себя в порывах страсти я
Бесчестным делом обесславил [25].

Большое значение имеет и рукописный вариант стихов 600—604, подтверждающий правильность реконструкции первого из них во многих списках поэмы и заодно позволяющий поставить вопрос об учете в основном тексте «Войнаровского» и прочих показаний этого автографа [26]:

Так мы, свои разрушив цепи ****
На глас _свободы_ и вождей *****,
Ниспровергая все препоны,
Помчались защищать законы
Среди отеческих _полей_ ******.

Не менее интересен рукописный вариант стиха 656 в строфе о раздумиях предателя Мазепы после полтавской битвы:

Одно мгновенье все решило,
Одно мгновенье погубило
На век страны моей родной
Надежду, счастье и покой [27].

В дореволюционных легальных изданиях «Войнаровского» последний из этих стихов обычно печатался в редакции, предложенной П. А. Ефремовым в 1871 г.:

Свободу, славу и покой [28].

Возможно, что этот вариант и соответствует какой-нибудь из ранних редакций «Войнаровского», но впредь до ее обнаружения мы не имеем оснований отвергать чтение

---

* В печатном тексте: Душою истинно свободный, Делами истинно велик.

** В печатном тексте: Сограждан сам он погубил.

*** Зачеркнутый вариант: Он деспотизм врагов отчизны.

**** В печатном тексте эта строка отсутствует.

***** В печатном тексте: На глас отчизны и вождей.

****** В печатном тексте: Среди отеческих степей.

этого стиха, установленное Рылеевым в «Полярной звезде» на 1824 г., засвидетельствованное автографом начальной редакции «Войнаровского» и, наконец, авторитетнейшими списками поэмы.

Не останавливаясь на анализе прочих вариантов, характеризующих процесс создания «Войнаровского», а не уточняющих его окончательный текст, мы считаем необходимым особо отметить наличие в новых рукописях Рылеева большого материала, относящегося к оформлению пейзажно-этнографического введения к поэме. Из 156 стихов первой редакции этой части «Войнаровского» в окончательный текст поэмы перешло только 135. Изъятию подверглись четыре стиха, характеризовавшие якутскую ярмарку (они следовали в автографе за стихом 38), и семнадцать строк, в которых сибирская весна противопоставлялась «иным временам года» (эти строки находились в рукописи между стихами 51 и 52 печатного текста):

1

Везде товары дорогие:
Лисицы, соболи, песцы,
И к ним спеша, в толпы густые
Теснятся бойкие купцы [29].

2

Во времена ж иные года
Все мертво в сей стране глухой,
Как грозная ее природа,
Мертва жестокою зимой.
Уныло все в стране пустынной
И все питает мрачность дум:
Дубров и Лены дикий шум.
Изгнанник гордый, но невинной,
Иль дерзкий и преступный ум.
Безлюдного, глухого края
Порой нарушит тихой мир,
Иль ветр, верхи дерев качая,
Иль полудикий юкагир,
Стремящийся на лыжах птицей,
С готовой на луку стрелой,
За чернобурою лисицой
Или за ланью молодой[30].

С тематикой этих строк связан и тщательно зачеркнутый набросок:

Настала промыслов пора!
Но страшно воет лес дремучий,
Пирамидальная гора
Оделась [в дождевые] *тучи... [31]

---

* Надписано и зачеркнуто: в громовые.

В обоих вариантах начальной редакции «Войнаровского» отсутствовало, как известно, печатное четверостишие о якутских белых ночах (изд. 1825 гг., стихи 128—131):

Следил, как солнце, яркий пламень
Разлив по тверди голубой,
На миг за Кангалацкий камень
Уходит летнею порой.

К этому же месту поэмы относились, вероятно, и строки о северном сиянии:

Нередко в полночь любовался
Священным ужасом объят,
Как свод небесный загорался [32].

Продолжения этот набросок не имел.

Декабрист В. И. Штейнгель, вспоминая о тех беседах, которые он вел с Рылеевым летом 1823 г., отмечал, что автор «Войнаровского» просил его, как старого сибиряка, специально «прослушать то место поэмы», в котором речь шла о Якутске, дабы избежать «погрешностей против местности» [33]. Можно думать, что некоторые из отмеченных выше описательных строф в прологе к «Войнаровскому» были частью уничтожены, частью выправлены и дополнены в результате экспертизы и советов именно Штейнгеля.

Вновь найденные рукописи «Войнаровского», как это уже отмечено выше, представляют собою, в основном, не начальные черновики, а перебеленные тексты отдельных частей первой редакции поэмы. Исследователей творчества Рылеева не могут не занимать вопросы о том, когда и кем именно этот фонд автографов оказался изъятым из архива поэта-декабриста и в какой степени полноты дошел он до наших дней. В зависимости от того или иного ответа на эти вопросы определяются и перспективы дальнейших разысканий утраченных рукописей Рылеева в государственных и частных архивах. О возможностях же успеха этих розысков свидетельствует неизданное письмо П. А. Ефремова, редактора первого русского легального издания «Сочинений и переписки К. Ф. Рылеева», к С. С. Сухонину, редактору журнала «Всемирный вестник» [34]. Поводом для этого письма, датированного 15 января 1905 г., явилась газетная информация о предстоящем выходе в свет нового полного собрания сочинений Рылеева (это издание являлось бесплатным приложением к «Всемирному вестнику»). Хорошо понимая, что в основу нового сборника произведений Рылеева будет положен их старый подцензурный

текст[35], П. А. Ефремов отметил в письме к Сухонину важнейшие из вольных и невольных ошибок своего издания и заодно рекомендовал внести в текст Рылеева несколько дополнений и поправок на основании тех рукописей, с которыми он, Ефремов, познакомился после 1874 г. в архиве Н. И. Пущина[36]. Не успев своевременно использовать эти материалы в своей редакционной работе, Ефремов ничего не знал о дальнейшей судьбе бумаг Рылеева из собрания его внука и оперировал лишь своими старыми выписками из них. Однако, ввиду того, что почти все цитаты Ефремова точно соответствовали автографам, обнаруженным в 1950 г. в архиве Якушкина (черновые тексты «Войнаровского», дополнительная строфа думы «Ольга при могиле Игоря»), или материалам, вышедшим из этого же архива раньше (фрагмент перевода баллады Мицкевича «Жена грех тяжкий сотворила»)[37], мы можем сделать совершенно неоспоримый вывод о том, что бумаги, оказавшиеся после Октябрьской революции в распоряжении Е. Е. Якушкина, представляли собою часть литературного архива Рылеева, принадлежавшего его вдове, а затем дочери и внуку — Н. И. Пущину. В числе выписок из «Войнаровского», сделанных П. А. Ефремовым для С. С. Сухонина, был ряд строк, извлеченных из тех листов чернового автографа поэмы, которых в 1950 г. на месте уже не оказалось. Кем и когда были изъяты эти листы, соответствовавшие стихам 860—947 второй части «Войнаровского», установить трудно, но до их находки выписки Ефремова получают значение первоисточника для следующих вариантов текста поэмы:

стихи 860—864

Раз у Якутской юрты я
Стоял под елью одинокой;
Мятель шумела вкруг меня,
И свирепел мороз жестокой.

стих 867

Сливался синий свод небес.

стихи 924—925

О прежних говорила днях,
О славном дяде, о детях.

стихи 943—947

Она умолкла. Вдруг приметно
Несчастной сделалось трудней,
И, наконец, взглянув ясней.
Она, с улыбкою приветной,
Увяла в цвете юных лет.

Бесспорному учету в основном тексте поэмы подлежит из всех этих стихов лишь 925 («О славном дяде» вм. «О падшем дяде»). Все же прочие стихи (несмотря на то, что сам Ефремов считал их необходимой принадлежностью основного текста, равнозначными тем стихам черновой рукописи, которые явно были искажены цензурою) мы рассматриваем лишь как начальные варианты рукописи [38]. Первопечатный текст этих совершенно нейтральных в политическом отношении строк более авторитетен («Стоял под сосной одинокой»; «Буран шумел вокруг меня»; «Сливался темный свод небес»; «Стал угасать огонь очей»; «И, наконец, вздохнув сильней»), так как отражает последний этап работы Рылеева над поэмой и не имеет никаких следов цензурного вмешательства в его тексты.

5.

Пушкин, объясняя в одной из своих заметок о происхождении «Полтавы» отношение этой поэмы к «Войнаровскому», вспоминал:

«Прочитав в первый раз в «Войнаровском» сии стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь —

я изумился, как мог поэт пройти мимо столь страшного обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною. Но в описании Мазепы пропустить столь разительную историческую черту было непростительно» [39].

Пушкин, однако, был не прав. Рылеев, работая над «Войнаровским», вовсе не прошел мимо того трагического эпизода биографии Мазепы, который был связан с именами Кочубея и его дочери.

В той самой части архива Рылеева, которая сейчас обнаружена в собрании Е. Е. Якушкина, среди черновых набросков первой редакции «Войнаровского» сохранились фрагменты эпизода, изъятого из окончательного текста поэмы.

Эти строфы сохранились и в виде начальных черновых набросков [40] и в совершенно законченной редакции, перебеленной поэтом на особом листе [41]. Приводим последние полностью:

Уже Мазепа приступал
К свершенью тайных помышлений,
Умы в Украйне волновал
И двух славянских поколений
Сердца враждою распалял.

Как буря, приближались шведы,
Неся из дальней стороны
Опустошения войны
И неизменные победы.

Устроив все, мы со врагом
В сношенья тайные вступили,
Наружно мир храня с Петром,
Уж мы близ цели нашей были:
Мятеж носился за Днепром,
Москаль дремал.. вдруг узнаем,
Что наши замыслы открыли.

И кто же был предатель сей?
Кто был врагом своей отчизны?
Быть может, лучший из людей,
Судья и вождь без укоризны,
Несчастный старец Кочубей.

К Мазепе мщенье в нем пылало
За обесславленную дочь;
Его душе ни день, ни ночь
Оно покоя не давало.
И на пирах, и в буре битв,
И в мрачном храме в час молитв
Дух мести дикой, кровожадной
Кровь Кочубея волновал
И сердце старца наполнял
Тоской и злобой безотрадной.

Он с каждым днем был все мрачней,
Он всех чуждался, всех дичился,
Страдал и наконец решился
На склоне непорочных дней,
Поправ закон священной чести,
Принесть с Мазепой в жертву мести
Свободу родины своей,

Все на Украйне взволновались...
И под шатром, и в слободах;
Недоумение и страх
У всех на лицах выражались.

В черновом автографе эти строфы о кознях предателя имели продолжение:

Как запорожец утлый челн
Средь разъяренных в бурю волн
От верной гибели спасает
[Мазепа гибель отвращает].
Все вдруг приемлет вид иной,
Враги добра трепещут в страхе.

Мы не можем сказать с полной определенностью, к какому именно месту «Войнаровского» приурочивался этот эпизод. В рукописи его черновики органически не связаны ни с предшествующим, ни с последующим текстом поэмы, а для процесса работы Рылеева характерно не строго последовательное развертывание начального плана, а обращение к разработке отдельных его эпизодов вне определенной исторической или логической их последовательности. Таковы, например, черновые фрагменты поэм «Наливайко» и «Гайдамак», заготовки отдельных строф для ненаписанных дум — «На горной крутизне брегов Стоит во мраке холм Олегов», «Повсюду вопли, стоны, крики Над белокаменной Москвой», «Сидел лишь Миних одинок» и т. д. Возможно, что история заговора Мазепы, включая в нее материалы о Кочубее, его жене и дочери, должна была бы составить особую часть поэмы, заняв место между первым и вторым разделами ее окончательной редакции.

Следы начального большого замысла, свернутого поэтом в процессе написания поэмы, остались и в ее окончательном тексте. Мы имеем в виду два эпизода в рассказе Войнаровского (стихи 747—750 и 771—774) о предсмертных муках предателя:

И, взгляд кругом бросая быстрый,
Меня и Орлика он звал
И, задыхаясь, уверял,
Что Кочубея видит с Искрой.
. . . .
То, трепеща и цепенея,
Он часто зрел в глухую ночь
Жену страдальца Кочубея
И обольщенную их дочь [42].

Эти строфы, никак не подготовленные ни предыдущим изложением событий, ни последующим объяснением их (ни Кочубей, ни его жена и дочь, ни Искра в общеизвестном тексте «Войнаровского» больше не встречаются), глубоко уходят своими корнями в неизвестную еще нам полностью первую редакцию поэмы.

В рукописях Рылеева, среди черновых набросков и заготовок к «Войнаровскому», сохранился еще один след начального замысла поэмы. Мы имеем в виду фрагмент характеристики союзника Мазепы, короля Карла XII:

Суровый Карл и на пирах
Задумчив был: в его чертах
Души тревога выражалась;

Лишь пред опасностью являлась
Улыбка на его устах.
Так зол предвестница для света,
Вдруг появляется комета
В глухую ночь на небесах.
С таким вождем, с такою силой
Противу грозных сил Петра
Нам унывать не должно было [43].

Отказавшись от начального плана поэмы, Рылеев пытался спасти эти строфы, переместив их в характеристику Мазепы в первой части «Войнаровского»:

Угрюмый, мрачный, на пирах
Он был суров. В его чертах
Души тревога выражалась;
Лишь пред опасностью являлась
Улыбка на его устах,
Так зол предвестница для света,
Вдруг появляется комета
В глухую ночь на небесах...
Ете беседа заражала
Как язва моровая всех [44].

Почему же, однако, Рылеев отказался от своего раннего плана? Чем объяснить столь резкое сужение первооснов фабулы «Войнаровского»? Мы полагаем, что в самом начале своей работы над поэмой Рылеев уяснил, что исторически правдивая трактовка борьбы Кочубея с Мазепой неизбежно должна была бы снизить образ последнего, а всякая попытка отрицательной интерпретации Кочубея как разоблачителя гетмана никак не могла бы рассчитывать на сочувствие передового русского читателя. Неслучайно ведь П. А. Катенин, под впечатлением «Войнаровского», писал 26 апреля 1825 г. критику Н. И. Бахтину: «Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном» [45].

Исторически несостоятельной была, однако, не только характеристика Мазепы в поэме Рылеева. Столь же произвольной была и трактовка в ней основных фактов политической биографии Войнаровского. В специальной статье Бестужева «Жизнеописание Войнаровского», приложенной к первому отдельному изданию поэмы Рылеева, «герой» последней характеризовался как один из виднейших представителей украинской старшины, ближайший соратник Мазепы, участник всех его «тайных замыслов» и предательских действий. Рылеев изменил этот образ до неузнаваемости. Его Войнаровский — пламенный борец за свободу, революционер и патриот, слепо чтущий в деспоте

и предателе Мазепе вождя народа и не подозревающий о его бессовестной политической игре. Именно такое толкование образа Войнаровского и позволило Рылееву превратить своего героя, современника царя Петра, в рупор революционной пропаганды декабристов.

Одно из первых авторитетных свидетельств об исключительном воздействии поэмы «Войнаровский» на политическое воспитание нескольких поколений русской революционной интеллигенции принадлежит Н. П. Огареву. Именно он в своем предисловии к сборнику «Русская потаенная литература XIX столетия» (1861 г.) впервые правильно поставил и разрешил вопрос не только о политической и эстетической значимости литературного наследия Рылеева, но и о «святой односторонности» его творческого метода, еще не созревшего для более глубокого охвата «разнообразных явлений жизни». Как неизбежное следствие этой непреодоленной «односторонности» надлежит рассматривать и пренебрежение принципами конкретного историзма в поэме «Войнаровский», сурово осужденное Пушкиным в его позднейшей полемике с Рылеевым на страницах «Полтавы».

Мастерство Пушкина, как и мастерство Толстого, это мастерство раскрытия самых существенных сторон действительности, самых существенных черт исторических характеров, показываемых не декларативно, не статично, а в живом действии, в конкретной политической борьбе. В своей трактовке вдохновителей и организаторов заговора 1709 г. Пушкин опирался на тот же фактический материал, которым располагал и Рылеев — на политическую и интимно-бытовую биографию Мазепы в «Истории Малой России» Бантыша-Каменского, но самая мера познания великого поэта-реалиста была много глубже и шире той, которой еще был ограничен в своем творческом росте идеалист и романтик Рылеев.

1952.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья эта была впервые опубликована под названием «Новые тексты поэмы «Войнаровский» в издании «Литературное наследство», т. 59, кн. 1, 1954, стр. 31—56. Перепечатывается с некоторыми сокращениями в справках о начальных черновых вариантах, не имеющих историко-литературного значения.

[1] Автограф перебеленных строф поэмы «Ольбровн и Русла»,

обнаруженный в 1950 г. в неизвестной ранее части архива Рылеева (ЦГИА, фонд Е. Е. Якушкина), полностью воспроизведен нами в «Литературном наследстве», т. 59, 1954, стр. 31—34.

[2] В черновую рукопись «Войнаровского» (ЦГИА, ф. № 279, ед. хр. 269, л. 12 об.) это четверостишие было перенесено в редакции, более тесно совпадающей с текстом «Ольбровна и Руслы»:

От нас, как от грозы, бежали
И, трепеща постыдных уз,
Постыдной данью покупали
И дружбу нашу и союз.

[3] Полн. собр. стихотворений К. Рылеева. Редакция, предисловие и примечания Ю. Г. Оксмана, Л., 1934, стр. 399—400 и 444—450.

[4] Послание В. Ф. Раевского «К друзьям в Кишинев» («Итак я здесь, за стражей я») имеет в автографе дату: 28 марта 1822 г. Время выхода в свет поэмы «Кавказский пленник» — конец августа 1822 г. Раевский хорошо знал, конечно, поэму Пушкина в рукописи, первая редакция которой была закончена в феврале 1821 г. (Хронология работы Пушкина над «Кавказским пленником» установлена в книге М. А. Цявловского «Летопись» жизни Пушкина», М., 1951, стр. 239, 276, 297, 304, 336, 352).

[5] «Голос минувшего», 1917, № 7—8, стр. 89. Послание В. Ф. Раевского известно в двух редакциях, в одной из которых, цитируемой нами (копия середины 20-х годов, обнаруженная в бумагах поручика Лансберга), поэт говорит полным голосом, а в другой снимает самые резкие из своих литературно-политических формулировок, рассчитывая использовать новый вариант своего произведения в целях смягчения грозящего ему сурового приговора военного суда. Мы имеем в виду строки о «святой кротости кесаря» и т. п. Предположение М. А. Цявловского о том, что революционная редакция «Послания к друзьям» является вторым вариантом стихотворения, а умеренно-либеральная — первым («Временник Пушкинской комиссии», т. VI, 1941, стр. 42—44) противоречит всем известным нам фактам политической биографии Раевского 1822—1826 г.

Рылеев имел совершенно определенное представление о В. Ф. Раевском не только как о поэте, но и как о революционере. Так, например, в показаниях декабриста Д. И. Завалишина от 26 марта 1826 г. отмечалось, что Рылеев, характеризуя могущество тайного общества и политическую выдержку его членов, говорил ему, Завалишину: «Вот вам пример: майор Раевский третий год сидит в крепости, а не открыл никого из своего общества, да притом и общество в России не одно» (ВД, III, 246). Признав правильность показаний Завалишина, Рылеев 6 апреля 1826 г. указал и на источник своей информации: «О майоре Раевском я говорил ему <Завалишину>, слышав о том от князя Трубецкого» (ВД, III, 260).

[6] Эта формулировка дана была А. А. Бестужевым во «Взгляде на старую и новую словесность в России» и имела в виду «Думы» Рылеева («Полярная звезда» на 1823 г.). Ср. «Собрание стихотворений А. А. Бестужева-Марлинского». Ред. и прим. Н. И. Мордовченко Л., 1948, стр. 163.

[7] Данные этого автографа, хранившегося в Чертковской библиотеке в Москве, впервые были учтены П. А. Ефремовым в «Соч. и переписке К. Ф. Рылеева», СПб., 1872, стр. 205 и 377. Ср. перечень автографов Рылеева, поступивших в отдел рукописей Государственной

Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, в «Записках Отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. Ленина», вып. III, М., 1939, стр. 5—8.

[8] Автограф ЛБ (Шифр М. 8416). Исправленную и дополненную редакцию этого зачина поэмы «Меншиков в Березове» см. в Полн. собр. стих. Рылеева, 1934, стр. 193—194 и 449. Традиционное толкование наброска «Будь ласков, дедушка, ко мне», как зачина думы, ошибочно.

[9] Описание автографа этих стихов, вместе со всеми вариантами, дано нами в «Литературном наследстве», т. 59, 1954, стр. 38—40.

[10] В. И. Ленин, Соч., изд. 4-е, т. 22, стр. 175.

[11] Полн. собр. соч. Пушкина, изд. АН СССР, т. XIII, М.—Л., 1937, стр. 150.

[12] Там же, стр. 183.

[13] «Северная пчела», 1825, № 32 от 14 марта. — Трудности, связанные с получением разрешения на издание «Войнаровского» в Петербурге, обусловили печатание поэмы в Москве. См. новые данные об этом в письмах Рылеева к Вяземскому от 12 января и 20 февраля 1825 г. («Лит. наследство», т. 59, стр. 144—145).

[14] Письмо П. А. Муханова к Рылееву от 13 апреля 1824 г.— сб. «Девятнадцатый век», кн. I, М., 1872, стр. 368—369.

[15] Рукописные копии «Войнаровского» лежат в основе всех существенных дополнений и уточнений, внесенных в текст этой поэмы как в первых русских и зарубежных изданиях сочинений Рылеева, так и в последнем опыте критической реконструкции текста «Войнаровского» в Полном собр. стих. Рылеева, стр. 206—236 и 452—462. Редакторы новейших сборников произведений декабристов, механически перепечатывая условную реконструкцию текста «Войнаровского», обычно не оговаривают ни своего первоисточника, ни его существенных отличий от текста поэмы, опубликованного самим Рылеевым в 1825 г. Таким образом, у массового читателя создается ложное представление о широких возможностях, которыми якобы располагали поэты-декабристы в легальной печати.

[16] Рукописные копии «Войнаровского», как материал для установления критического текста поэмы, еще ни разу не являлись объектом изучения. Исключительно скупы и первые сведения о них в публикациях П. А. Ефремова и М. И. Семевского. См. «Русская старина», 1871, № 4, стр. 485—521.

[17] О фонде бумаг Рылеева, изъятых из дел Следственной комиссии 1825—1826 гг. А. А. Ивановским, см. Полн. собр. стих. Рылеева, стр. VI.

[18] «Русская старина», 1889, № 7, стр. 115.

[19] Полн. собр. стих. Рылеева, стр. 152.

[20] «Русская старина», 1871, № 4, стр. 513—519. Факсимиле первого листа этой рукописи см. в «Сборнике снимков с автографов русских деятелей 1801—1825 гг.». СПб., 1871, стр. 32.

[21] «Старина и новизна», кн. VIII, М., 1904, стр. 31.

[22] ЦГИА, ф. № 279, оп. I, ед. хр. 269. Рукописи «Войнаровского», лл. 1—16. Порядок листов в этой подборке автографов «Войнаровского», не соответствуя их хронологии, отражает не логическую последовательность текстов, а случайности позднейшего их размещения.

[23] Мы включаем сюда и 90 строк ранней редакции поэмы, известных по публикации П. А. Ефремова (стр. 136—226). Ср. Полн. собр. стих. Рылеева, стр. 452—454.

[24] Рукописи «Войнаровского», л. 16.

[25] Рукописи «Войнаровского», л. 15. Последние пять стихов в издании 1825 г. заменены многоточием. Ст. 1008 («Свободу сам он погубил») в редакцин нашего автографа повторяется в списке «Войнаровского» в альбоме П. И. Река (Отдел редких книг и рукописей Одесской государственной научной библиотеки, № 42. Дата альбома 1828 г. Сообщено М. М. Копыленко).

[26] Рукописи «Войнаровского», л. 15, об. Вариант автографа «Среди отеческих полей» представляется нам более правильным, чем первопечатный: «Среди отеческих степей». Возможность здесь опечатки подтверждается двукратным упоминанием слова «степи» в соседних стихах — 599 и 607 («Шумя, в неведомые степи» и «Я степи кровью обагрил»). О стихе 600 см. далее примеч. 46.

[27] Рукописи «Войнаровского», л. 16.

[28] «Русская старина», 1871, № 4, стр. 503.

[29] Рукописи «Войнаровского», л. 1 об. Строки эти не попали во второй вариант начала поэмы, перебеленный Рылеевым для чтения в С.-Петербургском Вольном обществе любителей российской словесности (см. выше стр. 144). Отмечаем важнейшие из прочих разночтений этой части новой рукописи:

37. И Камчадал, и с пикой длинной
51. Чело тирана прояснит
53. Идет столь раннею порою
54. По берегу реки крутому
59. В своем наряде щегольском
81. Сказав, пошел по косогору
100. Седой Байкал пред бураном
122. И их отважные походы.

[30] Там же, л. 1 об. Из этих 17 стихов Рылеев перенес во второй вариант начала поэмы (см. прим. 29) только первых четыре стиха, а остальные 13 перечеркнул. Но и четыре стиха, перенесенные в новый вариант, подверглись затем той же участи.

[31] Рукописи «Войнаровского», л. 3.

[32] Там же, л. 4.

[33] «Общественные движения в России в первую половину XIX в.». Сост. В. Семевский, В. Богучарский и П. Щеголев, т. I, СПб., 1905, стр. 410.

[34] Первое легальное издание «Сочинений и писем К. Ф. Рылеева», лежавшее в основе всех досоветских изданий его сочинений, вышло в свет в 1872 г. Редактор этого издания, П. А. Ефремов, выполняя волю наследников Рылеева, сделал все для того, чтобы «вырвать из забвенья» литературное наследие поэта-декабриста и любой ценой обеспечить прохождение книги через цензурно-полицейские рогатки. Из издания заблаговременно были исключены поэтому все те произведения Рылеева, которые не утратили революционного звучания и в пору «реформ» 1860—70-х гг., а большая часть его од, дум и поэм дана была не по рукописным подлинникам, а в первопечатных редакциях, искаженных цензурой еще аракчеевской поры. В этих условиях Ефремов не счел возможным уделить серьезное внимание вопросу о правке текста «Войнаровского», хотя и располагал весьма авторитетными копиями поэмы.

[35] См. об этом нашу публикацию письма П. А. Ефремова к С. С. Сухонину от 15 января 1905 г. («Учен. зап. СГУ», т. XXXIII, 1953,

стр. 133—138), а также сообщение А. Г. Цейтлина «Материалы к цензурной истории сочинений Рылеева («Литературное наследство». т. 59, стр. 340—341.).

[36] П. А. Ефремов в письме к С. С. Сухонину от 15 января 1905 г. с одинаковой тщательностью регистрировал и цензурные искажения и корректурные ошибки, вкравшиеся в текст «Войнаровского» (неверная пунктуация, неуместные кавычки, неправильные пробелы между строками, отсутствие абзацев и т. п.). Как нами установлено, С. С. Сухонин успел внести важнейшие из указанных ему поправок в редактированное им массовое «Собрание сочинений и переписки К. Ф. Рылеева». Бесплатное приложение к журналу «Всемирный вестник», СПб., 1905, стр. 123, 130, 132, 133. Однако ввиду того, что эта правка текста поэмы нигде и никак оговорена не была, а самое издание не принадлежало к числу авторитетных, новые строки «Войнаровского» остались незамеченными читателями и не оставили никаких следов в литературе о Рылееве.

[37] Как свидетельствует запись в инвентарной книге Музея революции СССР, сообщенная нам Н. М. Дружининым, автограф семнадцати строк перевода баллады Мицкевича «Лилия» принесен был в дар Музею Е. Е. Якушкиным 27 ноября 1925 г. (№ 1659). Ср. ссылку письма П. А. Ефремова к С. С. Сухонину на неизданные строки этого автографа, с указанием на то, что они списаны «у внука Рылеева, Пущина, с рукописей, которые нашлись у него уж по выходе моих изданий». Никаких упоминаний об этом эпизоде мы не находим в переписке Ефремова с А. К. и Н. И. Пущиными, опубликованной в сб. «Декабристы» («Летописи Госуд. Литературного музея», М., 1938, стр. 288—298).

[38] Замена в стихе 861 рукописного варианта «ель» на «сосну» также не случайна, как замена в стихах 37—38 варианта «И камчадал и с пикой длинной Сибирской строевой казак» на «Лесной тунгус и с пикой длинной Сибирской строевой казак». О «погрешностях против местности» в этнографических и пейзажных частях поэмы, выправленных Рылеевым после прочтения «Войнаровского» В. И. Штейнгелю, см. выше стр. 148.

[39] Полн. собр. соч. Пушкина, Изд. АН СССР, т. XI, М.—Л.. 1929, стр. 160.

[40] Рукописи «Войнаровского», лл. 7 и 8 об. Оборот л. 7 и лицевая сторона л. 8 — чистые. Первые 16 стихов, записанные без помарок, точно соответствуют окончательному тексту. Со стиха 17 автограф представляет собой черновик.

[41] Рукописи «Войнаровского», л. 9. Оборот листа — чистый. Черновые варианты этих строф даны в нашей статье о «Войнаровском» в «Литературном наследстве», т. 59, стр. 50—51.

[42] Строфы эти не вызывают сейчас недоумения читателей лишь потому, что события, о которых глухо упоминается в поэме, хорошо известны по передаче их в «Полтаве» Пушкина. Современники же Рылеева располагали биографией Мазепы, приложенной к первому изданию «Войнаровского».

[43] Рукописи «Войнаровского», л. 3 («Суровый Карл и на пирах»). Черновые варианты этих строф см. в «Литературном наследстве», т. 59, стр. 52. На этом же листе зачеркнуто четверостишие: «Настала промыслов пора» (см. выше, стр. 146) и черновики мадригала «В альбом Т. С. К.» («Язык любви тебе не внятен»). На обороте листа три зачеркнутых стиха:

Среди пустынь родной стоаны
Давно замолкнул гром войны

Погиб Мазепа, Карл убит.

[44] Рукописи «Войнаровского», л. 10 («Угрюмый, мрачный, на пирах»). Черновые варианты листа см. в «Литературном наследстве», т. 59, стр. 52. На его обороте исчерканный черновик мадригала «Своей любезностью опасной». В окончательном тексте «Войнаровского» эпитет «угрюмый» является одним из неизменных признаков образа Мазепы: «Угрюмый гетман», «Угрюмый с нами, он молчал», «С его угрюмого чела сбежало облако печали».

[45] «Русская старина», 1911, № 6, стр. 594.

Стих «Так мы свои разрушив цепи» (600-й), как устанавливается цензурной рукописью «Войнаровского», был изъят из текста цензором поэмы. В первых нелегальных зарубежных изданиях Рылеева этот стих восстанавливался обычно в произвольной редакции: «И мы, порвав подданства цепи».

А. В. КОЛЬЦОВ И ТАЙНОЕ „ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ“

I. „ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ВАСИЛИЯ СУХАЧЕВА“

Первые произведения Кольцова появились в печати под чужой фамилией — их безоговорочно включил в сборник своих стихотворений случайный знакомец молодого поэта Василий Сухачев. Книжка последнего вышла в свет в Москве под названием «Листки из записной книжки Василия Сухачева». Дата ее цензурного разрешения — 4 февраля 1830 года. Других трудов В. Сухачева в печати не появлялось. О нем же самом биографам Кольцова известно было только то, что в Воронеже он был проездом из Одессы в Москву, а свел его с Кольцовым Д. А. Кашкин, тот самый воронежский купец-книжник, великодушная поддержка которого (и моральная и материальная) сыграла, как известно, огромную роль в первых литературных шагах Кольцова, в поднятии его культурного уровня, в самом становлении его как поэта [1].

Био-библиографический инцидент, связанный с присвоением В. Сухачевым трех стихотворений Кольцова, был разоблачен в печати еще в 1836 г., в первом жизнеописании воронежского самородка, в статье Я. М. Неверова «Поэт-прасол Кольцов» [2]. Данные Я. М. Неверова по живым следам успел проверить М. Де-Пуле, впоследствии включивший рассказ о встрече Кольцова с Сухачевым в свою монографию «А. В. Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке». С этих пор анекдот о Сухачеве переносится во все популярные биографии Кольцова, во все издания его сочинений. И в тех и в других он бытует

до наших дней, бытует без вариантов, без комментариев, переносясь из книги в книгу, из статьи в статью, без всякого осмысления, как неизбежная дань традиции, как стандартная справка.

В редакции Де-Пуле, несколько более полной, чем лаконические строки Я. М. Неверова, напомним эту страничку биографии Кольцова и мы, чтобы читателю были ясны все отправные пункты наших разысканий в этой же области: «В конце 30-х годов в жизни Кольцова произошел такой случай. Однажды Кашкин говорит ему, что в Воронеж приехал из Одессы, на короткое время, один литератор, некто *Сухачев*, что он был у него в лавке и, узнавши от Дмитрия Антоновича о поэте-прасоле, изъявил желание познакомиться с Алексеем Васильевичем. Это известие крайне обрадовало Кольцова, так как ему еще в первый раз приходилось знакомиться с настоящим литератором. Схвативши одну из тетрадок своих перебеленных стихотворений, Кольцов тотчас же побежал в квартиру приезжего литератора, познакомился с ним и потом сблизился. Сухачев был стихотворец очень плохой и, кажется, только начинающий, хотя, вероятно, желавший поскорее видеть стихи свои в печати. В этом желании он сошелся с Кольцовым; они объяснились, — и вот наш поэт решился извлечь пользу из знакомства — испытать удовольствие видеть стихи свои в печати, слышать о них отзыв. С этой целью он вручил Сухачеву три своих стихотворения: «Я был у ней», «Разуверение», «Песня» («Не мне внимать напев волшебный»), отметив в черновой тетради, перед каждым, собственноручно: «У Сухачева». В 1830 г. в Москве, в типографии Августа Семена была напечатана книжечка (22 страницы) стихотворений (числом 12) под заглавием «Листки из записной книжки Василия Сухачева» [3].

Мы обрываем на этом цитату из книги Де-Пуле, ибо далее он, полемизируя с Я. М. Неверовым, сам дает неверные справки, ошибочно утверждая, что В. И. Сухачев напечатал только одно из полученных им от Кольцова стихотворений [4] и выражает наивное предположение, что «Сухачев оказался полезен Кольцову, «облегчив» <своим плагиатом?> осуществление «главной цели» молодого поэта — появиться, наконец, в печати. Более интересны попытки Де-Пуле точнее установить личность самого Сухачева. Эти попытки не увенчались, однако, успехом: «После тщательных розысков, сделанных, по нашей просьбе, знатоками местной

литературы, — пишет Де-Пуле, — оказалось, что в Одессе литератора Сухачева не было. По всей вероятности, он был не одесский, а ездивший в Одессу и, на обратном пути в Москву(?), остановившийся в Воронеже. Любопытно было бы узнать что-нибудь об этом Сухачеве. Не из Таганрога ли он?»[5].

Последнее замечание Де-Пуле базировалось на пояснениях самого В. Сухачева к стихам, которыми открывался его сборник. Мы имеем в виду «Кант Его Величеству Государю Императору Николаю Павловичу». Именно этот «кант», как разъяснялось в примечании к нему, «был публично пет пред вензелем государя, на таганрогском театре, известным певцом г-м Махичиным с аккомпанементом музыки и хором певчих»[6].

Именно таганрогская спецификация написания и исполнения «канта» еще резче оттенялась упоминанием в другом авторском примечании к нему о «льготах, дарованных незабвенным Александром I гражданам Таганрога на 15 лет, к коим ныне благополучно царствующий император соизволил прибавить еще 10 лет».

Итак, какие-то связи В. Сухачева с Таганрогом, обусловившие выполнение им конкретного литературного заказа, не подлежат никакому сомнению. Тщетно пытались мы обнаружить во всех девяти произведениях В. Сухачева, вошедших в его сборник, хотя бы признаки литературного дарования, хотя бы элементы подлинной поэтической культуры. Творческий багаж таганрогского стихотворца был так скуден, что он не постеснялся расширить его даже за счет случайно доверенной ему тетради первых стихотворных опытов молодого Кольцова. Итак, как поэт, как мастер литературы, Сухачев ничем не мог импонировать в Воронеже ни самому Кольцову, ни его меценатам. Авторитет Сухачева базировался, конечно, не на его официозных кантах и любовных стишках («К Анюте», «Дуняше», «З. И. Ц-вой» и пр.), а на каких-то других, вероятно, существенных, но вовсе не известных нам данных, без учета которых остается необъяснимым то волнение, которое вызвал его приезд в кругах, связанных с Д. А. Кашкиным, та «радость» и быстрота, с которой Кольцов сдал ему на просмотр свои рукописи, наконец, то безоговорочное подчинение Кольцова его приговорам, которыми завершились их воронежские встречи.

Д. А. Кашкин и В. И. Сухачев — это первые имена, с

которых начинается литературная биография Кольцова. Мы очень смутно представляем себе идеологический облик первого и ничего не знаем о втором. Попробуем же продолжить розыски материалов о Сухачеве, не поверив исследователям Кольцова, что задача эта совершенно безнадежная.

II. „ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ" О СУХАЧЕВЕ В СЛЕДСТВЕННОМ „ДЕЛЕ" ГРИБОЕДОВА

Имя В. Сухачева известно не только исследователям Кольцова. Оно должно быть памятно и биографам Грибоедова. В самом деле, ведь именно установлению связи с Сухачевым посвящены были «вопросные пункты», предъявленные автору «Горя от ума» во время его нахождения под арестом и следствием в связи с событиями 14 декабря.

Это был уже один из последних этапов дознания. Дело быстрыми темпами шло к благополучному для Грибоедова концу. С тем большей тревогой должен был он реагировать на неожиданное осложнение процесса в результате предъявленного ему нового обвинительного материала. Из вопросных пунктов от 15 марта 1826 г. Грибоедов должен был понять, что следственные органы пытались его связать с каким-то Сухачевым, «служившим в Грузии» и уже, видимо, изобличенным в антигосударственных «предприятиях» в Таганроге.

Таганрог был последней резиденцией Александра I. С первых же дней нового царствования этот пункт империи привлекал к себе внимание Николая I не в меньшей мере, чем Тифлис — ставка генерала А. П. Ермолова. Приводим из «дела» Грибоедова весь раздел седьмой допроса об его отношениях к В. И. Сухачеву:

«1826 года 15 марта в присутствии Высочайше учрежденного Комитета коллежский асессор Грибоедов спрашиван и показал:

Вопросы:

При возвращении вашем в Грузию, где вы виделись с Сухачевым (служившим в Грузии)?

а) Давно ль вы с ним знакомы и у кого бывали вместе?
б) Что вам известно от него или по слухам о предложении,

какое он делал некоторым из своих знакомых об основании тайного общества в Отдельном Грузинском корпусе, и какие представлял он доказательства о возможности распространить там членов сего общества? в) Что известно вам о намерении Сухачева поселиться в Ростове и о предприятии его ехать в Таганрог? От кого и когда вы слышали или знали о сем?

Ответы:

На заданные мне вопросы Высочайше учрежденным Комитетом честь имею ответствовать:

Я незнаком с Сухачевым и никогда не слыхал о его существовании.

Коллежский асессор Грибоедов»[7].

Следственные органы отнеслись к отрицательному ответу Грибоедова с полным доверием. Предположение о связях его с Сухачевым отпало еще быстрее, чем родилось. Самый факт службы обоих в Грузии был единственным, видимо, основанием для сближения их неблагонадежных имен.

В какой же, однако, мере могли быть в эту пору криминальны те или иные связи с Грузией, где недавно перекрестились пути Грибоедова и Сухачева?

Ответ на этот вопрос дают нам прежде всего показания декабриста С. Г. Волконского. Именно его соображения о том, что на Кавказе «существует тайное общество, имеющее целью произвести политический переворот в России», что «во главе оного сам А. П. Ермолов» и что «участвуют в оном большею частью лица, приближенные к его штабу»[8], легли в основание всех поисков, вдохновлявших в этом направлении самого Николая I и руководимый им следственный аппарат.

Возможная прикосновенность генерала А. П. Ермолова к событиям 14 декабря (он был необычайно популярен в самых широких кругах оппозиционной общественности 20-х годов и недаром назывался в числе трех кандидатов во «Временное правление» в случае успеха восстания) казалась правдоподобной даже после того, как рушились подозрения о существовании ячеек тайного общества в частях Грузинского корпуса[9].

Политическая проверка лиц из ближайшего окружения А. П. Ермолова не дала ожидаемых результатов. С тем большим интересом должны были отнестись руководители

нового государственного аппарата к материалам о Сухачеве, которые стали поступать в Комитет для следственных изысканий с начала марта 1826 года.

III. СЕКРЕТНОЕ ДОЗНАНИЕ О В. И. СУХАЧЕВЕ

В поле зрения провинциальной администрации В. И. Сухачев оказался уже самым фактом своего появления в Ростове зимою 1825—1826 г. Время было очень тревожное. Бдительность и в центре и на местах дошла до крайних пределов. Ростовский городничий, имевший повеление «наблюдать за всеми теми лицами, которые бы приехали в Ростов без гласной причины или надобности», сразу же учел неопределенность социального положения нового для него человека, который к тому же «вел жизнь самую уединенную, ни к кому не ходил, никого к себе не принимал, занимался письмом и чтением, имея при себе библиотеку, из 600 томов состоящую»[10]. Именно «сей образ жизни» и обусловил производство внезапного обыска у В. И. Сухачева, результаты которого превзошли самые рискованные предположения. «Между вещами и бумагами» Сухачева обнаружено было два пистолета, ружье, кинжал, сабля, «злодейское клятвенное обещание», трактаты на запретные политические темы, «алфавит для тайной переписки» и несколько писем, написанных в целях конспирации «буквами сего алфавита». В числе бумаг был и служебный документ — официальное отношение генерала А. П. Ермолова об отъезде его из Тифлиса[11].

Арестованный В. И. Сухачев из Ростова был препровожден в Таганрог, где на учиненном ему 1 марта 1826 г. допросе дал довольно подробные биографические сведения о себе и об обнаруженных у него материалах. Показания эти сводились к тому, что «отроду ему, Сухачеву, 28 лет», родился он в г. Новомосковске, «исповедания греко-российского», принадлежит «к сословию бендерского малороссийского общества», отец его с 1809 г. проживает в Кишиневе, где занимается торговлей. В течение нескольких лет В. И. Сухачев служил приказчиком фирмы Серато и Верани в Одессе, где в 1822 году приобрел знакомство с коллежским секретарем Г. С. Радуловым и «уволенным из купеческого общества» М. К. Аристовым. Тесная дружеская

связь с этими молодыми людьми определяется в его бумагах «иероглифическими знаками» как «Храм общества независимых». В половине 1824 г. Сухачев выехал из Одессы вслед за своими друзьями в Грузию для «определения в статскую службу», но, проработав «приватно» в течение года в Исполнительной экспедиции при Верховном правительстве в Тифлисе, не был утвержден в должности, ввиду чего решил «употребить себя по прежнему в дела коммерческие». 4 сентября 1825 г. Сухачев «уволился от должности» и выехал через Ставрополь в Одессу. В пути встретился со своим старым знакомым Протасовым, у которого прогостил около месяца в Новочеркасске. В Ростов прибыл «собственно для того, чтобы распродать библиотеку, которая заключается в шестистах книгах разных лучших сочинителей, и выруча за оную деньги, следовать на оные до Одессы». Обращаясь к содержанию отобранных у него бумаг, Сухачев изъяснял, что «клятвенная присяга», квалифицированная следствием как «злодейская», извлечена им «по точным словам из книги Театра сочинителя Августа фон Коцебу, для одного любопытства, да ремарка о добродетели извлечена оттоль же без всякого злого умысла». Ремарка «О страдании человечества» (на 2 листах) и трактат «Несправедливое истребление воинства» (на 8 листах) извлечены им «из бумаг», но из каких и «на какой конец», пояснить не может, ибо «не помнит». Некоторые извлечения из «Опытов нравственности» Шатобриана и других писателей «вчерне, на шести листах», «имелись для одного любопытства»; письмо к Радулову «составлено из литер греческих, еврейских, арабских, турецких, китайских, латинских, русских и пр., выдуманных им и его друзьями; «азбука иероглифическая писана рукою Михаила Аристова»; письмом к чиновнику канцелярии новороссийского генерал-губернаторства М. Н. Леонтьеву (на 5 листах) «уговаривал его о невпадении в заблуждение православной религии», так как «слышал не однажды, что он, придерживаясь философии женевского сочинителя Жан-Жака Руссо, не соглашался во всем с христианской религией и говаривал, что она хороша, но иногда может быть и вредна». Наконец, «Обнародование прав человека и гражданина», как разъяснял В. И. Сухачев, «писано рукою исправляющего в Одесском Ришельевском лицее должность профессора г. Егором Шкляревичем, которым бумага сия переведена с французского экземпляра, находящегося, должно быть и

ныне, у Аристова и которую имею для одного любопытства, а ничуть не для руководства»[12].

Акт первого допроса В. И. Сухачева, пересланный в Петербург, как мы уже отмечали выше, на первых порах очень заинтересовал руководителей Комитета для следственных изысканий, но, как только установлена была полная непричастность В. И. Сухачева к окружению А. П. Ермолова и отсутствие непосредственных связей его с деятелями декабристских тайных организаций, интерес петербургских следственных органов к таганрогскому «делу» сразу же упал. 29 марта 1826 г., т. е. через две недели после отмеченного нами выше допроса Грибоедова, военный министр генерал А. И. Татищев довел до сведения новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова высочайшее повеление о производстве всего следствия о Сухачеве в Одессе, т. е. по основному месту его «преступной деятельности».

Между тем, в Таганроге к этому времени уже закончена была предварительная проверка показаний В. И. Сухачева от 1 марта; 4 марта он давал дополнительные разъяснения по поводу писем к нему одесского купца Вонифатия Картамышева и о найденных у него стихах «Винят меня в народе», с подписью «Сочин. член общества независимых S. Spaskiy»; еще через несколько дней были проверены все местные связи Сухачева и причины остановки его в Новочеркасске и в Ростове.

Показания «купеческого сына» Андрея Протасова проливали свет на биографию Сухачева — свидетель был знаком с ним с 1812 г., знал его в Одессе еще мальчиком в лавке купца Андросова, расстался с ним в 1820 г., через пять лет случайно встретился в Ставрополе; дважды Сухачев гостил у него после этого зимой 1825 —1826 г. в Новочеркасске. Характеризуя с большим пиететом «любовь к книгам» своего приятеля, А. Протасов обходил молчанием вопрос о политической направленности его интересов. Об «Обществе Независимых» А. Протасов ничего якобы не знал, а упоминая о последних произведениях Сухачева — драме «Велизарий» и комедии «Мнимые философы, или общество глупцов» (эту комедию Сухачев рассчитывал поставить на ростовской сцене), удостоверял, что «ничего противного нашей религии и вредного правительству» он в этих вещах не заметил[13].

Решительно отводил от себя подозрения в причастности

к революционной работе и М. Н. Леонтьев, тот самый чиновник канцелярии новороссийского генерал-губернатора, с которым вел Сухачев когда-то в Одессе, судя по найденным у него письмам, дискуссию о философии Руссо. Стараясь реабилитировать себя, М. Н. Леонтьев выгораживал и В. И. Сухачева, показывая, что «главнейшее рассуждение и рассказы Сухачева были о книгах и о предметах, к наукам относящимся»; «вследствие подобных изъяснений» Сухачев передал М. Н. Леонтьеву когда-то «извлечение из опытов нравственности, собственноручно им писанное». О связях с Аристовым и Радуловым Леонтьев знал якобы только со слов Сухачева, который знакомил его со своей перепиской. «Ничего подозрительного» Леонтьев в ней не заметил.

«Относительно же прочих знакомств, занятий и намерений Сухачева, — удостоверял Леонтьев, — ничего не знаю, ибо не был с ним в откровенной связи, а принимал его за молодого, хорошего поведения и со способностями человека. Никаких бумаг противу правительства и народного спокойствия у него не читал и слов подобных от него не слыхал и, сколько могу себе представить, он ни по обращению, ни по роду жизни своей и состоянию не был близок к участию в каких-либо замыслах противу правительства» [14].

3 апреля 1826 г. в Тифлисе были арестованы секретарь Грузинской исполнительной экспедиции Григорий Радулов и канцелярский служитель Михаил Аристов. В бумагах первого не оказалось ничего предосудительного, кроме одного письма Сухачева, писанного «с свободомыслием». Гораздо более важный материал обнаружен был при обыске у Аристова. Внимание следственных органов прежде всего привлекли в этом материале следующие печатные и рукописные произведения, выписки и заметки:

1. «Гиероглифическая азбука», которою пользовался он в переписке с Сухачевым и Радуловым; 2. «Ода на свободу», известное сочинение, как говорят, Александра Пушкина; 3. Печатный экземпляр на французском языке брошюры «О правах человека и гражданина» с черновым переводом ее на русский язык; 4. Книжка с записью гиероглифическими литерами на стр. 46 — «Александр есть также Смертный», а на стр. 47: «Общество Независимых. Закон его следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными, признавать натуру творцом всего»; на стр. 52 стихи Сумарокова («Нет счастья на земле, на небе-

сах оно Оставлено богам, а смертным не дано»), на стр. 52 и 53 порнографические вирши Баркова и подражания последнему самого Аристова; 5. «Журнал происшествий» в пути из Одессы до Редута-Кале, с записью «Правила Общества друзей».

Объяснения, данные М. К. Аристовым по поводу найденных у него бумаг, были крайне сбивчивы и маловразумительны. Об «Обществе Независимых» он вообще ничего не показал, а о «Правилах Общества друзей» разъяснял, что они «писаны без всякой цели. Под названием Общества друзей разумел себя, Радулова и Сухачева, дружбой коих весьма дорожил и восхищался, что буду пользоваться оной еще более. Заметки об Обществе Независимых и прочие отрывки, равно и стихи — сочинения не моего, а вероятно начитал оные в каких-нибудь книгах и рукописях, в которых подобные выражения весьма нередки, и выписал оные единственно из любопытства, не разумея важности оных — без всякой впрочем дурной цели и намерения» [15].

Упорное нежелание помочь следствию обнаружил и Радулов, показывая, что произведения, обнаруженные у его друзей, ему вовсе неизвестны. С азбукой, изобретенной Сухачевым «из букв китайских, латинских, арабских и др.», он познакомился лишь «для забавы». Никогда своего «дружества» с Аристовым и Сухачевым «храмом Общества Независимых» не называл, ибо «такового вовсе не существовало», а была между ними «одна приязнь, начавшаяся в Одессе и продолжающаяся до сего времени более потому, что они, желая поступить на службу и встречая в том затруднение, будучи податного состояния, надеялись иметь пособие от меня, которого я при всем желании открыть им путь, как имевшим хорошие способности к службе, не мог оказать по существующему запрещению» [16]. Объяснение это, подкрепленное указанием на беспорочную службу и свидетельством, что «вредных предприятий против правительства не только никогда не имел, но даже и на ум сия преступная дерзость не приходила», очевидно, вполне реабилитировало Радулова в глазах его непосредственного начальства. В то время как Аристов был препровожден 27 апреля со всеми найденными у него бумагами в Таганрогский тюремный замок, Радулов остался под арестом в Тифлисе.

Позиция всех обвиняемых, упорно отрицавших револю-

ционную значимость своей организации и всячески снижавших степень активности своих политических интересов, представляется нам в деле Сухачева совершенно естественной и, может быть, единственно возможной формой самозащиты. Гораздо большее недоумение вызывает позиция в этом политическом процессе следственного аппарата, который оформлял дело Сухачева в Одессе. Все следствие проведено и закончено было в месячный срок, заочно, на основании протоколов обыска и первых допросов, без уточнения и проверки даже явно неправдоподобных показаний, с принятием на веру отписки М. Н. Леонтьева, без привлечения к делу профессора Шкляревича, без розысков С. Т. Спасского.

28 апреля 1826 г. граф М. С. Воронцов поспешил направить результаты своей работы через военного министра в Петербург. Однако полная непричастность кружка Сухачева к деятельности подпольных декабристских ячеек, которыми занят был, заканчивая уже свои дела, Петербургский комитет для следственных изысканий, обусловила и на этот раз возвращение материалов об «Обществе Независимых» в Одессу, на окончательное заключение М. С. Воронцова.

«Как Высочайше учрежденный Комитет, в который от меня сие дело поступило,— писал военный министр,— не имеет в виду ничего, что бы могло служить пояснением оного или к дальнейшему исследованию, и к тому же приводит уже к окончанию действия своего, то на основании положения сего Комитета я имею честь препроводить упомянутое следственное дело с приложениями о Сухачеве к вашему сиятельству с тем, не благоугодно ли будет вам, милостивый государь, по получении ожидаемых от некоторых лиц сведений, представить о заключении вашем на щет Сухачева уже от себя к его императорскому величеству» [17].

Материалы, обнаруженные как у самого Сухачева, так и у арестованных в Тифлисе его друзей и сообщников, больше не пересматривались; допросы всех обвиняемых наскоро были сопоставлены с свидетельскими показаниями и механически объединены в краткой сводке, включенной во всеподданнейший доклад, который граф Воронцов представил царю 8 июня 1826 г.

Этот доклад построен был с прямым расчетом на то, чтобы весь его материал служил не столько политической квалификации точно установленных фактов, сколько соз-

нательному их затемнению в интересах личной карьеры докладчика. Все обстоятельства дела Сухачева были в связи с этими установками изложены так, чтобы, во-первых, ни в какой мере не компрометировать графа Воронцова как администратора, проглядевшего в свое время создание в Одессе определенной антиправительственной группировки, и, во-вторых, чтобы не тревожить Николая I и его двор после только что законченного большого политического процесса новыми очагами брожения и недовольства. Поэтому, полагаем мы, и была искусно выхолощена в докладе графа Воронцова характеристика Общества Независимых, как зародыша революционной организации, с откровенной закваской воинствующего материализма, с агрессивно-республиканскими и антидворянскими лозунгами.

Тщательно обходя политически наиболее ответственные документы дознания, уклоняясь от точных цитат и не доверяя фактам, фиксируя внимание на мелочах и в презрительно-ироническом аспекте трактуя то, что являлось в этом процессе особенно тревожным, граф Воронцов информировал императора Николая о том, что организаторы Общества Независимых — Сухачев, Аристов и Радулов «имели между собою самую тесную связь, и что образ мыслей их, как по некоторым выражениям заключить можно, был свободный, но вредной для общего спокойствия цели, ни действий, ни намерений, к ней стремящихся, в переписке их не замечено, и гиероглифические бумаги, по расшифровании оных, оказались содержащими в себе неблагопристойные стихи и песни; некоторые только слова оных показывают вольнодумство». Полагая, что «ничто не показывает в сообществе злых умыслов против правительства, или общего спокойствия», граф Воронцов находил невозможным судить одесских конспираторов «формальным порядком», но «в наказание некоторых свободных мыслей, в переписке их найденных», рекомендовал «выдержать их еще несколько месяцев под стражею и потом дозволить продолжать службу, или оставаться без оной, вменив начальствам тех мест, где они будут находиться, иметь над ними наблюдение» [18].

Представление это было царем утверждено. В деле сохранилась и собственноручная резолюция Николая от 11 июня 1826 г.: «Можно велеть выпустить, взяв расписки, что они никаким обществам принадлежать не будут, и

употребить на службу; имея, где будут, под присмотром»[19].

21 июня граф Воронцов распорядился об освобождении из-под стражи В. Сухачева и М. Аристова и тогда же сообщил о высочайшем повелении в Тифлис, где находился в заключении Г. Радулов.

Такова была официальная концовка секретного «дела» о В. И. Сухачеве и возглавлявшейся им в Одессе политической группировке. Историческое осмысление всего связанного с этим процессом материала — задача следующих глав.

IV. „ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ" И ЕГО ОДЕССКАЯ БАЗА

Одесса с середины десятых годов жила необычайно интенсивной политической жизнью. Бурный экономический подъем Северного Причерноморья, связанный с хозяйственной конъюнктурой после наполеоновских войн в странах Южной Европы, необычайно ускорял процесс образования как в самой Одессе, так и во всех тяготеющих к ней огромных районах сельскохозяйственного предпринимательства — от Житомира и Каменец-Подольска на западе до Харькова и Воронежа на востоке — новых форм капиталистических отношений, выявление и укрепление элементов новой культуры, буржуазной по своему происхождению, антикрепостнической по своим установкам.

Если в 1814 г. вывезено было через Одесский порт продукции сельского хозяйства на общую сумму 7 миллионов рублей, то уже в 1815 г. валовая стоимость экспортированного сырья определялась в 14, в 1816 г.— в 37, а в 1817 г. в 41 миллион рублей[20].

Рынок требовал все большего и большего расширения зерновых культур и толкал на завоевание степи. Крепостной труд (и количественно и качественно в южно-украинских губерниях совершенно не эффективный)[21] явно не удовлетворял новым требованиям помещичьего хозяйства, которое могло строиться и развиваться здесь лишь как предприятие чисто капиталистического типа, свободное от всех пут отживающего социально-экономического правопорядка[22].

Буржуазное перерождение верхушки командующего класса на обширной территории тяготеющих к Одесскому порту губерний запечатлено с исключительной четкостью в

записках князя С. Г. Волконского — одного из виднейших деятелей Южного общества «декабристов». Начальные этапы политической его биографии настолько связаны с местной хозяйственной конъюнктурой, что их смело можно считать типическими для передового русского агрария эпохи расцвета сельскохозяйственного предпринимательства и экспортных операций на юге.

Петербургский аристократ по происхождению, воспитанию, родственным и служебным связям, сделавший блестящую карьеру в последний период Отечественной войны, С. Г. Волконский, числясь по армии в долгосрочном отпуске, появляется в 1818 г. в Одессе как организатор образцового хозяйства на 10 тысячах десятин купленной им в Таврической губернии степи. Новая сфера деятельности очень скоро его совершенно преображает. Проблемы массового производства на внешний рынок, интенсифицированного труда, необходимых резервов вольной рабочей силы, более эластичной валютной и таможенной политики, свободы от административно-полицейских пут, кастовых ограничений, казенных монополий и привилегий — вот вопросы, пути практического разрешения которых вели крупного помещика и боевого генерала к усвоению политических позиций одесских промышленников и негоциантов.

Будущему декабристу необычайно импонируют утвердившиеся в Одессе формы буржуазного быта. С большим удовлетворением подчеркивает он в позднейших своих записках демократические традиции старых одесских администраторов, «истинных устроителей» Причерноморья, чуждых «аристократическим замашкам, спеси и деспотизму» своих преемников. Совершенно естественен поэтому и итог его впечатлений: «Род общественной жизни одесской мне очень понравился, и я привязался к этому краю и по вольному моему быту в оном и по занятиям по устройству хозяйства в купленной мною степи» [23].

В обстановке интернационального, кипящего жизнью и деятельностью торгового порта по-новому осмысляется и опыт недавнего похода во Францию, результаты непосредственного знакомства с политическим и социальным строем Европы. Бурною ломкою старых производственных отношений на десятках тысячах десятин Новороссии и Крыма красноречиво опровергаются архаические представления об особых путях и формах хозяйственного развития и гражданского быта России, о рискованности потрясений крепо-

стного строя [24]. В начале 1819 года на Киевских контрактах, «шумевших тогда и делами денежными и общественным съездом», князь Волконский знакомится с работою южных ячеек Союза Благоденствия и с интересом отмечает, как всходят «семена прогресса политического» там, где ни «предрассудки столичных закоренелых недвигателей, лиц высшего общества, ни неусыпный и рабски усердный надзор полиции — явной и секретной — не клали помехи в широком действии». После недолгого раздумья энергичный черноморский аграрий вступает в ряды тайного общества или, как говорит он об этом в своих записках,— «в кружок людей, мыслящих, что жизнь и дела их должны быть посвящены пользе родины и гражданским преобразованиям, имеющим целью поставить Россию на уровень гражданского быта, введенного в Европе в тех государствах, где начало не власть деспотов, но права человека и народов» [25].

С опаскою, характерной для столпа консервативной дворянской фронды первых лет XIX столетия, граф Ф. В. Растопчин писал об Одессе 1 февраля 1820 года графу М. С. Воронцову: «Я не удивляюсь ее успехам: она имеет все данные для процветания — гавань, почву, реку и привилегии; лишь бы примесь французской крови не породила здесь местного либерализма» [26].

Вопрос о «местном либерализме» и его иноземной ориентировке поставлен был героем московского пожара трезво и своевременно. Одесса давно уже была широко использована буржуазией Западной Европы и Балканского полуострова не только как объект торгово-промышленной интервенции, но и как надежный приют для поддерживаемых ею подпольных политических организаций. Французские революционные демократы, итальянские карбонарии и польские повстанцы, болгарские радикалы и сербские четники легко находили здесь пристанище и спокойно могли накоплять силы для дальнейшей работы. Чрезвычайно характерно, что на территории Одесского порта создается еще в 1814 году «гетерия филикеров», многолетний организационный центр освободительного движения в Греции, финансовая и боевая база восстания 1821 года в Молдавии и в Морее.

Идеологический контакт представителей передовой русской общественности начала двадцатых годов с деятелями зарубежной революционной демократии был предопределен

в Одессе не только единством их политического воспитания, интересов и надежд, но, в известной мере, и некоторыми характерными особенностями социальной генеалогии одесской опозиционной буржуазии.

В этом отношении очень показательно конфиденциальное письмо одесского военного губернатора графа А. Ф. Ланжерона на имя министра полиции от 22 января 1819 г.: «Я нахожу нужным объяснить при сем вашему сиятельству состав жителей Одессы. Сначала, как обыкновенно бывает при новом поселении, здесь принимались и записывались все явившиеся: три четверти мещан и многие русские купцы суть беглые господские крестьяне и даже преступники, избегнувшие преследования и с переменою имен здесь водворившиеся. Часть из греков, также здесь поселившихся, суть беглецы из Константинополя, и многие из них архипелагские корсары. Впоследствии же водворились здесь иностранцы и русские купцы, заслуживающие уважение и общую доверенность, но большая часть еще из населяющих Одессу, хотя и приобрели здесь значительные капиталы и через то пользуются уважением, но не переменили ни прежнего образа жизни своей, ни чувствований. Ваше сиятельство изволите согласиться, что таковое соединение людей требует полиции деятельной и бдительной и большой строгости в градоначальнике и что послабления, какие можно допускать в других городах и для других жителей, не могут иметь места в Одессе. Если бы позволено было описанным выше классам людей вмешаться в управление города, то бы скоро все пришло в беспорядок, и это было бы истинно скопище для возмущения народного спокойствия» [27].

В неменьшей степени, чем агрессивность одесской буржуазии, была показательна для трещин, наметившихся в самых основаниях крепостного строя, самочинная реализация в южно-украинских губерниях рынка свободных рабочих рук.

В самом деле, несмотря на то, что пополнение кадров промышленных и сельскохозяйственных рабочих зачастую происходило здесь за счет беглых крестьян из юго-западных и центральных губерний, вольнонаемный рабочий оказывался настолько нужным и городскому фабриканту, и негоцианту-экспортеру, и степному аграрию, что местной администрации приходилось закрывать глаза на явно нелегальные *пути* и на опаснейшие для крепостного правопо-

рядка *следствия* все возрастающей численности на территории Новороссии городского и сельскохозяйственного пролетариата.

«Почти все хозяйства южного края,— вспоминал об этой поре в своей записке «Работа барщиною» известный херсонский сельский хозяин Шостак,— действовали наймом; легионы рабочих, не заботясь о паспортах, свободно разгуливали по степям южного края и нанимались там, где работа дороже и, главное, водка дешевле» [28]. Применительно к промышленным условиям вольного порта эта же резервная армия труда находила себе поддержку и в официальных представлениях Одесского коммерческого совета, трезво учитывавших значение «множества рабочих всякого рода», стекающихся «для снискания себе пропитания» в Одессу, где «более, нежели где-нибудь в России, заработать можно» [29].

Настроения, связанные с некоторыми бытовыми последствиями ломки старых производственных отношений, получают в это время отражение и в местном фольклоре:

Я в Одессі пробуваю,
А в Одессі добре житы,
Мішком хліба не носыты,
На барщину не ходыты,
Подушного не платиты.
Ни за плугом, ни за ралом...
Называют мене паном[30].

Разумеется, процесс превращения в «пана» недавнего крепостного раба был далеко не так легок и прост, как это звучало в песнях безвестных одесских предшественников Кольцова, но не случайно и сам автор «Косаря», «Песни пахаря» и «Урожая» ориентировался в некоторых из шедевров своей «экономической поэзии» [31] на эти же новые районы мощного сельскохозяйственного предпринимательства, а не на нищую крепостную деревню.

Напомним, прежде всего, известные строфы «Бегства», в которых парень мечтает о бегстве с милой «на Украину», где:

Всего у нас довольно:
Есть где будет отдохнуть,
От боярина сокроют,
Хату славную дадут.
Будем жить с тобой по-пански...
Эти люди — нам друзья;
Что душе твое угодно,
Все добуду с ними я...

Разумеется, не крепостная историческая Украина, а Новороссия, молодые губернии, вздыбленные Одесским порто-франко, могли вдохновлять на эти идиллические картины зажиточного вольного быта.

Понятна и черноморская локализация «Косаря»:

Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась.

В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой вострою;
Мне давно шуметь
По траве степной,
Вдоль и поперек
С ней хотелося...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Зажужжи, коса,
Засверкай кругом!..

Мы не ошибемся, если с совершенно конкретной экономической действительностью Новороссии (в тридцатых годах она была еще очень свежим воспоминанием) попытаемся связать пафос и других произведений Кольцова — и «золотую казну», заработанную «на степи привольной», и гимны «снопам тяжелым», и конечный апофеоз «хлеба — моего богатства».

V. ТАЙНОЕ „ОБЩЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ“ И ЕГО РЕЗЕРВЫ

Процесс кристаллизации в Одессе кадров новой разночинной интеллигенции, носителей передовой буржуазной идеологии, был, сравнительно с другими пунктами империи, значительно ускорен и облегчен теми возможностями, которые открывались в условиях бурного экономического подъема не только для предпринимателей всякого рода, но и для всего обслуживающего их аппарата из людей «податного состояния» — многочисленных приказчиков, техников, конторщиков, комиссионеров, непосредственно связанных с экспортом в Одессе или с заготовительными операциями для него в каком-нибудь харьковском, новочеркасском и

даже воронежском глубоком тылу. В этот чернозем уходило своими корнями и Общество Независимых, основой которого явился к началу 20-х годов одесский дружеский кружок трех разночинцев — бендерского мещанина В. И. Сухачева, овидиопольского купеческого сына М. К. Аристова и канцелярского чиновника из тираспольских сербских колонистов Г. С. Радулова.

Первый из них с самого начала был и центральной фигурой этого объединения. Его *функция* в одесском кружке равнозначна функциям Веневитинова и Станкевича в кругах московской передовой молодежи, с поправкой, конечно, на разность их социального положения и культурного уровня, на несоизмеримость *масштабов* их действий. Видимо, высокие личные качества В. И. Сухачева, его общественный темперамент, вместе с широкой литературной эрудицией и политической целеустремленностью, особенно привлекали к нему всех его многочисленных друзей и знакомцев. В этой среде он был явлением редким и потому очень заметным и привлекательным. Характерная деталь — от него не отрекались и в пору его крушения, когда связь с ним грозила тюрьмой и ссылкой. И тем не менее никто не проявил малодушия — и Аристов, и Радулов, и Леонтьев, и Протасов, все в один голос свидетельствовали о своем глубоком уважении к В. И. Сухачеву, продолжали настаивать на том, что это человек «хорошего поведения» и «больших способностей».

По этим же показаниям и протоколам его допросов, в основном, восстанавливаем сейчас и мы биографию Сухачева, ибо других прямых источников для одесского ее периода не сохранилось. Рукописи Сухачева — оригинальные и переводные — до нас не дошли, его прошения на имя графа М. С. Воронцова и в III отделение — документы очень условного наполнения и назначения — мало интересны, а позднейший сборник его стихотворений (до ареста он стихов, видимо, не писал) можно объяснить лишь как нарочитую демонстрацию самим автором своей безыдейности, пошлости и благонамеренности — в целях скорейшего снятия с него полицейского надзора.

Василий Иванович Сухачев родился в 1798 г. в г. Новомосковске, Екатеринославской губернии, в семье мелкого торговца, по паспорту бывшего мещанином города Бендер, Бессарабской области. Никакого образования он в свои

школьные годы не получил и уже в 1812 г., подростком оказался на работе в Одессе в лавке купца Семена Андросова, от которого перешел приказчиком во «французский магазин» Серрато и Верани. «Имея всегдашнее обращение с иностранцами» (выше мы уже охарактеризовали эту прослойку одесской буржуазии), В. И. Сухачев совершенно свободно говорил и читал по-французски и итальянски и очень рано пристрастился к литературе. Один из самых старых его знакомцев, Андрей Протасов, на следствии удостоверял, что «немалое жалованье», которое получал Сухачев от своих хозяев, всегда позволяло ему не только хорошо одеваться, но и систематически пополнять свою библиотеку [32].

Философская литература занимала в ней, видимо, не меньшее место, чем беллетристика. Круг интересов молодого Сухачева, судя по именам, мелькающим в его переписке, был очень широк.

Выписки из «театра Августа фон Коцебу» перемежаются в бумагах Сухачева переводами моралистических сентенций Шатобриана, полемика с Жан-Жаком Руссо сочетается с интересом к «Декларации прав человека и гражданина» [33].

Из произведений русской рукописной литературы в кружке В. И. Сухачева циркулировала ода «Вольность». Мы полагаем, что нам удалось установить и первоисточник той криминальной «ремарки на двух листах», которая под названием «О страдании человечества» обнаружена была при обыске у В. И. Сухачева и фигурировала в его первом допросе. Сам Сухачев автора этой «ремарки» назвать отказался, а таганрогские следователи были слишком неопытны, чтобы сразу его обнаружить. Между тем, это был не кто иной, как А. Н. Радищев, а выписка сделана была из «Путешествия из Петербурга в Москву». Мы имеем в виду строки знаменитого посвящения его А. М. Кутузову: «Я взглянул окрест меня — душа моя *страданиями человечества* уязвлена стала» и пр.

Возможно, что В. И. Сухачев сделал выписку свою не из конфискованного и сожженного издания книги, а из «Опыта Российской библиографии» В. С. Сопикова.

В некоторых (очень редких) экземплярах «Опыта» сохранилась библиографическая справка о книге Радищева, при которой был дан текст посвящения ее А. М. Кутузову.

Эта страница (ч. IV, стр. 250) сразу же была, по требованию цензуры, вырезана и уничтожена [34].

В. И. Сухачев не только много читал, не только упражнялся в переводах. Он деятельно пропагандировал тот политический и философский материал, к которому приобщался сам и готовил себя к большой литературной работе.

Драма «Велизарий» и комедия «Мнимые философы, или общество глупцов», которые он писал в 1825 г. в Ростове, были, конечно, уже не первыми его творческими опытами.

Думается, что ключ к «Велизарию» Сухачева дает одноименная трагедия Жуи, о запрещении которой в Париже трактовалось в 1819 г. и в русской печати: «Трагедия Велизарий обратила на себя внимание наше,— отмечалось в одной из статей «Сына Отечества».— В этой трагедии Г. Жуи есть сильные сцены, и везде господствует чистый и блестящий слог. Полиция запретила играть ее на театре» [35].

К 1821—1822 гг. относится сближение Сухачева с М. К. Аристовым, Г. С. Радуловым и С. Т. Спасским.

Михаил Константинович Аристов — сын овидиопольского купца — был моложе всех в этом дружеском объединении одесских вольнодумцев. Он родился в 1803 г., воспитывался в Одесском греческом училище и закончил «курс наук» в гимназии. В пору знакомства с Сухачевым он занимался письмоводством в конторах одесских маклеров и нотариусов, а также «хождением по судным делам».

Григорий Семенович Радулов, сверстник Сухачева, был родом «из сербов», родился в «казенном» имении «Глинное» (между Тирасполем и Одессой), некоторое время служил в тираспольском нижнем земском суде, потом аудитором в саратовском пехотном полку и, наконец, протоколистом в одесском коммерческом суде.

Объясняя происхождение «иероглифической азбуки», которой пользовались все три друга, зашифровывая, в целях конспирации, свою переписку, В. И. Сухачев должен был раскрыть и смысл загадочных строк «Храм Общества Независимых», обнаруженных в его бумагах.

Он клятвенно, как известно, отрицал свою принадлежность к «тайным обществам и масонским ложам» и этим отрицанием рассчитывал прикрыть и ту подпольную организацию, которая была основана в Одессе им самим. Поэтому Сухачев и пытался в первых своих показаниях

характеризовать Общество Независимых как совершенно аполитичное объединение «трех друзей» — его самого, Аристова и Радулова.

Однако уже в следующих своих показаниях от 4 марта 1826 г. он должен был давать сведения о некоем С. Т. Спасском, который переписанную им песню «Винят меня в народе» снабдил подписью, не оставляющей никаких сомнений в его принадлежности к тому же «Обществу Независимых», состав которого В. И. Сухачев ограничивает только тремя лицами. Сам С. Т. Спасский, «купеческий сын», приезжавший в 1821 г. в Одессу из Харькова для «приискания должности», не был привлечен к дознанию, так как точный адрес его остался неустановленным — он из Одессы успел давно выехать в Иркутск или Березов на службу в Северо-Американскую компанию»[36].

Письмо одесского купца Вонифатия Картамышева от 14 марта 1819 г. для нас интересно в двух отношениях: вопервых, самой своей датой, позволяющей установить, что и «иероглифическая азбука», изобретенная якобы Аристовым около 1822 г. только для трех друзей, уже в 1819 г. была известна и Картамышеву; во-вторых, тематика и лексика письма Картамышева с его жалобами на «ужасы жестокого рока» и на «лютых зверей, называющих себя обществом», настолько органически связана со всеми бумагами «Общества Независимых», что ближайшее отношение его к последнему также не вызывает никаких сомнений.

Когда В. И. Сухачев давал свои показания в Таганроге, в распоряжении следствия еще не был документ, который мы считаем важнейшим в его деле. Это — формулировка лозунгов «Общества Независимых» в записной книжке М. К. Аристова: *«Общество Независимых. Закон его — следовать природе. Монаршей власти не признавать, а быть всем равными, признавать натуру творцом всего».*

Таковы были материалистические («признавать натуру творцом всего») и революционно-эгалитарные («монаршей власти не признавать, а быть всем равными») лозунги того нелегального политического объединения, во главе которого стоял В. И. Сухачев.

По времени своего оформления, по своему социальному составу, по своим идеологическим традициям и политическим установкам «Общество Независимых» оказывалось необычайно близким известной декабристской подпольной организации — «Обществу Соединенных Славян». Генезис

последнего в какой-то степени был также связан с Одессой[37], что позволяет нам уяснить если не конкретные взаимоотношения (для этого мы не располагаем еще никакими данными) кружка В. И. Сухачева с политической группировкой, сложившейся вокруг братьев А. И. и П. И. Борисовых, то какие-то общие исторические закономерности, реализованные в выдвижении тех и других в условиях именно одесского плацдарма русской революционно-демократической интеллигенции.

Мы назвали уже выше пять членов «Общества Независимых». Трудно думать, чтобы к этой же организации не принадлежал преподаватель Ришельевского лицея Егор Шклярevич[38], автор нелегального перевода на русский язык «Декларации прав человека и гражданина», французский оригинал и черновой текст перевода которой оказались у Аристова, а беловая рукопись — у самого Сухачева. Можно думать, что дефекты перевода Аристова и вызвали обращение В. И. Сухачева к Шкляревичу, как к более квалифицированному специалисту, для изготовления точной русской редакции такого важного для агитационно-пропагандистских целей «Общества Независимых» идеологического документа, как «Декларации прав человека и гражданина».

Письмоводитель Одесской градской полиции Михаил Николаевич Леонтьев был седьмым членом кружка Сухачева. Именно с ним, как страстным последователем Жан-Жака Руссо, В. И. Сухачев впоследствии дискуссировал «насчет христианской религии». Эти споры о пределах пользы и вреда догматов официальной церкви по времени, кстати сказать, совпадали с теми «уроками чистого афеизма», которые брал в Одессе у доктора Гутчинсона ссыльный Пушкин, работавший вместе с этим самым Леонтьевым в 1823—1824 гг. в канцелярии новороссийского генерал-губернатора[39].

К числу старинных друзей В. И. Сухачева принадлежал «купеческий сын — Андрей Протасов, оставивший Одессу еще в 1820 г. Неожиданная встреча с ним осенью 1825 г. в Ставрополе вызвала поездку В. И. Сухачева к нему в гости в Новочеркасск, где проживали их общие приятели, новочеркасские торговцы, Лев Шапошников и Павел Кладовщиков. К этому же кругу старых знакомых Сухачева по Одессе эпохи становления «Общества Независимых»

принадлежал и Дмитрий Антонович Кашкин, воронежский купец-покровитель и друг молодого Кольцова.

VI. СПИСКИ ОДЫ „ВОЛЬНОСТЬ“ В КРУГАХ „ОБЩЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ“

В числе документов, характеризующих политические и литературные интересы деятелей «Общества Независимых», была и нелегальная ода Пушкина «Вольность»[40]. Именно она с предельной остротою осмысляла для них ту ситуацию, которая определилась в Европе в результате политических побед феодальной реакции, именно она вдохновляла и на борьбу с последней:

Увы! Куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы.
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный гений
И славы роковая страсть.

Судя по дошедшим до нас отрывкам из писаний В. И. Сухачева и его товарищей, они все были в плену не только высокой гражданской тематики, но и самой фразеологии нелегальной пушкинской оды.

В записи П. И. Бартенева недавно был обнаружен интересный рассказ М. Н. Волконской о поездке Пушкина со всей семьею Раевских из Екатеринослава в Пятигорск в 1820 г. Отца мемуаристки, известного героя войны 1812 г., в пути «встречали с большим почетом; в городах выходили к нему навстречу обыватели с хлебом-солью. При этом он, шутя, говаривал Пушкину: «Прочтите-ка им свою оду <«Вольность»>. Что они в ней поймут?» [41]

В этой иронической сентенции старого вольтерьянца сказалась очень характерная для людей его склада барская недооценка роста литературной и политической грамотности читателя новой социальной формации, которого после Отечественной войны все больше и больше выделяло из своих рядов русское купечество, мещанство и даже зажиточная верхушка крестьянской крепостной массы. Разумеется, те декоративные представители «темного царства», которых уездная администрация выдвигала для поднесения «хлеба и соли» популярному генералу, была еще очень да-

лека от проблем, вдохновлявших Пушкина, но уже их старшие сыновья, их конторщики и приказчики, те самые Сухачевы, Аристовы, Протасовы, Спасские и Радуловы, с идеологическим багажом которых познакомил нас процесс «Общества Независимых», отлично знали не только оду «Вольность», но и «Декларацию прав человека и гражданина».

Вопрос о масштабах социально-политического звучания оды «Вольность» для исследователей литературы конца 10-го и начала 20-х годов имеет тем большее значение, что это была первая русская стихотворная прокламация, литературный документ, с большим и тщательно организованным идеологическим материалом, с актуальными историческими примерами и параллелями, с четкими партийно-политическими лозунгами. Все установки «Вольности» определялись, как известно, политической платформой Союза Благоденствия. Не случайно эта ода писалась в кабинете его вождя — Н. И. Тургенева и вдохновлялась именно его рецептами борьбы с рабством крестьян, как с юридическим институтом, и с деспотизмом русских самодержавцев, как с самой варварской формой политической диктатуры. Ода «Вольность» рассчитана была не на печать, не на литературных гурманов, а на массовое распространение в тысячах нелегальных рукописных копий, как произведение агитационное, заражающее и покоряющее аудиторию своей революционной действенностью, своей предельной доходчивостью. Эта доходчивость была, разумеется, нераздельна с максимальной ясностью не только ее политических установок, но и поэтического словаря. Ода «Вольность» так же не нуждалась в комментариях, как и в издателе.

Только одно поэтическое произведение недавней героической эпохи имело мировой резонанс и сохраняло полностью свое революционное звучание в пору писания и распространения пушкинской оды. Это была марсельеза[42]. Победный гимн французской революционной демократии был еще у всех в памяти, у всех на устах. Не какую-то отвлеченную и никому неведомую «музу вольности», а *марсельезу* имел в виду и Пушкин, когда в первой же строфе своей оды вспомнил недавнюю «грозу царей, свободы грозную певицу». Имени ее бессмертного автора посвящена была и вся строфа о «возвышенном галле»:

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветренной Судьбы,
Тираны мира! Трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы.

Раскаты гимна Руже де Лиля вторгались в оду Пушкина как властный аккомпанемент, звуча и ощущаясь в некоторых ее инвективах почти как цитаты: «Тираны мира! Трепещите», «Восстаньте, падшие рабы!» [43].

Этот простой и единственно возможный адрес «возвышенного галла» был понятен всем современникам Пушкина [44]. Только имя *автора марсельезы*, хорошо знакомое даже тем, кто не в состоянии был запомнить фамилию Руже де Лиля, могло быть брошено в массовую революционную аудиторию как общеизвестное имя «возвышенного» поэта и благородного человека, ассоциация с которым легко и без остатка позволяла расшифровать все темные или, точнее, искусственно затемненные в позднейшем восприятии детали текста первых двух строф оды «Вольность» [45].

В пользу нашего толкования «возвышенного галла» свидетельствует и старейшее из доселе известных высказываний о нем. Мы имеем в виду показание С. Д. Полторацкого, человека, лично близкого Пушкину, собирателя и знатока памятников русской литературы XVIII—XIX вв. Его мнение дошло до нас в записи М. Н. Лонгинова, датируемой серединой пятидесятых годов: «Кстати, приведу здесь замечание моего искреннего приятеля С. Д. Полторацкого, известного во всей Европе библиографа, касательно 2-й строфы оды «Вольность». Он полагает, что она относится не к А. Шенье, а к Руже де Лилю, автору известного революционного гимна «La Marseillaise», написанного в начале 1792 г. Это мнение слыхал я прежде, но позабыл» [46].

Из рядов «Общества Независимых» вышел перевод на русский язык «Декларации прав человека и гражданина». В переводе марсельезы потребности не было. Ода «Вольность» и передовым отрядам будущих декабристов и их попутчикам из кругов буржуазной демократии давала именно ту революционную, оптимистическую зарядку, которая жила в словах и в музыке марсельезы.

VII. АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА В. И. СУХАЧЕВА И ПРИЧИНЫ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ В 1824 ГОДУ

В показаниях В. И. Сухачева дата сближения его с Аристовым и Радуловым в Одессе определяется 1822 годом. К этому времени приходится отнести и организационное оформление руководящего ядра «Общества Независимых». Подготовительный период просветительской работы Сухачева (годы 1819, 1820, 1821) связан был, вероятно, с более широкой аудиторией, но еще не выходил за рамки дружеского обмена мнениями по философско-литературным и общественно-политическим вопросам, не требовавшим никакой конспирации. Можно думать, что и после того, как наиболее активная часть единомышленников В. И. Сухачева объединилась на платформе «законов», о которых мы говорили выше, члены «Общества Независимых» в своей пропагандистской работе ограничивались популяризацией общих антифеодальных принципов «Декларации прав человека и гражданина» и «Путешествия из Петербурга в Москву», а не подготовкой к тем или иным конкретным революционным действиям.

К лету 1824 года относится переезд всех трех вдохновителей «Общества Независимых» в Тифлис. Сперва перебрался туда Г. С. Радулов, а вслед за ним потянулись из Одессы В. И. Сухачев и М. К. Аристов. Можно ли считать этот переезд случайным эпизодом их биографий или в основе его лежали причины общественно-политического порядка? Независимо от того или иного ответа на этот вопрос, исследователь должен считаться не только с самым фактом ликвидации одесской базы «Общества Независимых» в августе 1824 года, но и с тем обстоятельством, что никаких попыток восстановить эту организацию на новом месте предпринято не было.

«Общество Независимых» умерло, не успев развернуться в подлинную политическую организацию. Провинциализм, непреодоленная кружковщина, отсутствие политического опыта и традиций, противоречия еще не осмысленных до конца новых экономических отношений задерживали переход от правильно понятых задач политического *воспитания* передовых кадров русской буржуазной демократии к постановке стержневых проблем буржуазной революции в *конкретной политической программе.*

Дата выезда В. И. Сухачева из Одессы оказалась датой смерти «Общества Независимых». Совершенно очевидно, что именно этот конец в какой-то мере был им предвиден, а может быть, и ускорен. Дело в том, что в истории Одессы 1824 год был последним, а потому и особенно тяжким годом острого экономического кризиса, подрывавшего в течение трех лет благосостояние степной Украины и прилегающих к ней западных и южно-великорусских губерний. Если в 1817 г. хлебный вывоз через одесский порт в денежном выражении определялся суммой в 41 млн., то в 1823 г. он уже не достигал и 16, а в 1824 г. — 13 млн. рублей [47]. Официальная записка, вышедшая из херсонских помещичьих кругов, определяла причины этой хозяйственной катастрофы с исключительной четкостью: «Пшеница, просо, ячмень, рожь, овес, горох, турецкие бобы — вот главнейшие произведения здешнего края. Доколе требования на пшеницу были значительны, дотоле оный благоденствовал, но с некоторого времени усиление хлебопашества в Европе, умножение выпуска хлеба из Европы, недоразумения с Портою и в особенности греческая война, обратившая коммерческие капиталы на другой предмет или уничтожившая оные,— разрушили благоденствие хлебных полуденных российских губерний» [48].

В тисках еще небывалого кризиса старое барщинное хозяйство, даже лишенное на время внешних рынков сбыта и обычного банковского кредита, неожиданно обнаружило на своих голодных пайках гораздо большую силу сопротивляемости, чем аграрные предприятия чисто капиталистического типа. Полный развал последних уже в 1823 г. не вызывал никаких сомнений. Одесса отвечала на него свертыванием всех своих оборотов, полосой банкротств и падением биржевых курсов. Буржуазная общественность, обескровленная и дезориентированная, вынуждена была отступать и на хозяйственном и на политическом фронте. Ростки новой культуры гибли, не успевши расцвесть.

Очень характерно, что наиболее острый момент экономической депрессии государственным аппаратом использован был для усиления строгостей административно-полицейского режима во всех районах новороссийского генерал-губернаторства и для борьбы с «местным либерализмом» в Одессе. Именно в этом смысле оценено было некоторыми чуткими наблюдателями событий на юге этой поры назначение в Одессу 7 мая 1823 года графа М. С. Воронцова:

«Захотели, наконец, чтобы Новая Россия обрусела, — писал Ф. Ф. Вигель, — и в 1823 г. прислали управлять ею *русского барина и русского воина»* [49].

Напомним, что возможность пагубного влияния на Пушкина «опасных идей здешнего общества» была одним из мотивов представления графа Воронцова 28 марта 1824 г. о высылке ссыльного поэта из Одессы [50], а в рескрипте Александра I на имя графа Воронцова от 2 мая того же года специально отмечалась опасность скопления «в таком важном торговом городе, какова Одесса», многих «таких лиц, кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние» [51]. Этот самый рескрипт или, точнее, секретные материалы, которыми он был вызван, имел в виду и князь П. А. Вяземский, когда рекомендовал Пушкину меры особой политической осторожности в Одессе — «Верные люди сказывали мне, что уже на Одессу смотрят как на champ d'asyle, а в этом поле верно никакая ягодка более тебя не обращает внимания» [52].

В этих условиях оказывалось под ударом и «Общество Независимых». С его ликвидацией приходилось уже спешить — тем более, что экономическая депрессия, видимо, лишила средств к существованию в Одессе и М. К. Аристова и В. И. Сухачева. Потерпев неудачу в своих хозяйственных предприятиях, 14 января 1824 г. возвратился из Одессы на службу во 2-ю армию их знаменитый современник князь С. Г. Волконский, один из вождей Южного Общества декабристов [53]. Спасения на государственной службе приходится искать в этом же году и Радулову, и Аристову, и Сухачеву.

VIII. В. И. СУХАЧЕВ, Д. А. КАШКИН И А. В. КОЛЬЦОВ

Служебная карьера В. И. Сухачева, как известно, не удалась. Его мещанское происхождение, при формальном отсутствии образовательного ценза, предопределило отказ сената утвердить его в должности, которую он в течение почти целого года «приватно» занимал в Исполнительной экспедиции при генерале Ермолове в Тифлисе. Первые же признаки улучшения хозяйственной конъюнктуры на юге

обусловили решение Сухачева возвратиться в Одессу. Здесь, как отмечалось в протоколе одного из его допросов, он предполагал «по-прежнему употребить себя в дела коммерческие». Остановка в пути вызвана, видимо, была не только необходимостью продажи библиотеки. По показаниям друзей, он работал зимою 1825—1826 гг. над двумя пьесами — драмой «Велизарий» и комедией «Мнимые философы, или общество глупцов», из которых последняя должна была пойти на ростовской сцене. Не оправдались, однако, и эти расчеты. Задержка в Ростове оказалась для него роковой.

Освобожденный из таганрогской тюрьмы в конце июня 1826 г., В. И. Сухачев, не в пример своим товарищам по процессу, которые сразу же возвращены были к месту своей прежней работы, оказался без всяких средств к существованию. Отметка о полицейском надзоре была для него, как для человека «податного состояния», равнозначна волчьему паспорту. Он был стеснен в свободе передвижения, не имел права проживать в больших городах, не мог нигде получить постоянной работы. В течение шести лет, как свидетельствует его позднейшее обращение в III Отделение, В. И. Сухачев «употреблял все усилия к поступлению в коронную службу, но тщетно; о приискании же частной должности не имел ни малейшей надежды, ибо все опасались его, как человека, под надзором полиции состоящего» [54].

Сборник стихотворений под названием «Листки из записной книжки Василия Сухачева» вышел в свет весной 1830 г. и, как мы уже отмечали выше, являлся, видимо, лирическим подкреплением тех официальных прошений на имя графа Воронцова и графа Бенкендорфа, в которых Сухачев, ссылаясь на отсутствие «всех средств к изысканию себе и престарелому отцу своему дневного пропитания» [55], умолял освободить его от полицейского надзора. С хлопотами об этом связана была и поездка В. И. Сухачева в Москву (а может быть, и в Петербург), вызвавшая его остановку в Воронеже в 1829 г. [56].

Стихи Кольцова «На отъезд Д. А. Кашкина в Одессу», датируемые 2 августа 1829 г., и стихотворное «Письмо к Д. А. Кашкину» от 5 декабря 1829 г. позволяют установить, что встреча В. И. Сухачева, Д. А. Кашкина и А. В. Кольцова в Воронеже произошла не раньше лета этого года. Характернейшие подробности свидания, а глав-

ное, тот пиетет, с которым отнесся молодой Кольцов к своему новому знакомцу, не оставляют сомнений в том, что Сухачев и Кашкин уже знали друг друга. Именно это прежнее знакомство и мотивировало воронежскую встречу. В глазах Д. А. Кашкина В. И. Сухачев продолжал оставаться тем, кем он был в зените своего влияния и успеха в Одессе. Таким он, конечно, был рекомендован и Кольцову.

Обращение к фактам биографии Д. А. Кашкина позволяет установить, что до открытия своей книжной лавки и библиотеки, т. е. до середины 20-х годов, он был занят «довольно выгодной торговлей хлебом». Эти операции, прочно связавшие Д. А. Кашкина с Одессой, и столкнули, видимо, его с В. И. Сухачевым в пору развертывания деятельности «Общества Независимых». В свете данных, привлеченных нами выше для характеристики кружка В. И. Сухачева на конкретном бытовом фоне Одессы двадцатых годов, проясняются сразу и все туманности социально-политического облика Д. А. Кашкина, намеченного в известной монографии Де-Пуле о Кольцове. Передовой воронежский книголюб и торговец необычайно типичен для всего круга В. И. Сухачева. Он близок последнему даже некоторыми индивидуальными чертами своего интеллектуального склада и общественного поведения:

«Дмитрий Антонович Кашкин, — как устанавливал Де-Пуле, собиравший материалы о нем еще при его жизни, — был в своем роде и в свое время (1793—1862) замечательностью. Воронежский уроженец, принадлежа к купеческому сословию, он вел сначала довольно выгодную торговлю хлебом, но страсть к чтению и самообразованию заставила его обратиться к новой (кажется еще небывалой в Воронеже) деятельности — книжной торговле. В начале 20-х гг. он открыл книжную лавку, которая существовала сорок лет, почти до самой его смерти. Ставши *книжником* (как называли тогда книгопродавцев), он предался страстно чтению и достигнул замечательных, по времени, успехов в самообразовании; он довольно правильно владел литературным языком и, подобно всем своим современникам, даже некоторое время писал стихи. В обществе купцов Кашкин слыл оригиналом и даже чудаком. И в самом деле, он был оригинален, т. е. вполне самобытен, прям и, при случае, резок. Многие его побаивались, многие, конечно, не любили; но большинство уважало его, как человека с независимым характером, резко выделявшегося не из одной купече-

ской среды, в то время еще весьма темной. С таким человеком свела судьба юного Кольцова,— и понятно, что это знакомство было для нашего поэта первою образовательной школой» [57].

Буржуазный демократ 20-х гг., воспитанник и пропагандист философии «просвещения», лично, а может быть и организационно-политически, связанный с деятелями «Общества Независимых», Д. А. Кашкин в условиях культурного одичания русской провинции николаевской поры производил впечатление воплощенного анахронизма. Но для Кольцова общение с Кашкиным было в силу этих самых особенностей духовного склада его учителя не только «первою *образовательною* школой», как полагал Де-Пуле, но и школой определенного политического воспитания, определенного идеологического закала.

Об этом с достаточной четкостью упоминал и сам Кольцов в одном из своих посланий к Кашкину:

Ты, помнишь, раз сказал: рассей
С души туман непросвещенья
И на крылах воображенья
Лети к Парнассу поскорей.

Формула «непросвещенье» в литературном языке начала века очень конкретна. Ее содержание примерно сводится к тому комплексу идей, который в одном из ранних писем Кольцова характеризуется как «суеверные предрассудки», противостоящие «возвышенным истинам» рационалистической философии. На борьбу с этими «предрассудками» звал и Кольцов в одном из своих ранних писем:

«Если судьба над кем хитрит несправедливо, ужель тому ей рабски покоряться! Нет, судьба определяет, а природа дает: следственно, не закон судьбы, а *закон природы для нас святее*... Что за обязанность сохранять до гроба вынужденную пред алтарем клятву — ничтожному рабу послушной быть рабыней! Хранить ему верность, любить его против желаний и вечно, вечно быть рабыней! И страшно и смешно!

«Любезный Вольтер, если бы все могли понимать твои возвышенные истины, что б был раб пред рабыней, рабыня пред рабом!.. Настанет час, заблещет, как летнее солнце, светильник истины; до той поры надо молчать и смеяться суеверным предрассудкам легковерных людей» [58].

Ни дата, ни адресат этого письма Кольцова не установлены. Между тем оно настолько еще свежо и непосредст-

венно, как человеческий документ, настолько примитивно и архаично фразеологически, настолько, наконец, противоречит своей опорой на «Вольтера» и «законы природы» обычным для писем Кольцова постулатам идеалистической философии, что дата его написания никак не может быть отодвинута за пределы 1830—1831 гг.

Это письмо для нас особенно интересно потому, что в нем Кольцов еще не успел идеологически перевооружиться, он еще явно в плену просветительной философии, он не сменил еще принципов «Общества Независимых» на отрешенные от политической злободневности шеллингианские откровения кружков А. П. Сребрянского и Н. В. Станкевича. В длительном общении с Д. А. Кашкиным, как носителем освободительных традиций философии просвещения, в беседах с ним о возможностях реализации новой «экономической действительности», ростки которой Кольцов недавно наблюдал и сам в степной Украине, утверждалось характерное для Кольцова с первых же лет его творчества неприятие официальной идеологии во всех ее формах, политическая неподкупность, отвращение к мещанскому бескультурью, к «идиотизму» застойного крепостного быта, крепло высокое представление о просветительных задачах его поэтической миссии, трезвое сознание прав на вольную и разумную трудовую жизнь.

Со слов сестры поэта, А. В. Андроновой, известно, что даже перед самой смертью Кольцова «мучила неосуществленная им мечта стать выше той сферы, которую поставила его судьба, — и сделаться *проповедником новых идей*»[59].

Эти «новые идеи» были новы, впрочем, не для самого Кольцова, а только для его окружения. Не зная их истока, Де-Пуле обозначал их как «крайние идеи Белинского», получившие выражение в его знаменитом письме к Гоголю[60]. Мы сейчас можем установить, что это «отрицание всех основ» крепостнической государственности, которое, по свидетельству Де-Пуле, Кольцов проповедывал «не стесняясь ни местом, ни временем», очень давнего происхождения.

Историческая прогрессивность в условиях крепостнической действительности первых идеологов русской мелкой буржуазии, с которыми был связан Кольцов «на заре туманной юности», не вызывает никаких сомнений[61]. Это хорошо понимал и сам поэт. Четкость его классового самосознания с предельной ясностью сказалась в его наивной

перефразировке литературного credo Рылеева — «Я не поэт, а гражданин»:

Пускай с насмешкою холодной
За скудный труд ругает свет;
Скажу с улыбкой благородной:
Я мещанин, а не поэт.

Эти строки датированы в одной из тетрадей Кольцова еще январем 1830 г.

Близость с Д. А. Кашкиным, идейно вооружив Кольцова, в известной мере подготовила его к встрече не только с Сухачевым, но и с Белинским, которого он впервые увидел в Москве в мае 1831 г. [62].

В своей статье «О жизни и сочинениях Кольцова», написанной пятнадцать лет спустя, Белинский свидетельствовал: «Кольцов принадлежал к числу тех страстных организаций, которые рано открываются для всех симпатий сердца, для любви и дружбы в особенности». И далее: «В 1831 г. Кольцов, по делам отца своего, приехал в Москву и через Станкевича приобрел там несколько новых знакомств, впоследствии довольно важных для него. В это время две или три пьески его были напечатаны с его именем в одном, впрочем, довольно плохом московском журнальце. Для Кольцова, еще не смевшего верить в свой талант, это было лестно и приятно» [63].

Для правильного понимания этих предельно кратких и нарочито обескровленных строк необходимо учесть, что в том самом «московском журнальце», в котором Кольцов впервые увидел свое имя в печати (речь шла о «Листке» кн. Д. В. Львова и П. И. Артемова), дебютировал, как поэт, и сам Белинский — своей фольклорно-романтической балладой «Конь». Но еще более существенным для понимания внешних и внутренних условий сближения Белинского с Кольцовым в 1831 г. является тот факт, что их встречи происходили в пору гонений на Белинского за его трагедию «Дмитрий Калинин». Антикрепостническая пьеса Белинского, запрещенная всего лишь за пять—шесть месяцев до появления Кольцова в Москве, еще продолжала волновать умы московской университетской молодежи. Видимо, Кольцов узнал о ней от знакомых Белинского в «Листке», а затем и от самого автора, настроения которого ему были в эту пору особенно близки и понятны. Общественно-политическая и литературно-эстетическая платформа «Дмитрия Калинина» целиком и полностью отвечала политико-просве-

тительным установкам, прокламировавшимся деятелями «Общества Независимых». Таким образом, и традиционное представление о молодом Кольцове, как о полуграмотном воронежском самородке, приобщение которого к подлинной культуре произошло якобы лишь в пору его вхождения в кружок А. П. Серебрянского, продолжалось в общении с Станкевичем и завершилось дружбой с Белинским, не выдерживает критики в самых своих основаниях.

1947.

ПРИМЕЧАНИЯ

Статья «А. В. Кольцов и тайное «Общество независимых» впервые была опубликована в «Ученых записках Саратовского государственного университета», т. XX, 1948, стр. 50—91. В третьей и пятой главе этой работы использованы были материалы статьи «Одесские вольнодумцы пушкинской поры», опубликованные мною в журнале «Былое», 1923, № 21, стр. 49—56, а в главах четвертой и седьмой некоторые страницы моей же статьи «Одеське «гнiздо змови» 1825 року» («Прапор марксизму», 1928, № 1, стр. 165—207). При перепечатке настоящей работы, писавшейся с 1920 по 1947 гг., сделаны были некоторые уточнения в главах первой и восьмой.

[1] Д. А. Кашкин первый обратил внимание на мальчика «невзрачной наружности, плохо одетого, но читающего и даже покупающего книги, и приласкал его. Кольцов решился довериться авторитету Кашкина. Он показал ему «Три видения» и другие свои стихи, просил сказать о них мнение и объяснить ему, как надобно писать стихи хорошо. Кашкин сказал откровенно своему собеседнику, что стихи его очень плохи; но чтобы писать стихи хорошие, для этого надобно познакомиться и со складом, — и тут же подал ему книгу «Русская Просодия», которую советовал хорошенько изучить и которую просил Кольцова принять в подарок; сверх того предложил ему свою библиотеку для безденежного пользования. Знакомство и дружба с Кашкиным имеет весьма крупное значение в жизни Кольцова» («А. В. Кольцов». Сочинение М. Де-Пуле, СПб., 1878, стр. 17). Подробнее о Д. А. Кашкине см. выше, стр. 189—193.

[2] «Сын отечества», 1836 г., 176, кн. XII (март), стр. 271. Имя В. И. Сухачева прикрыто было здесь лишь одной литерой «С...»

[3] «Алексей Васильевич Кольцов в его житейских и литературных делах и в семейной обстановке». Соч. Мих. Де-Пуле, СПб. <1878>, стр. 45—46.

[4] В «Листках из записной книжки Вас. Сухачева» опубликовано было, как устанавливает М. И. Малова в своей ценной работе «Рукописи и письма А. В. Кольцова», всего четыре стихотворения Кольцова: 1. «Мщение», 2. «Приди ко мне», 3. «Не мне внимать напев священный» и 4. «Разуверение» («Сквозь тучи черные сияла Когда-то мне моя звезда»). Последнее стихотворение сохранилось в тетради Кольцова с точною датою: «1828 г., ноября 23». При переносе его в свой сборник В. Сухачев изменил заголовок «Разуверение» на «Сетование» («Бюллетени рукописного отдела Пушкинского Дома», вып. IV,

1953, стр. 52—55). В автореферате диссертации Е. А. Мосоловой «Поэзия Кольцова» высказано было предположение, что отсутствие подписи Кольцова под его стихотворениями, включенными в сборник В. И. Сухачева, объясняется не желанием последнего присвоить себе чужие произведения, а традицией песенников и даже некоторых альманахов конца XVIII и начала XIX вв. печатать стихотворения без указания имен авторов («Поэзия Кольцова», Л., 1950, стр. 7—8).

[5] «Алексей Васильевич Кольцов». Соч. Мих. Де-Пуле, СПб., <1878>, стр. 45, примечание 1-е. См. публикацию М. Барановской и Е. Хмелевской «Белинский и Кольцов в переписке А. В. Станкевича и Я. М. Неверова с М. Ф. Де-Пуле» («Литературное наследство», т. 56, 1950, стр. 280—300).

[6] «Листки из записной книжки Василия Сухачева». М., 1830, стр. 1.

[7] Допрос этот впервые опубликован был в факсимильном издании «Дела Грибоедова» под редакцией П. Е. Щеголева, СПб., 1905, стр. 19—20; перепечатан в книгах П. Е. Щеголева «Исторические этюды», СПб., 1913, и «Декабристы», Л., 1926. Ценные уточнения в некоторые детали издания П. Е. Щеголева внесла М. В. Нечкина в работе «Следственное дело о А. С. Грибоедове», Академия наук СССР, М.—Л., 1945. Однако в своем обзоре документов процесса и в пересмотре литературы о нем М. В. Нечкина прошла мимо «вопросных пунктов» о Сухачеве. Политическая биография В. И. Сухачева осталась нераскрытой и в двух изданиях монографии М. В. Нечкиной «Грибоедов и декабристы», М., 1947 и 1950 гг.

[8] «Записки С. Г. Волконского», изд. 2-е, СПб., 1902, стр. 415; ср. П. Е Щеголев, А. С. Грибоедов и декабристы, СПб., 1905, стр. 39. В основу утверждений С. Г. Волконского, получивших отражение и в его отчетном докладе Верховной Думе тайного общества, легли фантастические измышления А. И. Якубовича. Новейший свод всех дошедших до нас слухов и показаний о существовании «Кавказского общества» см. в книге М. В. Нечкиной «Движение декабристов», т. II, 1955, стр. 110—112. Однако неожиданное заключение М. В. Нечкиной о том, что вопрос о существовании «Кавказского общества» якобы «остается открытым», представляется нам явно ошибочным.

[9] Н. К. Шильдер, Император Николай I, СПб., 1903, т. 2, стр. 20—27; П. Е. Щеголев, Грибоедов и декабристы, СПб., 1905, стр. 37—38. В. С. Иконников, «Крестьянское движение в Киевской губернии в 1826—1827 гг.» («Сборник статей, посвященных В. И. Ламанскому»; т. 2, СПб., 1908, стр. 700—701); С. Иванова, Грибоедов и Ермолов под тайным надзором Николая I («Литературное наследство», т. 47—48, М., 1946, стр. 241—242); Секретная записка М. Я. Фон-Фока о Ермолове и Грибоедове от 24 октября 1826 г. («Литературное наследство», т. 60, кн. I, стр. 485—486).

[10] Историю ареста В. И. Сухачева мы восстанавливаем на основании «Дела о задержании в городе Ростове по сумнению в принадлежности к тайному обществу уволенного из сословия Бендерского малороссийского общества Василии Сухачеве». Дело это обнаружено нами в архиве новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, часть секретная, 1826 г., № 12, на 124 листах. Первые сведения о нем опубликованы в нашей работе «Одесские вольнодумцы пушкинской поры» («Былое», 1923, № 21, стр. 49—56).

[11] В показаниях от 4 марта 1826 г. В. И. Сухачев признавал,

что предписание ген. Ермолова захвачено было им «нечаянно» и «без всякого умысла» (возможно, просто, как автограф популярного человека) из «Исполнительной экспедиции», в которой он в 1825 г. работал.

[12] Акт допроса В. И. Сухачева 1 марта 1826 г. в Таганроге, сохранившийся в одном из дел бывш. Государственного архива (1-В., № 155) полностью был опубликован в работе П. Е. Щеголева «Грибоедов и декабристы», СПб., 1905, стр. 40—44 (Перепечатано в «Исторических этюдах», 1913 г., и в сб. «Декабристы», Л., 1926). Констатируя большой «бытовой и общественный интерес» дела Сухачева, почтенный исследователь не располагал даже самыми основными данными о нем и никак не ассоциировал личности организатора «Общества Независимых» с позднейшим знакомцем Кольцова.

Справка о В. И. Сухачеве в словаре «Деятелей революционного движения в России» (т. 1, М., 1927, стр. 175) основана была на еще очень скудном тогда материале о нем в нашей статье «Одесские вольнодумцы пушкинской поры» («Былое», 1923, № 21).

[13] Дело о Сухачеве, лл. 18—19.

[14] Дело о Сухачеве, лл. 30—31.

[15] Дело о Сухачеве, лл. 68—73. Об оде «Вольность» М. К. Аристов отмечал, что «оная писана моею рукою с рукописной для одного любопытства».

[16] Протоколы допросов Г. С. Радулова от 3 и 10 апреля 1826 г. (Дело о Сухачеве, лл. 63—67).

[17] Дело секретной канцелярии новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, 1826, № 12, л. 52.

[18] Архив новороссийского генерал-губернаторства, дело о Сухачеве, лл. 83—84.

[19] Там же. Орфография и пунктуация этой безграмотной резолюции сохраняется лишь частично.

[20] А. Скальковский, Первое тридцатилетие истории города Одессы, Одесса, 1837, стр. 229.

[21] П. Струве, Крепостное хозяйство, СПб., 1913, стр. 125; П. И. Лященко, Очерки аграрной эволюции России, т. I, изд. 3-е, Л., 1924, стр. 126 и сл.

[22] «Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства» (В. И. Ленин, Крестьянская реформа и пролетарски-крестьянская революция, Соч. Ленина, изд. 4-е, т. 17, стр. 95).

[23] «Записки кн. С. Г. Волконского», изд. 2-е, СПб., 1902, стр. 398—400. Впечатления буржуазного «вольного быта», во власти которого оказался в Одессе С. Г. Волконский, то же действие оказывали и на многих других русских либералов 20-х гг., бывавших на юге. Напомним строки Пушкина в «Евгении Онегине» об Одессе, где именно в этом смысле «все Европой дышит, веет», и его поздравление С. И. Тургенева в 1821 г. с «прибытием из Турции чуждой в Турцию родную»: «С радостью приехал бы я в Одессу побеседовать с Вами и подышать чистым европейским воздухом» (Полн. собр. соч. Пушкина, т. XIII, стр. 31).

[24] В. И. Ленин, характеризуя в «Развитии капитализма в России» общие «условия, которые требуются для капиталистического производства», отмечал: «Требовался класс людей, привыкших к работе по найму; требовалась замена крестьянского инвентаря помещичьим; требовалась организация земледелия, как и всякого другого торгово-про-

мышленного предприятия, а не как господского дела» (Соч. В. И. Ленина, изд. 3-е, т. III, стр. 141).

[25] «Записки кн. С. Г. Волконского», изд. 2-е, стр. 407—410. Неслучайно, что в рядах Южного общества, т. е. как раз в рядах левого фланга декабристов, было немало и уроженцев Одессы и людей, с детских лет с ней связанных — мы имеем в виду, например, братьев А. В. и И. В. Поджио,— сыновей одесского секунд-майора (из итальянских «подлекарей»), Н. И. Лорера, сына одного из первых одесских поселенцев, В. Л. Давыдова — одесского домовладельца из разорившихся приморских помещиков, С. Н. и Н. Я. Булгари — сына и племянника известного одесского гетериста, воспитанника Ришельевского лицея А. О. Корниловича и многих других.

[26] «Архив князя Воронцова», т. 8, М., 1876, стр. 476 (Подлинник на французском языке).

[27] Архив министерства внутренних дел. Дела особенной канцелярии 1819 г., № 127, лл. 1—3. Впервые опубликовано нами в исследовании «Одеське гниздо змови 1825 року» («Прапор марксизму», Харків, 1928, № 1, стр. 165—207).

[28] «Записки имп. общества сельского хозяйства Южной России», 1848, стр. 288—289.

[29] «Архив князя Воронцова», М., 1893, т. 39, стр. 42; ср. Н. Н. Фирсов, Исторические характеристики и эскизы, Казань, 1922, т. 1, стр. 184—187.

[30] Украинские народные песни, изд. М. Максимовичем, М., 1834, ч. 1, стр. 107.

[31] Пользуемся формулой В. Н. Майкова, раскрытой в его известной рецензии на новое издание «Стихотворений А. В. Кольцова». СПб., 1846 («Отечественные записки», 1846, кн. XI).

[32] Эту библиотеку В. И. Сухачев называет в письме от 9.VI.1826 года к графу М. С. Воронцову «единственным своим сокровищем, которое тщательно я собирал 12 лет».

[33] Круг чтений В. И. Сухачева получил отражение даже в его официальных просительных письмах: «Благодеяния вашего сиятельства ко вверенному от монарха народу достойны величайших жертв,— писал он, например, 9 июня 1826 г. графу Воронцову.— Слава имени вашего, соделавшаяся незабвенною в памяти не только Россиян, но и всей Европы, ободряет меня просить милостивой защиты в храме вашего великодушия.... Сиятельнейший Граф! Монарх вручил вам жезл правосудия для поражения пороков и пресечения злоупотреблений; праведное ваше исполнение власти, грозной для злодеев, должно приводить в ужас своевольство, гибельное для общественного благоустройства; но сия самая власть, благосклонная к невинностраждущим, освобождающая из оков заключенных в темнице узников, открывает мне путь в светилище ваших милостей».

[34] См. справку В. Н. Рогожина во втором издании «Опыта российской библиографии», СПб., 1905. ч. IV, стр. 163. В числе произведений рукописной нелегальной литературы у В. И. Сухачева был и неизвестный нам трактат «О несправедливом истреблении воинства», связанный, возможно, с операциями русских войск на Кавказе.

[35] «Сын отечества», 1819, № 48, стр. 86. Тема «Велизария» очень характерна для просветительной литературы конца XVIII и начала XIX в. Особенно популяризировал ее роман «Велизарий» Мармонтеля, русский перевод которого издал В. С. Сопиков («Велизер, соч. г. Мармонтеля, 2 части, с картинкою», СПб., 1803). Один

из мотивов романа увековечен в стихах Мерзлякова «Велизарий» («Малютка, шлем нося, просил» и пр.). Позднейшая драматическая обработка «Велизария» (драма Шенка, перевод П. Г. Ободовского) с 31 октября 1839 г. вошла в репертуар В. А. Каратыгина («Репертуар русского театра», т. II, СПб., 1839, хроника, стр. 41—43).

[36] Эта справка позволяет установить какую-то связь С. Т. Спасского с известным Г. И. Спасским, редактором-издателем «Сибирского вестника», выходившего с 1818 по 1824 г. Песня «Винят меня в народе», сочинителем которой назвал себя С. Т. Спасский, пользовалась большой известностью. Ее текст вошел в «Новейший полный и всеобщий песенник» (СПб., 1818) с характерной отметкой: «Сила сердца над рассудком. Песня сия по приятности своего голоса в большом употреблении» (стр. 72). Список этой песни мы находим и в Тригорском альбоме П. А. Осиповой, с датой: «Альтона 9 августа 1810 г.» и подписью: «От автора» («Пушкин и его современники», вып. 1, 1903, стр. 158). В бумагах Рылеева, среди ранних его стихотворений 1817—1819 гг. сохранились стишки «Кто сколько не хлопочет, чтоб сердце защитить» и пр., с подзаголовком: «На голос, «Винят меня в народе» (К. Ф. Рылеев, Полное собр. стихотворений, под редакцией Ю. Г. Оксмана. Л., 1934, стр. 332). Возможно, что и текст, найденный у Сухачева, являлся переделкой известной песни, чем и объясняется подпись С. Т. Спасского.

[37] П. И. Борисов, сын обер-офицера, безземельного дворянина Слободско-украинской губернии, бывшего преподавателя Черноморского кадетского корпуса, дважды в петербургской следственной комиссии удостоверял, что начало его общественно-политической работе положено было вступлением его в 1818 г. в Одессе «по предложению французского купца Ольвиера» в масонскую ложу «Друзей природы» («Восстание декабристов», т. V, стр. 18—19). Отказавшись потом от этих показаний, П. И. Борисов писал, что тайное общество «Друзей природы» основано было им самим и имело целью «Правила Пифагоровой секты», т. е., как он спешил разъяснить, усовершенствование себя в науках, художествах и добродетели». Эти общепросветительные установки соединялись с конкретными лозунгами борьбы за избавление от «тиранства» всякого рода, «за освобождение всех славянских племен от самовластия», за «очищение религии от предрассудков», «за введение в России чистой демократии, уничтожающей не токмо сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия и сливающей их в одно сословие — гражданское» («Восстание декабристов», т. V, стр. 52—53, 88 и сл.).

[38] Нам не удалось, к сожалению, обнаружить ни в одесских архивах этой поры, ни в позднейших печатных материалах никаких данных о Шкляревиче, которого Сухачев назвал «исправляющим должность профессора в Ришельевском лицее». В письме к графу Воронцову от 9.VI-1826 г. В. И. Сухачев характеризовал свои рукописи как «плоды безрассудной молодости, могущие случиться со всяким молодым человеком, воспитанным в таком городе, где существует университет или другие учебные заведения». Эти строки можно толковать как признание большой роли Шкляревича в политическом воспитании деятелей «Общества Независимых».

[39] Письмоводитель Одесской градской полиции М. Н. Леонтьев 20 декабря 1823 г. был определен столоначальником во II отделение канцелярии новороссийского генерал-губернатора (Архив новороссийского генерал-губернаторства, дело I отделения, 1824 г., № 57,

лл. 7—8). В 1826 г. он был уже титулярным советником и, как мы полагаем, очень содействовал своими связями наиболее выгодному для всех обвиняемых обороту дела Сухачева. О Пушкине и Гутчинсоне см. статью Л. П. Гроссмана («Временник Пушкинской комиссии», Академия Наук СССР, т. VI, 1941, стр. 414—419).

[40] Список «Вольности», обнаруженный в бумагах члена «Общества Независимых» М. К. Аристова при его аресте в Тифлисе 3 апреля 1826 года, в деле не сохранился. В опись бумаг М. К. Аристова он вошел под названием «Ода на свободу» и сопровождался отметкой: «сочинение, как говорят, Александра Пушкина». В показаниях М. К. Аристова о пушкинской оде пояснялось: «Оная писана моею рукою с рукописной для одного любопытства». Судя по тому, что все бумаги, отобранные у М. К. Аристова, относились ко времени его пребывания в Одессе или к поездке до Редута-Кале, список этот сделан был не позже лета 1824 г., т. е. он совпадает с временем пребывания самого Пушкина в ссылке в Кишиневе и в Одессе. Другой список «Вольности» (под названием «Ода вольности») был обнаружен в Одессе в 1824 г. в бумагах масона Анжело Галеры. См. об этом заметку В. В. Стратена «Одесский список оды «Вольность» (Сб. «Пушкин», под ред. М. П. Алексеева, Одесса, 1926, стр. 1—4).

[41] «Из пушкинианы П. И. Бартенева». Публикация и комментарии М. А. Цявловского («Летописи Государственного литературного музея», т. 1, М., 1936, стр. 496).

[42] Материалы о Руже де Лиле (1760—1836) — создателе марсельезы см. в сводке Л. Тюаня «La Marseillaise et Rouget de Lille» («Merkure de France» 15.XII 1923, р. р. 600—625). Признательность поэту за марсельезу от имени нации была выражена в особой характеристике его, вошедшей в приказ Директории от 1 вандемьера V года (22.IX-1796): «Гражданин Руже де Лилль, истинный Тиртей Франции по силе своей марсельской песни, которой он является композитором и поэтом одновременно, песни, которая дала столько побед Республике, которая так дорога нашим воинам и которая заставляет врагов наших и бояться ее и петь ее». См. Б. В. Томашевский, Пушкин и французская революционная ода («Известия Отделения литературы и языка АН СССР», 1940, № 2, стр. 27).

[43] Функция мотивов марсельезы в оде «Вольность» была примерно та же, что и звуков наполеоновского гимна в одной из строф VIII части «Германии» Гейне:

Als ich den verschollenen Liebesruf
Das «Vive l'empereur!» vernommen

Ср. вольный русский перевод:

Когда зазвучало «Vive l'empereur»,
Как страстный призыв былого.

[44] Потеря этого адреса относится, видимо, к концу пятидесятых годов, когда положено было начало комментаторской легенде о том, что под «возвышенным галлом» следует разуметь Андрея Шенье. Эта легенда была закреплена в печати в форме лаконической справки Н. В. Гербеля в берлинском сборнике «Стихотворений А. С. Пушкина», не вошедших в последнее собрание его сочинений» в 1861 г. Из этого сборника справка о Шенье перешла во все позднейшие издания Пушкина, в которых бытовала до 1917 г., когда Б. В. Томашевский доказал ее несостоятельность простым сопоставлением дат

написания оды «Вольность» и вхождения в литературный оборот политической лирики А. Шенье («Пушкин и его современники», вып. 28, П., 1917, стр. 70—72). Очень интересна по методам аргументации и богатству привлеченного материала была гипотеза самого Б. В. Томашевского, впервые заявленная им в печати в 1917 г. и развернутая в 1940 г. в монографии «Пушкин и французская революционная ода». Заключение этой работы сводилось к тому, что поэтом, скрытым под формулой «возвышенного галла», был Экушар Лебрен («Известия отделен. литературы и языка АН СССР», 1940 г., № 2, стр. 22—55). Выводы Б. В. Томашевского приходится, однако, отвергнуть и не только потому, что имя автора марсельезы более наглядно дешифрует пушкинский текст и исключает потребность дальнейших разысканий. Ассоциация «возвышенного галла» с Лебреном несостоятельна уже в силу того, что имя последнего ничего не говорило тем широким кадрам читателей, к которым «Вольность» адресовалась. Сам же Пушкин не настолько этим именем дорожил (не случайно же не дошло до нас ни одного упоминания о Лебрене даже в его переписке), чтобы искусственно его популяризировать, да еще в такой неподходящей для этого форме. Большой и ничем не мотивированной бестактностью была бы и политическая канонизация Лебрена в 1817 г. в оде «Вольность», как возвышенного и благородного поэта, когда его имя осмеянное во всей передовой печати вошло уже в известный «Dictionnaire des girouettes» 1815 г. как имя беспринципного и продажного литературного хамелеона.

[45] «Гроза царей, свободы гордая певица» — революция; «возвышенный галл» — поэт и композитор Руже де Лиль; «славные беды» — начало австрийской интервенции, известие о которой послужило поводом для создания Руже де Лилем в 1792 г. революционно-патриотической песни; «гимны смелые» — первоначальное название марсельезы «Hymne de Marseillais»; «Тираны мира, трепещите» — «Tremblez, tyrans!» — ходовой революционный лозунг, учтенный в поэтике марсельезы (см. строфа 4, стр. 1).

[46] Б. В. Томашевский, цитируя это двойное показание в пользу Руже де Лиля, отмечает: «Со свидетельством С. Д. Полторацкого, современника и приятеля Пушкина, следует считаться, однако при отсутствии каких бы то ни было аргументов принять это мнение нельзя» («Известия Отделен. литературы и языка АН СССР». 1940, № 2, стр. 29). Как полагает Б. В. Томашевский, Руже де Лиль «не отвечает приметам возвышенного галла», потому... что он «является автором, собственно говоря, одной только марсельезы. Все остальное не возвышается над посредственностью» (там же, стр. 28). Возможно, что наличия в литературном формуляре «одной только марсельезы» и недостаточно для высокой оценки Руже де Лиля, но Пушкин, видимо, в этом отнощении был не так строг, как Б. В. Томашевский.

[47] А. Скальковский, Опыт о торгово-промышленных силах г. Одессы, 1839, стр. 61.

[48] А. Шебунин, Россия на Ближнем Востоке, Л., 1926, стр. 37.

[49] Записка о Керчи. Приложение к «Воспоминаниям Ф. Ф. Вигеля». М., 1893, стр. 45 (Курсив наш).

[50] П. В. Анненков, Пушкин в Александровскую эпоху, СПб.,

1874, стр. 258—259. Ср. «Материалы для биографии Пушкина». Лейпциг, 1875, стр. 35—37.

[51] А. В. Флоровский, Из Одесской старины. Одесса, 1912, стр. 14. Ср. «Русская старина», 1904, кн. 2, стр. 358.

[52] «Переписка Пушкина», т. 1, СПб., 1906, стр. 104. Об Одессе как центре политического сыска 20-х гг. см. показания Пестеля («Восстание декабристов», т. IV, 1927, стр. 84), записку секретного полицейского агента А. К. Бошняка («Красный архив», т. 9, М., 1925, стр. 209), воспоминания провокатора И. В. Шервуда («Исторический вестник», 1896, кн. 1, стр. 73—74).

[53] О его связях с Одессой см. выше, стр. 172—173.

[54] Дело о Сухачеве, л. 110. Ср. письмо В. И. Сухачева к гр. М. С. Воронцову из таганрогской тюрьмы, опубликованное нами в сб. «Декабристы. Неизданные материалы и статьи». Под редакцией Ю. Г. Оксмана и Б. Л. Модзалевского. М., 1925, стр. 78—80.

[55] Дело о Сухачеве, л. 110.

[56] Полицейский надзор снят был с В. И. Сухачева в 1831 г. Его судьба после этого нам неизвестна. Оба его товарища, между тем, преуспевали по службе в Тифлисе, 6 июля 1833 г. главноначальствующий в Грузии генерал-адъютант барон Розен писал о них в III отделение: «Радулов ныне служит в канцелярии моей секретарем, а Аристов чиновником особых поручений при Грузинском гражданском губернаторе; первый из них после сего происшествия за отличие по службе получил уже два чина: коллежского асессора и надворного советника, а последний также за отличие получил денежную награду. Семилетнее наблюдение сих чиновников, отличная нравственность их и полезная служба, по мнению моему, делают излишним дальнейший надзор, которому они имели несчастье подвергнуться, а потому покорнейше прошу Ваше сиятельство исходатайствовать Всемилостивейшее разрешение от дальнейшего за ними присмотра, ибо неукоризненное поведение их доныне может служить ручательством, что они и впредь не будут принадлежать к числу неблагонадежных людей». (Дело III Отделения собств. его величества канцелярии, 1-я экспедиция, 1833 г., № 214 «Об освобождении от присмотра надзорного советника Радулова и губернского секретаря Аристова за переписку с Василием Сухачевым», л. 2). Прежде чем стать чиновником особых поручений при Тифлисском гражданском губернаторе, М. К. Аристов работал вместе с Радуловым и Сухачевым в Исполнительной экспедиции Верховного управления Грузии и в Управлении «казенной нефти» в Баку (Дело канцелярии Новороссийского генерал-губернатора, 1826 г., № 12, л. 58). Отношением от 31.XII-1833 г. III Отделение уведомило барона Розена о согласии Николая I на его представление. В 1839 г. Е. С. Радулов еще числился чиновником особых поручений при главноуправляющем в Грузии («Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1839 г., ч. II, стр. 440). В списках 1840 г. его имя уже не значится.

[57] М. Де-Пуле, А. В. Кольцов, СПб., 1878, стр. 18—19. Некоторые дополнительные мемуарные данные о Кашкине и его лавке см. в книге В. А. Тонкова «А. В. Кольцов. Жизнь и творчество», изд. 2-е, Воронеж, 1950, стр. 31 и 386.

[58] Полное собрание сочинений А. В. Кольцова, под редакцией и с примечаниями А. И. Лященко, изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 159. Это письмо, без даты, отнесено редакцией к 1836 г. предположительно, без всякой аргументации. Самое противопоставление «законов

природы» «суеверным предрассудкам легковерных людей» в письме Кольцова очень близко монологу Дмитрия Калинина в одноименной запрещенной драме Белинского: «Когда законы противны правилам природы и человечества, правам самого рассудка, то человек может и должен нарушать их... Неужели людей соединяют ничтожные обояды, а не любовь?» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. I, 1953, стр. 435).

[59] П. В. Малыхин, Кольцов и его неизданные стихотворения, «Отечественные записки», 1867, № 2 (февраль), стр. 509.

[60] Этой страстью Кольцова, «не стесняясь ни местом, ни временем, к пропаганде крайних идей Белинского, выразившихся, например, в известном письме его к Гоголю, идей, которые в устах Кольцова переходили в тупое (чтоб не сказать дикое) отрицание всех основ русской жизни», реакционно настроенный Де-Пуле объясняет боязнь общения с поэтом воронежских обывателей (М. Де-Пуле, А. В. Кольцов, 1878 г., стр. 153).

[61] Абстрактное, внеисторическое представление о формах мелкобуржуазной идеологии положено было в основание разбора поэтической продукции Кольцова, как «представителя городского мещанства», в книге П. М. Соболева «А. В. Кольцов и устная лирика», Смоленск, 1934. Методологическая несостоятельность этого труда обнаруживается не только в его попытках ограничить узкой сферой провинциального «городского мещанства» поэтические горизонты Кольцова, но и в непонимании социально-политической функции идеологов этого самого «мещанства» в разные исторические эпохи. Много ценных замечаний о «прогрессивных, оппозиционных, демократических элементах» лирики Кольцова сделано было в статье Н. К. Пиксанова, в сб. «А. В. Кольцов, Избранные сочинения», Воронеж, 1936, стр. 13—24. См. его же общий очерк «Кольцов» в академической «Истории русской литературы», т. XII, М.—Л. 1955.

[62] «Летопись жизни Белинского», М., 1924, стр. 16. Мы имеем в виду лишь первые встречи Кольцова с Белинским, когда оба они являлись литературными дебютантами и находились примерно в равных условиях. Характер этих отношений существенно изменился при их новой встрече через пять лет в Москве, когда Белинский занимал уже ведущее положение не только в кружке Станкевича, но и в «Телескопе» и «Молве», явившись для Кольцова уже не просто добрым знакомым, а идейным руководителем, а в известной мере и литературным воспитателем.

[63] Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. IX, 1955, стр. 504 и 508.

ПИСЬМО БЕЛИНСКОГО К ГОГОЛЮ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ

Письмо Белинского к Гоголю от 3 (15) июля 1847 г.— литературно-политический документ, который В. И. Ленин безоговорочно признал «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати»[1], — до сих пор остается неизученным. Больше того, в течение ста лет мы не располагали и его точным, критически-установленным текстом. Нам неизвестны ни судьба оригинала письма, уничтоженного или затерянного самим Гоголем вскоре же после его получения[2], ни происхождение и степень достоверности тех его копий, которые с начала 1849 г. получили широкое распространение по всей стране как политическое завещание великого критика.

При жизни Белинского письмо было известно только самым близким к нему людям, но хождения и среди них не имело. Белинский в этом отношении проявил исключительную осторожность, хорошо понимая, чем он рискует в случае обнаружения письма агентурой государственной охраны. Единственной копией документа и была поэтому в 1847—1848 гг. только та, которую сделал он сам для себя еще в Зальцбрунне, перед отправкою письма адресату.

О всех условиях и даже о самой технике трехдневной работы Белинского над письмом к Гоголю до нас дошел обстоятельнейший рассказ такого внимательного и авторитетного очевидца, как П. В. Анненков, один из ближайших друзей критика этой поры.

По его свидетельству, «Белинский набросал сперва письмо карандашом на разных клочках бумаги, затем переписал его четко и аккуратно набело и потом снял еще с го-

тового текста копию для себя. Видно, что он придавал большую важность делу, которым занимался, и как будто понимал, что составляет документ, выходящий за рамки частной, интимной корреспонденции»[3].

Это трезвое понимание значимости письма как политического и литературного документа, это сознание своей исторической ответственности за него и обусловило сохранение Белинским копии его обращения к Гоголю даже в тот момент, когда, в ожидании обыска и ареста, он предал в начале 1848 г. огню большую часть своего архива. Именно эта копия письма, отданная им, вместе с подлинником ответа на него Гоголя, в чьи-то очень надежные дружеские руки, и явилась после смерти критика первоисточником всех тех многочисленных списков «письма Белинского к Гоголю», массовое распространение которых сообщило документу частной переписки функцию политической прокламации.

1.

В пределах 1847—1848 гг. исследователь может искать только слушателей письма, ибо о читателях его еще не могло быть и речи.

Прочитав свое обращение к Гоголю от 3 (15) июля 1847 г. П. В. Анненкову, Белинский через две недели в Париже уже читал его А. И. Герцену. Авторитетный голос последнего сразу же обеспечил и признание письма как основного идеологического документа эпохи: «Это гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его»,—сразу же формулировал свои впечатления А. И. Герцен[4]. Тогда же Белинский, видимо, прочел в Париже свое письмо и И. С. Тургеневу. Тогда же он познакомил с ним Н. И. Сазонова и М. А. Бакунина. Впечатлениями двух последних от письма к Гоголю вдохновлен был, как мы полагаем, и тот разговор, о котором передает в «Былом и думах» Герцен, вспоминая о проводах Белинского из Парижа в Петербург:

«Слезы стояли у меня в горле, и я долго шел молча. когда возобновился несчастный спор <С Бакуниным и Сазоновым>, раз десять являвшийся sur le tapis <на очереди>. «Жаль, — заметил Сазонов, — что Белинскому не было другой деятельности, кроме журнальной работы, да еще работы подцензурной». — «Кажется, трудно упрекать именно его, что он мало сделал»,— отвечал я.— «Ну, с

такими силами, как у него, он при других обстоятельствах и на другом поприще побольше сделал бы»[5].

То, что не мог сделать сам Белинский, связанный по рукам и ногам соображениями самой элементарной политической осторожности, попытался осуществить в своем учете и популяризации некоторой части материалов «Письма к Гоголю» не кто иной, как М. А. Бакунин. Мы имеем в виду известное выступление Бакунина на митинге в Париже 17 (29) ноября 1847 г. по случаю семнадцатилетия годовщины польского восстания. Эта речь, опубликованная в органе Ледрю-Роллена и Луи Блана «La Rétorme», переведенная в том же году на немецкий и чешский языки, ставшая объектом оживленных прений во французской палате депутатов и послужившая поводом для высылки Бакунина из Парижа, вызвана была к жизни и получила широкое политическое звучание прежде всего благодаря той информации, которую привез из России Белинский. Дело было не только в свежести, точности и актуальности материалов устной информации Белинского, а в том осмыслении, которое этот материал получал в его письме к Гоголю как политическом документе.

Развитием формулировок Белинского об «огромной корпорации разных служебных воров и грабителей», в которую выродился государственный аппарат Российской империи, явились страницы Бакунина о «грандиозной, обдуманной и научной, если так можно выразиться, организации беззакония, варварства и грабежа», как естественного следствия загнивавшего крепостного правопорядка.

«Внутреннее положение страны из рук вон плохо. Это — полная анархия при всей видимости порядка», — отмечал Бакунин, прокламируя от имени русской революционной общественности «приближение бури, недалекой страшной бури, которая многих пугает, но которую нация ждет с радостью». — «Под покровом строжайшего иерархического формализма скрыты отвратительные язвы; наша администрация, наша юстиция, наши финансы — сплошная ложь, придуманная для обмана заграничного общественного мнения, для успокоения внутренней тревоги монарха, тем охотнее поддающегося этой лжи, что действительное состояние дел его страшит. Словом, это грандиозная, обдуманная и научная, если так можно выразиться, организация беззакония, варварства и грабежа. Ибо все слуги царя от занимающих самые высокие посты до самых мелких

уездных чиновников разоряют и обкрадывают страну, совершают вопиющие беззакония, самые отвратительные насилия, без малейшего стыда, без малейшего страха, открыто, среди бела дня и с беспримерной наглостью и грубостью, не давая себе даже труда скрывать свои преступления от негодования публики, настолько они уверены в своей безнаказанности... Власть — чуждая и враждебная стране — обречена на близкое падение. Везде у нее враги. Сюда относится огромная масса крестьян, которые уже не ждут воли от царя, и восстания которых, с каждым днем учащающиеся, показывают, что они устали ждать»[6].

Вся эта страница являлась популяризацией одного из центральных тезисов «Письма Белинского к Гоголю» — о крепостной России как «стране, где нет ни только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами, и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью»[7].

Правда, Бакунин пытался идти дальше Белинского, наивно усматривая в России 1847 г. наличие всех признаков предреволюционной ситуации, но даже этот ложный вывод покоился на посылках того же «Письма к Гоголю», от которого он в своей концепции отправлялся: «О, поверьте, в России нет недостатка в революционных элементах, — заверял Бакунин. — Она набирается духа; она проникается страстью, она подсчитывает свои силы, осознает себя, концентрирует свою энергию, и не далек тот момент, когда разразится буря, великая и для всех нас спасительная буря»[8].

Боязнь политической компрометации Белинского не позволяла Бакунину даже обиняками связать пафос своего оптимизма с информацией о русских делах в письме Белинского к Гоголю. Насколько же эффективно было воздействие этого идеологического документа на его первых слуша-

телей, мы можем судить не только по речи Бакунина, но и по некоторым писаниям Тургенева и Герцена.

Еще в Зальцбрунне, под непосредственным воздействием общения в июне и июле 1847 г. с Белинским, Тургенев отказывается от политически почти нейтральной бытописи первых очерков «Записок Охотника» и создает самые резкие из антикрепостнических новелл этого цикла — «Бурмистр», «Контора», «Два помещика». Эти рассказы, с их обнаженной установкой на дискредитацию правящего класса, получают окончательную художественную отделку в Париже[9] в августе и сентябре 1847 г., т. е. именно в ту пору, когда письмо Белинского к Гоголю как программа-минимум русской демократической общественности привлекает к себе самое пристальное внимание и Герцена, и Бакунина, и Сазонова, и Анненкова.

«Письмо Белинского к Гоголю — вся моя религия», — заявлял впоследствии Тургенев, демонстративно подчеркивая в споре с К. С. Аксаковым свою солидарность с политическими и литературными установками «неистового Виссариона»[10]. В этом отношении не случайны были, конечно, и элементы пародической интерпретации «Выбранных мест из переписки с друзьями» в «Двух помещиках» и позднейшая отметка в печатном тексте «Бурмистра» о времени его написания — «Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.», сделанная, вероятно, только для того, чтоб подчеркнуть ее связь с точной датой письма Белинского к Гоголю: «15 июля 1847 г. Зальцбрунн»[11].

Еще более разительно и прямолинейно было использование одного из ведущих тезисов Зальцбруннского письма Белинского — о религиозном индифферентизме русского крестьянина — в статье Герцена «La Russie», опубликованной впервые в органе Прудона «La voix du Peuple» в конце 1849 г.:

«Русский крестьянин суеверен, но безразличен в религиозном смысле, — писал Герцен, — он в точности исполняет все обряды, всю внешнюю сторону культа, чтобы в этом отношении совесть была чиста; в воскресенье он идет к обедне, чтобы остальные шесть дней не думать о церкви. Священников своих он презирает, как лентяев и жадных людей, которые живут на его счет. Во всех непристойных народных рассказах и уличных песнях предметом насмешки и презрения служат всегда поп и дьякон или их жены»[12].

Вся эта тирада является популяризацией (видимо, по памяти, без сверки с рукописью) конца четвертого и начала пятого абзаца письма Белинского к Гоголю: «Это по натуре глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности... Неужели вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью, попову дочку и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?».

Эти строки, ожившие впоследствии в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» («Скажите, православные, Кого вы называете Породой Жеребячьею» и пр.), заимствованы были Герценом из письма Белинского к Гоголю столь же откровенно [13], как и сентенции великого критика из этого же документа о печальной судьбе писателей, «искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности». Эти сентенции Белинского развиты были в 1851 г. в трактате Герцена «О развитии революционных идей в России» («Du dévelloppement des Idées révolutionaires en Russie»):

«Нет славы, нет репутации, которая могла бы вынести смертельное и унизительное прикосновение правительства,— писал Герцен.— Все, умеющие читать в России, ненавидят правительство, все же любящие его ничего не читают или же читают лишь французские пустячки. Пушкин, самая большая русская знаменитость, был одно время оставлен публикой за сделанное им после холеры приветствие Николаю и за два политических стихотворения. Гоголь, кумир русских читателей, возбудил глубочайшее презрение к себе за одну холопскую брошюру, слава Полевого померкла, как только он заключил союз с правительством. В России не прощают ренегатам» [14].

Мы только что напомнили об использовании письма Белинского к Гоголю в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Не менее знаменательна опора на общую концепцию письма Белинского и на основные его формулировки в той записке о разложении русской армии, над которой работал весною 1855 г. молодой Л. Н. Толстой в осажденном Севастополе: «У нас нет войска, а толпы угне-

тенных дисциплинированных рабов, повинующихся грабителям и наемникам, — писал он. — Толпы эти не войско, потому что в нашем войске нет ни преданности к вере, к царю и к отечеству, слова, которыми так часто злоупотребляют, ни рыцарской отваги, ни военной чести, а есть с одной стороны — дух терпения и подавленного ропота, с другой — дух жестокости, угнетения и лихоимства». Далее, характеризуя основной командный состав, штаб и оберофицеров, Толстой утверждает: «Это люди без мысли о долге и чести, без малейшего желания блага общего, люди, составляющие между собой огромную корпорацию грабителей, помогающих друг другу, одних — начавших уже поприще воровства, других — готовящихся к нему, третьих — прошедших его, — люди, составившие себе в сфере грабежа известные правила и подразделения — люди, считающие честность глупостью, понятие долга — сумасшествием, заражающие молодое и свежее поколение этой правильной и откровенной системой корысти и лихоимства. Люди, возмущающие против себя и вселяющие ненависть в низшем слое войска»[15].

Все эти положения являлись в записке Толстого развитием конкретных политических тезисов письма Белинского о крепостной России, как стране, где «нет никаких гарантий для личности, чести и собственности», а «есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». В своей записке о русской армии Л. Н. Толстой усваивает не только установочные положения письма Белинского, особенности его аргументации, его фразеологию, его патетику, но и самый метод обличительства, тот метод, который впоследствии определится в произведениях Толстого как «срывание всех и всяческих масок».

2.

Письмо Белинского к Гоголю, как политический и литературный документ, формулировавший устами революционного демократа национальные задачи широкого фронта всей антикрепостнической общественности в России, полностью подтверждало и оправдывало общие заключения Ф. Энгельса о русских делах в его обзоре мировой общественно-политической конъюнктуры накануне 1848 г.

Исходя из признания во всем мире в течение 1847 г. наличия «целого ряда изменений и движений, подобных которым мы не найдем ни за один из последних годов»,

Ф. Энгельс подчеркивал симптомы «ослабления дворянства в интересах буржуазии» даже в России, стоящей накануне «создания свободного крестьянского класса». Эти социальные сдвиги он ставил в связь с потребностями «промышленности», развивающейся «колоссальными шагами» и превращающей «даже русских бояр все более и более в буржуа».

Характерно, что, даже не подозревая о существовании Зальцбруннского письма, Ф. Энгельс с исключительною четкостью определял не только генезис освободительных формулировок Белинского, но и исторически обусловленную неполноту их социально-политического звучания:

«1847 г. ничего не решил, но он повсюду резко и отчетливо противопоставил друг другу различные партии; он окончательно не разрешил ни одного вопроса, но он поставил все вопросы так, что разрешение их теперь сделалось неизбежным»[16].

В какой мере, однако, мы правомочны утверждать, что именно в письме Белинского к Гоголю «самые живые, современные национальные вопросы в России» поставлены были так, что мобилизация общественного мнения вокруг них «сделалась неизбежной»? Каковы были преимущества Зальцбруннского письма перед другими программными документами этой эпохи? Каково самое содержание и оформление этих легальных и нелегальных записок, трактатов, статей? Какова их сфера распространения? Близки ли их установки Белинскому или далеки от него? Нет ли в Зальцбруннском письме признаков борьбы с ними или, наоборот, следов их положительного учета?

Значение всех этих вопросов, не только не разрешенных, но даже не поставленных до сих пор в нашей специальной литературе, определяется в результате рассмотрения основных положений «Письма Белинского к Гоголю» как политического документа, тезисы которого противостояли другим программным документам этой поры — секретной записке А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» (1841 г.), официальной декларации Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России» (1845 г.), письму М. А. Бакунина в редакцию парижской газеты «La Rëtorme» (1845 г.), книге Н. И. Тургенева «Россия и русские» (1847 г.).

«Весь дух марксизма, — писал В. И. Ленин 30 ноября 1916 г. Инессе Арманд,— вся его система требует, чтобы

каждое положение рассматривалось лишь α) исторически; β) лишь в связи с другими; γ) лишь в связи с конкретным опытом истории»[17].

Последовательное применение именно этих принципов конкретного исторического исследования только и может до конца уяснить условия появления и особенности содержания «одного из лучших произведений бесцензурной демократической печати», воздействие которого на политическое воспитание нескольких поколений передовой русской интеллигенции В. И. Ленин с такою силою подчеркивал еще в 1914 г.

Секретная записка А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» принадлежала перу экономиста и статистика, имя которого пользовалось большим авторитетом в широких кругах буржуазно-дворянской общественности. Эта записка, открыто прокламировавшая неизбежность перевода помещичьего хозяйства на капиталистические рельсы, была представлена автором министру государственных имуществ П. Д. Киселеву за шесть лет до письма Белинского к Гоголю.

А. П. Заблоцкий-Десятовский был очень близок с кн. В. Ф. Одоевским и А. А. Краевским, охотно печатался в «Отечественных Записках» и, как крупный специалист, знаток государственного хозяйства, редактор и вдохновитель «Сельского чтения», не мог не привлечь к себе самого пристального внимания Белинского[18]. Все печатные отзывы великого критика о трудах А. П. Заблоцкого были неизменно положительны. Его работу «О причинах падения цен на хлеб», опубликованную в летних книжках «Отечественных записок» 1847 г., Белинский рассматривал как очень серьезный вклад в дело подготовки крестьянского освобождения. Получив от автора оттиски этой «превосходнейшей статьи», Белинский один из них немедленно переслал своим друзьям за границу. На материалы же устной информации этого влиятельного и широко осведомленного бюрократа опирался Белинский, адресуя в начале декабря в Париж свой замечательный отчет о событиях русской политической жизни за вторую половину 1847 г.[19]. Гвоздем этого отчета (в форме письма на имя П. В. Анненкова, посланного за границу с верной оказией) был рассказ о беседе императора Николая 17 мая 1847 г. с депутатами смоленского дворянства о предстоящей ликвидации крепостных отношений. Данные Белинского об этом эпизоде. равно как

и об откликах на последний в высших правительственных кругах, были не только гораздо богаче опубликованных впоследствии документальных материалов о том же[20], но полностью, до некоторых деталей бытового порядка, совпадали со всеми свидетельствами А. П. Заблоцкого-Десятовского в его предсмертной книге «Граф П. Д. Киселев и его время»[21].

Встречи и беседы Белинского с А. П. Заблоцким-Десятовским на самые острые политические темы, объясняя это совпадение, не оставляют сомнений в знакомстве Белинского в той или иной форме и с запиской «О крепостном состоянии в России», тем более, что записка эта, как свидетельствуют воспоминания П. П. Семенова-Тянь-Шаньского, имела хождение в кругах передовой петербургской общественности и была хорошо известна впоследствии и некоторым петрашевцам.

«Слухи о намерении правительства изменить крепостное право,— констатировал А. П. Заблоцкий-Десятовский в своей записке,— распространились более или менее везде. Сами помещики уверяют, что никогда эти слухи не распространялись так быстро, не повторялись так часто, как в настоящее царствование... Различно понимая причины распространяющихся между крепостными слухов, дворянство сходится в одном, в чувстве страха восстания крестьян. До какой степени опасения эти справедливы, решить трудно. Достоверно то, что они не без основания. В чем состоят мысли крестьян об изменении их состояния? На этот вопрос никто не в силах отвечать, потому что у крестьян есть только желание свободы, но в каких формах должна явиться для них свобода, они об этом не имеют и не могут иметь мыслей»[22].

Широкими мазками характеризуя разложение крепостного хозяйства и преимущества капиталистического способа производства, А. П. Заблоцкий-Десятовский мотивировал необходимость скорейшей ликвидации крепостного права, как юридического института, не отвлеченно-филантропическими соображениями, а интересами общегосударственного порядка. Свою записку Заблоцкий-Десятовский заканчивал обращением к верховной власти:

«Требования века и настояния нужд государственных призывают самодержавную власть защитить крепостных людей от своеволия господ, поставить закон выше произвола, открыть широкие двери нравственному образованию

народа. Одна только самодержавная власть в состоянии пролить новый источник жизни, обеспечив свободное и разумное развитие народной деятельности. Одна она в силах привести в исполнение идеи, связывающие поколения, отжившие исторически, с поколениями грядущими, направляя свои действия по вечным законам порядка и истины, хотя бы при осуществлении их она встретилась с болезненным ропотом какой-нибудь забытой, частной корысти».

С начала и до конца А. П. Заблоцкий-Десятовский аргументирует с позиций буржуазного монархизма, с начала и до конца пытается сочетать свои надежды на реформаторскую миссию самодержавной власти с апологией крупной фабрично-заводской и сельскохозяйственной промышленности, с опорой на новую капиталистическую общественность, сметающую со своего пути последние остатки феодализма. А. П. Заблоцкий-Десятовский бесконечно далек от ориентации на широкую демократию. Он не сомневается только в том, что отмена крепостного права, развязав дремлющие производительные силы, обеспечит в кратчайший срок мощный подъем народного хозяйства. «Обленившаяся беззаботность должна будет вытесниться пронырливою предприимчивостью, бездейственность — личным трудом, привилегированная праздность — обязанным занятием, требовательная прихоть — довольством необходимого, обычай — умом» [23].

Разумеется, эти политические и социальные обобщения авторитетнейшего из русских экономистов 40-х годов нельзя не учитывать, характеризуя предсмертные высказывания Белинского о том, что «патриархальный, сонный быт весь изжит», что «нужно взять иную дорогу», что «внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» [24].

Однако все то, что являлось для Заблоцкого-Десятовского нормой и догмой, не средством, а самоцелью, Белинский рассматривал лишь как болезненный переходный этап. В прогнозах Белинского «промышленность — источник не только великих благ», но и «великих зол» — «последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом» [52].

В отличие от Заблоцкого-Десятовского Белинский хорошо понимает, что «средний класс является великим» только «в преследовании своих целей», только в процес-

се своей борьбы с крепостничеством, что «буржуази в борьбе и буржуази торжествующая — не одна и та же» [26].

Политические формы диктатуры буржуазии, определившиеся в результате двух революций во Франции, были для Белинского столь же неприемлемы, как и для Герцена, работавшего как раз летом 1847 г. над «Письмами из «Avenue Marigny». Мы помним негодующую характеристику Белинским в 1844 г. «партии среднего сословия», в результате победы которой «после июльских происшествий» 1830 г. «бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего» [27]. Мы знаем и письмо Белинского к Боткину в декабре 1847 г., когда, солидаризируясь с Герценом, он определял правящую верхушку буржуазии как «сифилитическую рану на теле Франции», когда и личные его впечатления от предреволюционного Парижа сводились к лозунгу: «горе государству, которое в руках капиталистов». Поэтому ни в какой мере не могли вдохновлять Белинского и те перспективы капиталистического процветания на западноевропейский манер, которые намечались в программе Заблоцкого-Десятовского как ближайшее следствие ликвидации крепостных отношений.

Представляя собою наиболее последовательного и откровенного выразителя чаяний русского буржуазного либерализма, А. П. Заблоцкий-Десятовский никогда не мог быть ни надежным союзником, ни даже попутчиком Белинского. В этом отношении не оставляет никаких сомнений одно из писем Белинского, в котором он, аттестуя А. П. Заблоцкого как «умного и даровитого человека», не забывал тут же определить его и как «достойного друга Краевского» [28]. Эта персонификация не случайна и уточняет, на наш взгляд, очень многое. Именно Краевский для Белинского был наиболее ярким воплощением типических свойств русской хищнической буржуазии, символом торжествующего «приобретателя» и «торгаша» из «презренной породы капиталистов». А «торгаш» — это ведь, по формулировке Белинского, «существо, цель жизни которого — нажива», «существо, по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное», не могущее «иметь интересов, не относящихся к его карману. Для него деньги не средство, а цель <...>. Он свирепее зверя, неумолимее смерти, он пользуется всеми средствами, детей заставляет гибнуть в работе на себя, прижимает пролетария страхом голодной смерти,

«снимает за долг рубище с нищего, пользуется развратом, служит ему и богатеет от бедняков» [29].

На первый взгляд может показаться странным, почему весь круг проблем, связанных с критикою Белинским капиталистических отношений и политических форм диктатуры буржуазии, не получил в письме его к Гоголю прямого отражения. Не нужно, однако, забывать, что в задачи Белинского в Зальцбрунне вовсе не входило создание ни развернутого программного документа, ни политической прокламации, что значение и того и другого его письмо к Гоголю получило помимо воли автора и уже после того, как оно оформилось именно как «письмо», со всеми «родимыми пятнами» своего несколько необычного происхождения и назначения. Но если Белинский и не имел в виду, начиная письмо, использовать его страницы для прокламирования своей политической платформы, то внутренняя диалектика его отповеди Гоголю была такова, что выдвижение хотя бы самых общих тезисов противостоящей последнему положительной программы логически являлось для него в этом же письме обязательным.

В самом деле, полемизируя с Гоголем как с автором «Выбранных мест из переписки с друзьями», Белинский ближайшей своей целью имел дискредитацию его как художника слова и политического мыслителя, утратившего непосредственное понимание «самых живых, современных, национальных вопросов в России». Эта задача не могла бы быть Белинским разрешена без доказательств антинародной сущности и претенциозной беспочвенности «Выбранных мест». Обнажение же реакционного утопизма политических чаяний Гоголя в свою очередь требовало противопоставления им конкретной политической платформы всего антикрепостнического фронта, а не только передовых его отрядов. Чем шире раздвинулся бы этот фронт, тем резче определилась бы и изоляция Гоголя как рупора неожиданно активизировавшейся реакционной идеологии, тем явственнее была бы и победа Белинского, как выразителя интересов трудового народа. Предельно упрощая в своей полемике с Гоголем требования демократической общественности, Белинский считал, видимо, и бестактным и бесполезным поднятие на данном этапе политической борьбы дискуссионных вопросов, могущих развалить или хотя бы только ослабить антикрепостнический фронт в самом процессе его формирования. Поэтому не получили отражения

в письме Белинского ни характерное для него в эту пору охлаждение к иллюзиям утопического социализма, к «революционной фразе» во всех ее вариантах, от Бакунинского до Майковского включительно, ни принципиальное неприятие им же идеологических постулатов «презренной породы капиталистов».

«Жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла,— писал Белинский во «Взгляде на русскую литературу 1846 г.», предвосхищая критиков своей платформы и «слева» и «справа».— Вместо того, чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменимую действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями».

В этой же статье Белинский напоминал своим оппонентам: «То, что для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны... Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы все те же, да не те, и требуют другого решения.— Теперь Европу занимают новые вопросы. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные. В них нашего только то, что применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль дон-Кихотов, горячась из-за него» [30].

Программа-минимум Зальцбруннского письма в условиях 1847 г. оказывалась единственно правильным разрешением стоявших перед Белинским тактических проблем. Ее тезисы: «уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого исполнения хотя тех законов, которые уже есть», отвечая интересам крестьянских масс, очень облегчали в то же время создание широкого антикрепостнического фронта, определение ближайших задач которого явилось одним из самых больших достижений Белинского как реального политика.

Не случайно не раскрывал Белинский в письме к Гоголю и своего понимания формулы «уничтожение крепостно-

го права». Лозунг этот, брошенный им в столь общей форме, не определял ни политических, ни экономических предпосылок крестьянского освобождения. Но именно этот отказ от абстрактных книжных (проекты Н. И. Тургенева) или канцелярских (проекты Л. А. Перовского и П. Д. Киселева) рецептов социального реформизма обусловил огромный успех освободительных лозунгов письма Белинского в тех кругах русской общественности, идеологическое воздействие на которые для молодой революционной демократии являлось в ту пору как бы проверкой ее политической зрелости.

Как и всякая программа-минимум, платформа письма Белинского к Гоголю представляла собою не программу боевых действий авангарда революционной демократии, а «программу ближайших политических и экономических преобразований, вполне осуществимых, с одной стороны, на почве данных экономических отношений, и необходимых, с другой стороны, для дальнейшего шага вперед» [31].

Еще года за полтора до своего письма к Гоголю, в статье «Мысли и заметки о русской литературе», опубликованной в «Петербургском сборнике» Некрасова, Белинский попытался, в меру легальных возможностей, с неизбежными цензурными умолчаниями и вуалировками, формулировать свое отрицание прочности классовых устоев николаевской государственности, свое убеждение в исторической бесперспективности помещичье-дворянской политической диктатуры.

«Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого,— утверждал Белинский,— но она подкопалась под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их на бок,— и теперь со дня на день они все более клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая, по причине подрытого их основания, только ускорила бы их, и без того неибежное, падение. И если теперь, разделенные этими стенами, сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалились или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается быстрее и заметнее,— и близко время, когда все это очень скоро и начисто сделается.

Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, тунелями и мостами; усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия»[32].

Исключительную роль в деле «внутреннего сближения сословий» Белинский отводил молодой русской литературе, той литературе, в лучших представителях которой передовой читатель видел, по формулировке письма к Гоголю, «своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности». Для Белинского уже в 1846 г. был «неоспорим тот факт», что именно эта литература «служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях внутренно разъединенных», что в силу специфических условий русского исторического процесса именно «литература образовала род общественного мнения» и «произвела нечто в роде особенного класса в обществе, который от обыкновенного среднего сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование... Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтобы эта общественность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри!»[33].

Эти общественные силы, самый рост которых являлся показателем близости крушения всего крепостного правопорядка, не только питают политический оптимизм Белинского в его полемике с Гоголем, но определяют и тот актив, который по его мысли может и должен взять на себя конкретное разрешение «самых живых, современных национальных вопросов в России».

Расчеты Белинского оправдались очень скоро. Об этом достаточно красноречиво свидетельствовали признания даже его идеологических противников.

Месяца через два после опубликования только что отмеченных строк Белинского редактор «Северной пчелы» Булгарин в своей секретной записке на имя главного начальника III отделения следующим образом формулировал отношение охранительных кругов к той самой демократической общественности, ростки которой приветствовал Белинский»: «Журнал «Отечественные Записки», издаваемый явно, без всякого укрывательства, в духе Коммунизма, Соци-

ализма и Пантеисма, произвел в России такое действие, какого никогда не бывало. С одной стороны, раздается вопль людей благонамеренных и истинных христиан, которые не постигают, как правительство может терпеть такой журнал; с другой стороны, разорившееся и развратное дворянство, безрассудное юношество и огромный класс, ежедневно умножающийся, людей, которым нечего терять и в перевороте есть надежда все получить — кантонисты, семинаристы, дети бедных чиновников и проч. и проч.. почитают Отечественные Записки своим евангелием, а Краевского и первого его министра — Белинского (выгнанного московского студента) апостолами. Все направление или tendance Отечественных Записок клонится к тому, чтобы возбудить жажду к переворотам и революциям и это проповедуется в каждой книжке» [34].

О том, что политический подтекст писаний Белинского расшифрован был в этом доносе с исключительной точностью, свидетельствовал через десять лет и И. С. Аксаков, отмечавший в письме к отцу успех уже не статей, а письма Белинского к Гоголю.

«Много я ездил по России,— писал И. С. Аксаков 9 октября 1856 г.— Имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю; в отдаленных краях России только теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов... «Мы Белинскому обязаны своим спасением», — говорят мне везде молодые, честные люди в провинциях. И в самом деле,— в провинции вы можете видеть два класса людей: с одной стороны, взяточников, чиновников в полном смысле этого слова, жаждущих лент, крестов и чинов, помещиков, презирающих идеологов, привязанных к своему барскому достоинству и крепостному праву, вообще довольно гнусных. Вы отворачиваетесь от них, обращаетесь к другой стороне, где видите людей молодых, честных, возмущающихся злом и гнетом, поборников эмансипации и всякого простора, с идеями гуманными. Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу — ищите таковых в провинции между последователями Белинского» [35].

Об этих «поборниках эмансипации и всякого простора», воспитанных и сплоченных именно «письмом Белинского к Гоголю», писал и Добролюбов, отмечая в 1859 г. на страницах «Современника»: «Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку,— и, конечно, это лучшие люди в России» [36].

Эти же ростки новой демократической общественности имел в виду В. И. Ленин, характеризуя в работе «Из прошлого рабочей печати в России» «разночинцев», идущих на смену «дворянским революционерам»: «Как декабристы разбудили Герцена, так и Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежащих не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству и крестьянству. Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский» [37].

Мы учли особенности как постановки, так и разрешения в секретной записке А. П. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России» проблем, которые являлись основными для передовой общественности 30 и 40-х годов. Документ этот, при всей ограниченности горизонтов его составителя, никак нельзя игнорировать, исторически уясняя окружение Белинского, позиции его потенциальных союзников и врагов, его платформу как реального политика. В этом отношении установочные положения А. П. Заблоцкого-Десятовского не менее важны для исследователя Зальцбруннского письма, чем программные политические формулировки, прокламированные незадолго до полемики Белинского с Гоголем из-за «Выбранных мест из переписки с друзьями» в книге Н. И. Тургенева «Россия и русские».

Книга Тургенева вышла в свет в начале 1847 г. И в мемуарно-исторической и в социально-экономической своих частях она ориентирована была на интернациональный общественно-политический резонанс. Писанная и напечатанная по-французски, переведенная сразу же на английский и немецкий языки, трехтомная монография основоположника русского либерально-дворянского реформизма имела совсем не тот адрес, что письмо Белинского. Это был широко развернутый программный документ, рассчитанный на верхи правящего класса, а не декларация пропагандиста, взывающего к сердцу и разуму масс [38].

В России книга Н. И. Тургенева, как работа декабри-

ста и политэмигранта, была строжайше запрещена при самом своем появлении. Однако этот цензурно-полицейский запрет мог только ограничить, но не вовсе парализовать возможности ее распространения.

«Дошло до меня сведение, что в недавнем времени проникла в Россию книга, под заглавием «Les mémoires d'un proserit», сочинение государственного преступника Николая Тургенева,— писал шеф жандармов гр. А. Ф. Орлов 15 августа 1847 г. министру внутренних дел Л. А. Перовскому.— По сделанным же мною негласным розысканиям обнаруживается, что сочинение Тургенева ввезено в числе 50 экземпляров, которые все распроданы» [39].

В числе первых читателей книги Тургенева (если не в Петербурге, то в Зальцбрунне) был, конечно, и Белинский, мимо которого не могла пройти новинка такого значения и интересов, как «La Russie et les russes».

Нас не должно смущать отсутствие самого имени Николая Тургенева в известных нам письменных и печатных высказываниях Белинского. Мы помним, как исключительно осторожен был он в этом отношении, мы знаем, в какой ничтожной части своей дошла до нас и его переписка. Ни в статьях, ни в письмах великого критика читатель не найдет и многих других имен, несравненно более крупных, чем Н. И. Тургенев. Мы имеем в виду имена Радищева, Рылеева, Фурье, Прудона, Фейербаха, Энгельса, Маркса. Однако эти вольные и невольные умолчания ни в какой мере не освобождают исследователя от учета в литературной и политической биографии Белинского тех нитей, которые связывают его с традициями Радищева и декабристов, с писаниями Фейербаха, с первыми публикациями Маркса и Энгельса.

В пору дискуссий Белинского с Гоголем из-за «Выбранных мест из переписки с друзьями» трехтомная монография вождя либерально-дворянского фланга декабристов, старейшего представителя русской эмиграции, была последним, т. е. наиболее свежим и авторитетным словом в области политического осмысления стержневых проблем русской крепостнической действительности 40-х годов.

Особенно важен был для Белинского третий том труда Н. И. Тургенева, посвященный «будущему России» («De l'avenir de la Russie») и развертывавший широкую программу социально-политических реформ, необходимых, с точки зрения его автора, для уничтожения той пропасти,

которая все более и более отделяла отсталую крепостническую Россию от капиталистической культуры Запада [40].

Реформы эти подразделялись Н. И. Тургеневым на первоочередные, осуществляемые в порядке монаршего волеизъявления, по самому существу своему не противоречащие принципам николаевского абсолютизма («Réformes compatibles avec le pouvoir absolu»), и на реформы, так сказать, второй очереди, обеспечивающие превращение абсолютной монархии в монархию представительную («Etablissement d'un règime constitutionnel représentatif») [41].

Как реформу самую неотложную, которая должна предшествовать всем остальным, Н. И. Тургенев выдвигал, конечно, «освобождение рабов» («Emancipation des serfs»). Это «освобождение», гарантировавшее от революционных методов решения крестьянского вопроса, должно было сочетаться, по мысли Тургенева, с разрушением общины как основного тормоза капиталистической реконструкции сельского хозяйства. Земельные же наделы, отчуждаемые на тех или иных основаниях в пользу крепостных крестьян при выходе их на волю, должны были обеспечить быстрый и безболезненный переход к новым формам быта всей многомиллионной массы мелких производителей. Полная пролетаризация последних представлялась Тургеневу еще более серьезной угрозой для правящего класса, чем пугачевщина.

Планы ликвидации крепостных отношений неразрывно связывались в книге Тургенева с реорганизацией всего низового административного аппарата и с судебной реформой. Свод основных законов, кодексы гражданский и уголовный, новые мировые суды вместо неограниченной юрисдикции помещиков, отмена телесного наказания во всех его видах («Les peines corporelles doivent disparaître de la législation russe»)— вот чего требовал Тургенев от будущего «искреннего и просвещенного реформатора на троне» [42], продолжателя исторических традиций Петра Великого.

Политический профиль Н. И. Тургенева, определившийся в его книге, предельно четок и выразителен. С тем же сарказмом, с которым Белинский писал 7 июля 1847 г. Боткину о немецких либералах, любящих «прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем более умеренность, чем прогресс» [43], великий критик должен был реагировать и на компромиссы освободительной программы патриарха русской

политической эмиграции. Однако от полемики с ним Белинский предпочел воздержаться. Больше того, определяя с первых же страниц своего письма к Гоголю «самые живые, современные национальные вопросы в России», Белинский намеренно формулировал их так, чтобы они возможно менее резко противостояли конкретным предложениям Н. И. Тургенева о реформах первой очереди, т. е. тех, которые могли быть осуществлены в ближайшее же время аппаратом даже столь ненавистной Белинскому абсолютной монархии: «Уничтожение крепостного права, отменение телесных наказаний, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть».

Эти осторожные формулировки, столь явно выпадающие из контекста письма, столь резко не соответствующие всем его революционно-демократическим установкам, его аргументации, его пафосу, его материалам, могли означать согласие Белинского на принятие конкретных деловых предложений Н. И. Тургенева лишь в качестве предварительных условий гораздо более широкой освободительной программы. Как предварительные условия, принятые по чисто тактическим соображениям, они и не имели большой принципиальной значимости. Недаром именно эту часть письма Белинского к Гоголю совершенно игнорировал в своих высказываниях о нем В. И. Ленин. Недаром никак не реагировали на нее в свое время Герцен, Сазонов, Бакунин, Некрасов, Добролюбов. Недаром не обмолвился о ней ни одним словом никто из петрашевцев, хотя обсуждению письма именно как политического документа посвящен был специальный «пленум» кружка в знаменитую «пятницу» 15 апреля 1849 г., а предварительные читки письма шли в течение двух недель.

Если для современников Белинского некоторые условности тактического порядка в его обращении к Гоголю представлялись наименее значимой частью письма, то уже в следующем поколении революционной интеллигенции эта осторожная форма постановки основных вопросов борьбы с абсолютизмом и крепостничеством воспринималась с начала и до конца неправильно. Так, например, М. А. Антонович, вспоминая о своем приезде осенью 1855 г. из Харькова в Петербург, отмечал, что прежде всего ему и его товарищам «по секрету указали на Зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю, как на самую сильную улику, как на страшное «слово и дело» Белинского, за имение и

чтение которого виновных предавали строгому суду и подвергали еще более строгим наказаниям. Больших трудов стоило нам раздобыть это страшное и многообещавшее для нас письмо. Но вот мы достали и с замиранием сердца прочли это письмо и — были сильно разочарованы и раздосадованы <...> Да, в этом письме довольно вольного духу, и с этой стороны оно предосудительно и недозволительно, но чего-нибудь особенного, а тем паче страшного... мы в нем не нашли»[44].

Молодой М. А. Антонович был уже, конечно, не в состоянии уяснить ни себе, ни своим товарищам особенностей назначения и оформления некоторых страниц «письма к Гоголю» как политического документа. Не понял он и того, что Белинский, в условиях 1847 г., мог сознательно предпочесть «чему-нибудь особенному, а тем паче страшному» оружие из чужого идеологического арсенала, в прямом расчете на то, что политическая фразеология Н. И. Тургенева и А. П. Заблоцкого-Десятовского для автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» будет гораздо доходчивее, чем аргументация революционного демократа.

Опыт истории подтвердил правоту Белинского, а не Антоновича. Характерно, что даже Герцен, формулируя десять лет спустя после письма Белинского к Гоголю ближайшие задачи антикрепостнического фронта, еще очень недалеко отошел в этом отношении от своего славного предшественника. В самом деле, требования Герцена прокламированы были в первом номере «Колокола» в виде трех политических лозунгов: «Освобождение слова от цензуры! Освобождение крестьян от помещиков! Освобождение податного состояния от побоев!»[45].

Отличия платформы «Колокола» в 1857 г. от программы-минимум письма Белинского в 1847 г. сводились к одному только пункту. Белинский требовал не «освобождения слова от цензуры», а «строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». Но, даже включая в перечень «самых живых, современных, национальных вопросов в России» «строгое выполнение хотя тех законов, которые уже есть», Белинский сам же выдвигал в этом письме безоговорочное требование «прав и законов», отвечающих «здравому смыслу и справедливости». Горячо мотивируя эту свою позицию «пробуждением в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе», Белинский нисколько не противоречил себе, допуская

функционирование в переходный период, т. е. в процессе подготовки освобождения крестьян, тех законов, «которые уже есть» [46] и которые явно не противоречат «здравому смыслу и справедливости».

Точно такой же формой использования в общественно-политической и литературной борьбе за крестьянское освобождение тезисов некоторых своих попутчиков из антикрепостнического лагеря явилась для Белинского и печатная декларация надежд, возлагаемых якобы им самим на Николая I, как потенциального продолжателя «великого дела Петра».

«В отношении к внутреннему развитию России,— писал Белинский в первой книге «Современника» 1846 г., — настоящее царствование, без всякого сомнения, есть самое замечательное после царствования Петра Великого. Только в наше время правительство проникло во все стороны многосложной машины своего огромного государства, во все убежища и изгибы ее, прежде ускользавшие от его внимания, и сделало ощутительным благотворное влияние свое во всех стихиях народной жизни. Общественное благоустройство, не в одном административном, но и в нравственном смысле этого слова, составляет предмет его особенных попечений. Старые основы общественной жизни, которые уже заржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой государственной машины и остановить ее движение вперед, мудро отстраняются мало по малу, без всякого сотрясения в общественном организме. Обращено особое внимание на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие прекрасные результаты, на его, так сказать, воспитание. Вот истинное продолжение великого дела Петра» [47].

Буржуазно-народнические фальсификаторы биографии Белинского пытались не раз из сочетания этих формулировок с искусственно выхваченными из контекста лозунгами Зальцбруннского письма сделать вывод о сдаче великим критиком в 1847—1848 гг. некоторых из его революционно-демократических позиций, о его готовности на более или менее далеко идущие компромиссы.

Именно этих вольных и невольных клеветников явно имел в виду Белинский, когда объяснял К. Д. Кавелину некоторые особенности своих писаний, обусловленные самой обстановкой его работы в легальной печати, при настороженном внимании к каждому его слову всех органов госу-

дарственной охраны — от III Отделения до СПб. Цензурного Комитета и редакции «Северной Пчелы» включительно: «Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана,— разъяснял Белинский 22 ноября 1847 г. свой «Ответ Москвитянину».— Дело в том, что писана она не для вас, а... в защиту от фискальных обвинений. Поэтому я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета <...> Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик» [48].

Эти строки, писанные за месяц до рецензии на «Сельское чтение» и пять месяцев спустя после Зальцбруннской полемики с Гоголем, объясняют до конца, чем мотивировалось наличие в некоторых высказываниях Белинского тех кажущихся «уступок», на которые «внутренно» он и не думал соглашаться.

Для письма Белинского к Гоголю как программного документа особенно характерно отсутствие каких бы то ни было надежд на Николая I как потенциального реформатора. А между тем именно эти иллюзии необычайно показательны не только для официозной легенды о благих намерениях царя, но и для политических мыслителей, очень далеких от подозрений в личной приверженности к коронованному жандарму. В этом отношении Н. И. Тургенев не многим отличался от Михаила Бакунина. В самом деле, перспективы освободительного движения в России, намечаемые в известном бакунинском «Письме в редакцию» парижской демократической газеты «La Réforme» от 27 января 1845 г., одинаково оптимистичны в обоих своих вариантах:

«Русский народ идет вперед, несмотря на всю злую волю правительства,— резюмировал Бакунин.— Разрозненные, но очень серьезные возмущения крестьян против своих господ, возмущения, которые учащаются в угрожающей форме, слишком подтверждают это. Не очень далек, может быть, момент, когда все они соединятся в одну великую революцию, и если правительство не поспешит освободить народ, будет много пролито крови. Говорят, что император Николай думает об этом очень серьезно. Дай-то бог! Потому, что, если действительно он произведет освобождение крестьян искренним и широким образом, то это будет на-

стоящее благое дело, которое заставит простить ему многое» [49].

Письмо Бакунина было так же хорошо известно Белинскому, как и книга Тургенева, но импонировало ему еще в меньшей степени.

Иронически констатируя «робкие и бесплодные полумеры в пользу белых негров», характеризующие реформаторские потуги правительства, которое «хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых», Белинский требовал от Николая I реформаторского размаха в стиле и масштабах работы Петра Великого, но на возможность успеха крестьянской революции никаких надежд, в противоположность Бакунину, в данных условиях не питал. В этом отношении Белинский был гораздо более и зрел и трезв. Он одинаково не доверял ни реформаторским потенциям прогрессивной прослойки правящего класса (отсюда искони присущее ему скептическое отношение ко всем видам и формам дворянского либерализма, не исключая и декабристского), ни расчетам на стихийные силы революционной самодеятельности порабощенной крестьянской массы.

«Люди, которые презирают народ, видя в нем только невежественную и грубую толпу, которую надо держать постоянно в работе и голоде, такие люди, — писал Белинский в первой книге «Современника» 1848 г., — теперь не стоят возражений: это или глупцы, или негодяи, или то и другое вместе. Люди, которые смотрят на народ человечнее, но думают, что, по причине его невежества и необразованности, он не заслуживает изучения, и что вовсе нечему учиться у него, такие люди, конечно, ошибаются, и с ними мы готовы всегда спорить. Но еще больше их ошибаются те, которые думают, что народ нисколько не нуждается в уроках образованных классов, и что он может от них только портиться нравственно. Нет, господа мистические философы, нуждается, да еще как! Народ — вечно ребенок, всегда несовершеннолетен. Бывают у него минуты великой силы и великой мудрости в действии, но это минуты увлечения, энтузиазма. Но и в эти редкие минуты он добр и жесток, великодушен и мстителен, человек и зверь. Никакая личность не сравнится с ним, в эти минуты, ни в способности ясно видеть истину, ни в способности грубо заблуждаться, ни в добре, ни в зле, ни в гениальности, ни в ограниченности. Эта сила природная, естественная, непосредственная,

великая и ничтожная, благородная и низкая, мудрая и слепая в ее торжественных проявлениях. Это — море, величественное и в тишине и в буре, никогда не зависящее от самого себя, никогда не управляющее само собою»[50].

Эти сомнения в перспективах успеха именно крестьянской революции в русских условиях кануна 1848 г., обострившие сразу же после Зальцбруннского письма известную парижскую дискуссию в квартире Герцена (с участием Белинского, Бакунина, Сазонова и Анненкова) о политической функции буржуазии на разных исторических этапах, получили отражение и в предсмертном письме Белинского к П. В. Анненкову от 15.II-1848 г.: «Когда я при моем верующем друге — Белинский здесь имел в виду Бакунина — сказал, что для России нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль!.. где и когда народ освободил себя!»[51].

Полемика Белинского с Бакуниным проходила как раз в ту пору, когда Ф. Энгельс разоблачал на страницах «Deutsche-Brüsseler Zeitung» авантюристическую тактику идеологов немецкой «аграрно-социалистически-черно-красно-желтой республики». Протестуя против их провокационных призывов к аграрному террору, Ф. Энгельс в статье «Коммунисты и К. Гейнцен» писал то же, что имел в виду и Белинский: «И к кому обращается г. Гейнцен со своими революционными нравоучительными проповедями? Прежде всего к мелким крестьянам, к тому классу, который в наше время менее всего способен проявлять революционную инициативу. На протяжении последних шестисот лет города в такой мере служили очагами всех прогрессивных движений, что в своих самостоятельных демократических движениях сельское население (Уот Тайлер, Джек Кед, Жакерия, крестьянская война), во-первых, всякий раз держалось реакционно, а, во-вторых, всякий раз подавлялось»[52].

Эти установочные положения статьи 1847 г. развиваются и получают конкретную документацию в классической монографии Энгельса «Крестьянская война в Германии» (1850 г.). В самом деле, характеризуя с исключительным сочувствием ту «революционную традицию», которую имеет «немецкий народ» и те «плохо скроенные, но крепкие и сильные фигуры великой крестьянской войны», Энгельс не закрывает глаза на «грубый вандализм крестьянской вой-

ны», а в заключительной главе своей работы подчеркивает, что несмотря на все образцы мужества и героизма, которые проявлены были вождями восстания, и несмотря на все жертвы, которые понесло крестьянство, война принесла ему не освобождение, а скорее даже ухудшение и без того тяжелого его положения: «Крестьяне повсеместно снова вернулись под власть своих духовных, дворянских или патрицианских господ; договоры, кое-где заключенные с ними, были нарушены, существовавшие ранее тяготы были увеличены огромными контрибуциями, наложенными победителями на побежденных. Самая величественная революционная попытка немецкого народа закончилась позорнейшим поражением и привела на время к удвоению гнета» [53].

Не отрицая наличия «революционных элементов в крестьянстве», В. И. Ленин в 1899 г., т. е. полвека спустя после Белинского, предостерегал в «Проэкте программы нашей партии» против «преувеличения силы этих элементов»: «Мы нисколько не преувеличиваем силы этих элементов, не забываем политической неразвитости и темноты крестьян, нисколько не стираем разницы между «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», и революционной борьбой, нисколько не забываем того, какая масса средств у правительства политически надувать и развращать крестьян. Но из всего этого следует только то, что безрассудно было бы выставлять носителем революционного движения крестьянство, что безумна была бы партия, которая обусловила бы революционность своего движения революционным настроением крестьянства» [54].

Эти формулировки, родившиеся в процессе ожесточенной борьбы с народническими концепциями крестьянской революции, получают дальнейшее развитие в работах В. И. Ленина, посвященных пятидесятилетию падения крепостного права: «В государствах Западной Европы последние остатки крепостного права были уничтожены революциями 1789 г. во Франции, 1848 г. в большинстве остальных стран. В России в 1861 г. народ, сотни лет бывший в рабстве у помещиков, не в состоянии был подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Крестьянские восстания того времени остались одинокими, раздробленными, стихийными «бунтами», и их легко подавляли. Отмена крепостного права была проведена не восставшим народом, а правительством, которое после поражения

в Крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков»[55].

Прямое отношение к вопросу о возможности опоры Белинского на «революционный народ» имели и знаменитые строки В. И. Ленина о идеологических позициях молодого Герцена: «Не вина Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х годах»[56].

И. В. Сталин, характеризуя в лекциях «Об основах ленинизма» исторические предпосылки союза рабочих и крестьян в буржуазно-демократической революции, противопоставлял победоносный русский вариант разрешения этой проблемы общеизвестным путям «буржуазных революций Запада»: «Там гегемония принадлежала не пролетариату, который не представлял и не мог представлять по своей слабости самостоятельную политическую силу, а либеральной буржуазии. Там освобождение от крепостнических порядков получило крестьянство не из рук пролетариата, который был малочислен и не организован, а из рук буржуазии. Там крестьянство представляло резерв буржуазии»[57].

Именно этот опыт «буржуазных революций Запада» (другого он не знал и, конечно, еще не мог и предвидеть) и имел в виду Белинский, пессимистически формулируя в борьбе с Бакуниным свой вопрос: «Где и когда народ освободил себя»?

4.

Записка А. П. Заблоцкого-Десятовского, на шесть лет предшествовавшая Зальцбруннскому письму, с необычайной для документов официального назначения остротою еще в 1841 г. определяла основной тонус настроений поместного дворянства, как «чувство страха восстания крестьян».

«Основной закон революции, подтвержденный всеми революциями, — писал Ленин в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме», — <...> состоит вот в чем: для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетенные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменения; для революции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому Лишь тогда, когда *«низы» не хотят* старого и когда «верхи» *не могут по-старому*, лишь тогда революция может победить. Иначе эта истина выражается словами: революция

невозможна без общенационального (и эксплуатируемых и эксплуататоров затрагивающего) кризиса»[58].

Белинский, апеллируя в своем «письме» к фактам обострившейся классовой борьбы в деревне, к данным официальной статистики о том, что «делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых», не сомневается в том, что именно в силу этой информации вопрос о скорейшем «уничтожении крепостного права» для самого правительства уже давно перестал быть дискуссионным.

Насколько Белинский и в этом отношении был хорошо осведомлен, свидетельствует записка министра внутренних дел Л. А. Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России», представленная в ноябре 1845 г. императору Николаю I. Эта записка, предшествуя на полтора года письму Белинского, определяла и мотивировала позиции некоторых из ведущих деятелей государственного аппарата по всем тем вопросам, которые автор письма к Гоголю считал «самыми живыми, современными, национальными вопросами в России».

«Вопрос об уничтожении крепостного состояния,— писал Л. А. Перовский,— не только обращает на себя внимание высшего правительства, но сделался даже предметом откровенной беседы образованных сословий и проник, наконец, темными и превратными слухами в низшие состояния. Правительство не имеет еще, по-видимому, никакого положительного плана действий.

«Не подлежит сомнению, что освобождение крестьян или уничтожение крепостного права крайне желательно. Но прежде всего должно определить значение свободы нынешнего крепостного состояния. Свобода сия, конечно, должна состоять в сравнении прав и обязанностей помещичьих крестьян с правами и обязанностями крестьян государственных.

«Не так, однако же, смотрит на это простой народ, который казенных крестьян не считает свободными и видит свободу или вольность в одном совершенном безначалии и неповиновении: понятие бессмысленное и страшное. Один почерк пера государя императора может обратить крепостных людей в вольных; но никакое предвидение не в состоянии предсказать последствий такого внезапного переворота и никакие силы не будут достаточны для водворения порядка и безопасности среди всеобщего безначалия».

Далее, развивая тезис о том, что «ни без земли, ни даже с землею крестьяне безусловно уволены быть не могут» и что «с одной стороны, крестьянин должен быть, до известной степени, привязан к земле самыми узаконениями; а с другой, закон должен предоставить помещику известную степень полицейской власти», Л. А. Перовский «первым шагом» в области мероприятий, имеющих целью постепенную ликвидацию крепостных отношений, считал: 1. Приведение в возможное устройство местных управлений и полиции, в особенности земской. 2. Устройство и уравнение повинностей денежных и натуральных. 3. Обеспечение народного продовольствия.

«Затем следует обратиться к главнейшему основанию всякого свободного состояния: определению прав, обязанностей и повинностей. Достигнуть сего можно только посредством инвентарей, или росписей работам и отношениям. Когда же инвентари определят до некоторой степени взаимные отношения крестьянина и владельца, тогда должно приступить (не в виде новых и важных узаконений, а в виде добавочных и объяснительных правил, к разным ограничениям произвола помещика и к дарованию известных прав крестьянину» [59].

Программа Л. А. Перовского совершенно ясна и без детального перечня тех личных и имущественных «прав» русского крестьянина, постепенное расширение которых он отодвигал на неопределенно долгое время. Как выразитель настроений революционной демократии, Белинский именно планы Перовского имел прежде всего в виду, когда отмечал в своем письме к Гоголю «робкие и бесплодные полумеры в пользу белых негров».

Записка Л. А. Перовского датируется концом 1845 г., а ровно через два года шеф жандармов и главный начальник III отделения граф А. Ф. Орлов в своем очередном отчете о положении страны и о действиях государственного охранительного аппарата обращал внимание Николая I на то, что в течение 1847 г. «главным предметом рассуждений во всех обществах была непонятная уверенность, что вашему величеству непременно угодно дать полную свободу крепостным людям. Эта уверенность поселила во всех сословиях опасение, что от внезапного изменения существующего порядка вещей произойдет неповиновение, смуты и даже самое буйство между крестьянами». Свой доклад шеф жандармов заключал очень пессимистической сентенцией. «При

всех неусыпных моих наблюдениях, я был не в состоянии обнаружить истинных виновников распространения подобных слухов, не могу даже определить, есть ли это последствие неблагонамеренности или только необдуманного рассуждения о действиях правительства, но вижу, что разглашатели внушили и поддерживают тревогу общественную, которая, к сожалению, производит неумолкаемое в умах волнение»[60].

Самый факт знакомства великого критика с конкретными планами Л. А. Перовского не подлежит никакому сомнению: «Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение», — писал Белинский в начале декабря 1847 г. П. В. Анненкову. — Все, что делается в Питере, доходит до их разумения в смешных и уродливых формах, но в сущности очень верно. Они убеждены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным. Перовский думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные, по их сущности, отношения господ к крестьянам и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых: мысль, достойная человека благонамеренного, но ограниченного»[61].

5.

Письмо Белинского к Гоголю являлось вызовом не только всем видам «благонамеренности» и «ограниченности» социально-политического реформизма. Оно расшатывало и подрывало самые корни официально господствовавшей идеологии, внедряя свое понимание и «самодержавия», и «православия», и «народности», как символов террористического режима «обскурантизма и мракобесия».

В этом отношении письмо Белинского имело только один прецедент, равнозначный ему по своему социально-политическому звучанию. Это было «Путешествие из Петербурга в Москву», отразившее с такою же силою, как и письмо Белинского к Гоголю, но еще за полвека до него протест против крепостнического государства, против самодержавия как органа дворянско-помещичьей диктатуры, против всей чужеродной антинациональной культуры верхов правящего класса. Вопросы, которые в 1790 г. волновали Радищева, продолжали оставаться «самыми живыми, современными национальными вопросами», и в условиях 1847 г.

Радищев был единственным писателем, единственным деятелем русской демократической культуры, на авторитетные свидетельства которого Белинский мог опереться, рисуя «ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми», страны, где «люди сами себя называют не именами, но кличками», страны, где «нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей».

Николаевская Россия, «империя фасадов», как иронически характеризовал ее маркиз Кюстин в своем памфлете «Россия в 1839 г.», еще очень недалеко ушла в этом отношении от России Екатерининской. Несмотря на то, что процесс разложения крепостного хозяйства с каждым десятилетием определялся все более и более явственно, правовые нормы, регулировавшие жизнь помещичьего государства, оставались неизменными. Не претерпели существенных изменений и формы борьбы «великих отчинников» (как называл Радищев крупных земельных собственников) со всякими попытками изменения крепостного строя как «снизу», так и «сверху». Естественно поэтому, что Белинский в 1847 г. с таким же основанием, как и Радищев в 1790 г., не возлагает никаких надежд на возможность освободительного почина, идущего от самих помещиков, и так же, как и автор «Путешествия из Петербурга в Москву», трезво учитывает политические перспективы падения крепостного права «от самой тяжести порабощения», т. е. в результате крестьянской революции.

«Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние,— утверждал Радищев. — Прорвав оплот единожды, ничто в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет — и се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем... Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно» [62].

Этот диагноз Радищева полностью сохранял свою силу и в пору полемики Белинского с Гоголем. Недаром Белинский напоминал автору «Выбранных мест из переписки с друзьями» о том, «что делают помещики со своими крест-

янами, и сколько последние ежегодно режут первых». Недаром же об этом Белинский писал в начале декабря 1847 г. и П. В. Анненкову, полагая, что в случае задержки крестьянского освобождения «сверху», вопрос этот «решится сам собою, другим образом, в 1000 раз более неприятным для русского дворянства» [63]. И для Белинского, и для Радищева крестьянская проблема являлась стержневой проблемой русского исторического процесса. Разрешая ее, в основном, с одних и тех же идеологических позиций, «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Письмо Белинского к Гоголю» самым пафосом своего отрицания всех устоев крепостнического государства и своей верой в русский народ и его славное будущее оказываются связанными между собою гораздо теснее, чем с какими бы то ни было другими памятниками общественной мысли первой половины XIX столетия [64].

Традиции Радищева позволили Белинскому правильно реагировать не только на «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, но и на «Философическое письмо» Чаадаева.

«Философическое письмо» опубликовано было в «Телескопе» во время отсутствия Белинского, который с августа до середины ноября 1836 г. гостил в Премухине у Бакуниных. Тем не менее письмо это, видимо, ему было известно до своего опубликования. А самый факт его появления в «Телескопе» послужил основанием для привлечения Белинского к секретному дознанию о Чаадаеве и Надеждине, производившемуся в III Отделении под личным наблюдением самого Николая I [65].

«Напечатание чаадаевского письма было одним из самых важных событий, — отмечал Герцен. — Оно явилось вызовом, признаком пробуждения; оно «проломило лед» после 14-го декабря. Появился, наконец, человек с душою, переполненною горечью, он нашел страшные слова, чтобы сказать с погребальным красноречием, с убийственным спокойствием все, что накопилось за десять лет горького в душе образованного русского... Этот мрачный голос послышался только для того, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собою лишь «пробел в человеческом разумении», лишь поучительный пример для Европы» [66].

Мы имеем все основания утверждать, что Белинский оценил этот документ гораздо правильнее, чем Герцен.

Философия истории и общественно-политический пессимизм Чаадаева были органически чужды взглядам на русский исторический процесс, развиваемым Белинским. Ничего провиденциального не усматривал он в том, что «Россия никогда не жила по-человечески». Больше того, он уже твердо знал, какие средства нужны для того, чтобы его родина возможно скорее могла воспрянуть от своего «апатического полусна» и не сомневался в «огромности исторических судеб» великого русского народа. Явно имея в виду преодоление в сознании передовой демократической общественности чаадаевской схемы русского исторического процесса, Белинский в своем «Взгляде на русскую литературу 1846 г.», т. е. за несколько месяцев до письма к Гоголю, отмечал, что «один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, нисколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с ней общего, европейских народов».

«Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении — развивал Белинский здесь же эти положения. — Из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели, и всегда успевали спасаться от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль, — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими» [67].

Чутье «гениального социолога» и несокрушимый политический оптимизм революционного демократа позволили Белинскому именно в Зальцбруннском письме прокламировать выход из того тупика, в котором оказался не только Гоголь, но и автор «Философических писем».

Для воинствующего материализма Белинского неприемлем был и христианский пиетизм Чаадаева. Его теократическим идеалам великий критик противопоставлял свою

характеристику церкви, как «поборницы неравенства, врага и гонительницы братства между людьми». Но, даже борясь с Чаадаевым, Белинский очень тонко использовал в своей антитезе православного и католического духовенства социально-политические мотивировки первого «философического письма», не напечатанного, но бывшего в распоряжении редакции «Телескопа» и широко распространенного в Москве: «По признанию даже самых упорных скептиков,— писал Чаадаев, — уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой» [68].

В специальной литературе о Белинском не обращалось до сих пор надлежащего внимания на то, что в письме к Гоголю получили выход не какие-то отвлеченные тенденции антирелигиозного проповедничества, а популяризация именно тех начал, оформление которых в определенную атеистическую догму неразрывно было связано с усвоением Белинским знаменитых тезисов К. Маркса о религии, как о «душе бездушного мира», о религии, как «опиуме народа».

Самый факт работы Белинского над статьей К. Маркса «К критике Гегелевской философии права» давно известен. В письме к Герцену от 26 января 1845 г. Белинский даже пытался как будто бы оправдаться в этом своем увлечении: «Кетчер писал тебе о Парижском Ярбухере, и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел,— и все тут. Истину я взял себе, — и в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать» [69].

Истина, которую Белинский «взял себе» из статьи К. Маркса, сводилась к знаменитым формулировкам: «Борьба против религии есть косвенно борьба против *того мира*, духовной усладой которого является религия. Религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия — опиум народа. Упразднение религии, как *при-*

зрачного счастья народа, есть требование его *действительного счастья*»[70].

Поэтому в словах «Бог» и «религия» Белинский и увидел «тьму, мрак, цепи и кнут». Поэтому и «православная церковь» как «опора кнута и деспотизма» стала объектом его яростной атаки, лишь только он в письме к Гоголю получил возможность сказать о ней «все, что он думает и как он думает». Недаром, когда его письмо к Гоголю вновь ожило в условиях первой русской революции, как одно из наиболее действенных произведений демократической литературы, идеологи контрреволюционных «Вех» признали особенно опасным в литературных и политических традициях, идущих от Белинского, именно его антицерковную проповедь, его неотразимые свидетельства о религиозном индифферентизме крестьянской массы, его разоблачение враждебных народу связей православия и самодержавия.

1948

ПРИМЕЧАНИЯ

Основные части этого исследования впервые были доложены и обсуждены на открытых заседаниях Института истории Академии наук СССР (10 марта 1948 г.), Саратовского государственного университета (9 июня 1948 г.) и государственного Дома-музея Н. Г. Чернышевского (27 сентября 1948 г.). Полный текст исследования опубликован в «Ученых записках Саратовского государственного университета», т. XXXI, Саратов, 1952, стр. 131—204. В настоящем издании из 15 глав перепечатываются, с некоторыми дополнениями и уточнениями, первые шесть. Критический текст письма Белинского к Гоголю, установленный нами в результате изучения 22 наиболее авторитетных его списков, положен был в основание публикации этого литературно-политического документа в «Литературном наследстве», т. 56, 1950, стр. 271—381. Некоторые уточнения этого текста см. в нашей статье «К вопросу о тексте письма Белинского к Гоголю» («Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков», изд. Академии наук СССР, М.—Л., 1958, стр. 137—140).

[1] «Из прошлого рабочей печати в России» (1914 г.). См. «Сочинения В. И. Ленина», изд. 4, т. 20, стр. 223—224.

[2] Трудно сказать, был ли автограф письма Белинского сознательно уничтожен Гоголем или затерян во время его путешествий. Несомненным представляется только то, что ни одна из известных нам копий Зальцбруннского письма не восходит к оригиналу, бывшему в распоряжении адресата.

[3] П. В. Анненков, Замечательное десятилетие, гл. XXXV Первоначально опубликовано в «Вестнике Европы» 1880 г., перепечатано в «Воспоминаниях и критических очерках» П. В. Анненкова, т. III, 1888, стр. 212—213.

[4] П. В. Анненков. Замечательное десятилетие, гл. XXXV Когда чтение и распространение письма Белинского к Гоголю всплыло в процессе петрашевцев как один из основных обвинительных пунктов,

Анненков, по собственному его признанию в заметках «Две зимы в провинции и деревне», был в большой тревоге, опасаясь, что его может погубить самый факт пребывания в Зальцбрунне в пору работы Белинского над криминальным письмом: «Как нравственный участник, не донесший правительству о нем, я мог бы тоже попасть в арестантские роты» («Былое», 1922, № 18, стр. 6).

[5] А. И. Герцен, Собр. соч., т. X, 1956, стр. 323 («Былое и думы», ч. VII). И. Герцен, и Тургенев, и Бакунин были только слушателями письма. Они хорошо помнили его идеологические установки, его аргументацию, патетику его прозрений и обобщений, но едва ли знали его точный текст. Не случайно исследователям неизвестно ни одного факта размножения письма при жизни Белинского. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует и то, что Герцен, печатая в «Полярной звезде» в 1855 г. письмо к Гоголю, вынужден был воспользоваться случайным и очень неисправным списком, полученным им уже после смерти Белинского, ибо более авторитетным текстом этого документа он не располагал. Не увенчалась успехом и попытка получить копию Зальцбруннского письма, предпринятая осенью 1847 г. московскими друзьями Белинского: «Бог знает, как любопытно прочесть письмо Белинского к Гоголю и ответ его,— писал Боткин 25 августа 1847 г. Анненкову,— мы с Коршем задумали просить вас: нет ли какой возможности сообщить их нам» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 548).

[6] «Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III. М., 1935, стр. 275—277. Впервые в «La Réforme» от 5/17 декабря 1847 г. Строки о «грандиозной организации беззакония и грабежа», восходящие к формулировке Белинского в письме к Гоголю об «огромной корпорации разных служебных воров и грабителей», ближайшим образом имели в виду колоссальные злоупотребления в военном ведомстве, вскрывшиеся в процессе следствия о растрате казенных сумм начальником резервного корпуса генералом Тришатным: «В Питере перед выездом — писал Белинский 7 июля 1847 г. Боткину,— я только и слышал что о шайке воров с Тришатным и Добрыниным во главе» («Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 384—385). О толках в Петербурге по поводу дела Тришатного и Добрынина см. в дневнике ген. П. X. Граббе («Русский архив», 1888, № 7, стр. 158), в «Записках» М. А. Корфа («Русская старина», 1900, № 2, стр. 343—344) и в «Дневнике А. В. Никитенко», т. I, 1955, стр. 302.

[7] Строки Белинского о замене «одноxвостого кнута треххвостною плетью» имели в виду «Уголовное уложение», введенное в жизнь в 1845 г. М. Е. Салтыков-Щедрин в очерках «За рубежом» (1880 г.) вспоминал одного из своих лицейских профессоров (Я. И. Баршева), который «целую лекцию сквернословил перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения высшего начальства. ей предоставлено осуществляться в форме треххвостной плети» («Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова-Щедрина», т. XIV, стр. 107). Ср. А. Г. Тимофеев «История телесных наказаний в русском праве», изд. 2-е, СПб., 1904, стр. 153.

[8] «Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III, стр. 277.

[9] Об этом см. письмо Тургенева к Белинскому от 17 сентября 1847 г. («Письма Белинского», т. III, 1914, стр. 379).

[10] Заявление Тургенева от 25 января 1855 г., отмеченное в дневнике В. С. Аксаковой («Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 134).

[11] Ю. Г. Оксман, И. С. Тургенев. Исследования и материалы, вып. 1, Одесса, 1921, стр. 6. Ср. М. К. Клеман. Программы «Записок охотника» («Ученые записки Ленинградского гос. университета», вып. XI, 1941, стр. 89); Н. Л. Бродский, Белинский и Тургенев (сб. «Белинский — историк и теоретик литературы», М.—Л., 1949, стр. 335—336).

[12] А. И. Герцен, Собр. соч., т. VI, 1955, стр. 211. Статья была переведена на итальянский язык в газете Мадзини «L'italia dei popolo», 1849 г., и вошла в немецкое издание книги Герцена «Vom andern Ufer», 1850 г.

[13] Эти сатирические строфы, время написания которых относится к самому концу 60-х годов, впервые поставлены были в связь с письмом Белинского Гоголю в статье М. К. Азадовского «Белинский и русская народная поэзия» («Литературное наследство», т. 55, 1948, стр. 150). Сближение это представляется нам совершенно бесспорным.

Скажите, православные,
Кого вы называете
Породой жеребячьею?..
О ком слагаете
Вы сказки балагурные
И песни непристойные
И всякую хулу?

Мать попадью степенную,
Попову дочь безвинную,
Семинариста всякого
Как чествуете вы?

[14] Цитируем перевод в изд. «Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. VI, 1917, стр. 370.

[15] Записка эта опубликована в «Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого», т. 4, 1935, стр. 291, с неточной датой и редакторским заголовком, не отвечающим содержанию печатаемого документа. См. об этом в книге Е. Н. Купреяновой «Молодой Толстой», Тула, 1956, стр. 87—89. В первой редакции записки сохранилась интереснейшая параллель к строкам Белинского о том, что «делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых»: «Посмотрите, сколько русских офицеров убитых русскими пулями, сколько легко раненных, нарочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как смотрят и говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом движении, каждом слове его видна мысль: «не боюсь тебя и ненавижу» (т. IV, стр. 287). Л. Н. Толстой усваивает и негодующую интонацию письма Белинского, применяя к командному составу русской армии строки Белинского о русском духовенстве: «Но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа».

[16] Ф. Энгельс. Революционные движения 1847 г., статья в «Deutsche-Brüsseler Zeitung». Цитирую перевод в «Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса», т. IV, 1955, стр. 461.

[17] «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 35, 1950, стр. 200.

[18] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, 1956, стр. 407, 422—423, 427. О статье А. П. Заблоцкого-Десятовского «О причинах колебания цен на хлеб в России» см. отклик Белинского во «Взгляде на русскую литературу 1847 г.» («Современник», 1848 г., кн. 2). Отражением позиции А. П. Заблоцкого-Десятовского, как отмечает Н. К. Пиксанов, были и некоторые общие политические установки Гончарова в «Обыкновенной истории», сочувственно отмеченные и Белинским («Ученые записки Ленинградского университета», вып. XI, 1941, стр. 63—64).

[19] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 436—439
[20] «Русская старина», 1873, № 10, стр. 910—914.

[21] А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф Киселев и его время, т. II, Спб.; 1882, стр. 276—280. К данным А. П. Заблоцкого восходили в передаче Белинского не только подробности самой аудиенции 17 мая 1847 г., но и справка о прецедентах приема царем других дворянских делегаций, апологетическая оценка линии поведения и самой личности П. Д. Киселева, материалы о позиции кн. А. С. Меншикова и многое другое.

[22] А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Киселев и его время, т. IV, СПб., 1882, стр. 336. О хождении копий этой записки в кругах петрашевцев см. «Петрашевцы в воспоминаниях современников». Сборник материалов. Составитель П. Е. Щеголев, т. I, 1926, стр. 47.

[23] А. П. Заблоцкий-Десятовский, т. IV, стр. 343—344.

[24] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 468.

[25] Там же, т. XII, стр. 452.

[26] Там же, т. XII, стр. 449.

[27] Статья о романе Е. Сю «Парижские тайны» («Отечественные записки», 1844, кн. IV, отд. V, стр. 21—36). Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. VIII, 1955, стр. 167—186. Очень характерен резко отрицательный отклик на эту статью Белинского в «Allgemeine Zeitung», отмеченный в дневнике Герцена («Собр. соч. А. И. Герцена», т. II, 1954, стр. 380). По отклику в «Allgemeine Zeitung» основные положения статьи Белинского о «Парижских тайнах» (правда, без имени самого автора статьи) могли стать известными Карлу Марксу.

[28] Письмо Белинского от 8.XI-1847 г. к В. П. Боткину («Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 422—423).

[29] «Полн собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 449—450.

[30] «Современник», 1847, кн. 1, стр. 14 и 27—28. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 19 и 32.

[31] В. И. Ленин, Две тактики социал-демократии в демократической революции (1905 г.), «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 9, стр. 13.

[32] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. IX, 1955, стр. 431—432. Как мемуарное автопризнание звучат далее строки Белинского о людях, группировавшихся в эту пору вокруг него самого: «Образованность равняет людей. И в наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин,— кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою!» (стр. 136).

[33] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. IX, стр. 435—436. Эти «Мысли и заметки о журналах» очень сочувственно цитировал в «Современнике» 1856 г. Н. Г. Чернышевский в «Мыслях и заметках о русской литературе» («Полн. собр. соч. Н. Г. Чернышевского», т. III, 1947, стр. 278—283).

[34] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 303.

[35] «И. С. Аксаков в его письмах», т. III, М., 1892, стр. 290—291.

[36] «Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова», т. II, 1935, стр. 470. Откликаясь через сорок лет после Добролюбова на политическую

платформу письма Белинского к Гоголю, Н. К. Михайловский в своей речи в Союзе писателей о Белинском по случаю пятидесятилетия со дня его смерти отмечал 10 мая 1898 г.: «Мы, здесь присутствующие, собравшиеся почтить память Белинского, так далеко ушли от крепостных времен и нравов, что склонны, может быть, умалять значение терзаний и протестов благороднейших из наших предков. Чтож, дескать, — было и быльем поросло!.. Не думаю, чтобы поросло быльем все, на что обрушивался Белинский, хотя бы в том же письме к Гоголю. Достаточно привести хоть следующие строки: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь — уничтожение крепостного права и отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть» (Н. К. Михайловский, Отклики, т. II, СПб., 1904, стр. 329; первоначально в «Русском богатстве», 1898, № 5).

[37] «Сочинения В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 20, стр. 223. Впервые в спец. выпуске журнала «Рабочий» от 22 апреля 1914 г.

[38] Очень характерен сочувственный отклик на книгу Н. И. Тургенева в записках сенатора К. Н. Лебедева, старшего товарища Белинского по московскому университету, окончившего словесное отделение в 1832 г. вместе с П. Я. Петровым, В. С. Межевичем и Я. М. Неверовым. Тщательно конспектируя в своем дневнике за 1847 г. третью часть «La Russie et les Russes», К. Н. Лебедев именно в главах, посвященных «будущему России», усматривает «много счастливых сближений». Особенно импонирует передовому бюрократу ступенчатая схема преобразований, их разделение на совместные с самодержавием, как первоочередные, и не столь срочные, имеющие в виду «устройство представительности». Положительно реагирует Лебедев и на выдвигаемые Тургеневым основы крестьянской реформы, со всеми ее вариантами (освобождение «без земли», с «определенными условиями» и «с землею»). Не встречает с его стороны возражений и то, что Тургенев горячо «восстает против телесных наказаний» («Русский архив», 1910, кн. 3, стр. 213—214). Не менее характерен отрицательный отклик иа книгу Тургенева А. И. Герцена, настаивавшего на неправильности «понимания русских отношений» в ее заключительной части («Полн. собр. соч. А. И. Герцена», т. VI, 1955, стр. 477. Впервые в статье «La Russie», при переводе ее на немецкий язык в сборнике «Vom andern Ufer», 1850 г.).

[39] «Русская старина», 1900, кн. VIII, стр. 382. В своей бумаге А. Ф. Орлов называет подзаголовок первого тома книги Н. И. Тургенева.

[40] «La Russie et les Russes», par N. Tourgueneff. Tome III. De l'avenir de la Russie. Bruxelles, 1847.

[41] «La Russie et les Russes», t. III, p. 99—249.

[42] «La Russie et les Russes», t. III, p. 153.

[43] «Полн. собр. соч. В. Г Белинского», т. XII, стр. 383.

[44] М. А. Антонович, Воспоминания по поводу чествования памяти В. Г. Белинского («Русская мысль», 1898, № 12, отд. II, стр. 6).

[45] «Колокол» от 1 июля 1857 г., № 1, стр. 1. Ср. «Полн. собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. XII, 1957, стр. 358.

[46] Наше толкование противоречивой на первый взгляд формулировки Белинского об отношении его к «тем законам, которые уже есть», позволяет обойтись без произвольной модернизации политических тезисов Зальцбруннского письма, которая характерна даже для

лучших из работ о Белинском. Так, например, М. Т. Иовчук строки Белинского о «строгом выполнении хотя тех законов, которые уже есть» заменяет в своем пересказе «ликвидацией полицейско-чиновничьего произвола путем установления новых законов и строгого выполнения их» («Избранные философские сочинения В. Г. Белинского». Под общей редакцией и со вступительной статьей М. Т. Иовчука, М., 1941, стр. XXV).

Очень существенно для правильного понимания формулировки Белинского одно из показаний М. В. Петрашевского от 20.VI-1849 г.: «Полное собрание законов составляется и по успокоении его императорского величества от тревог военных издастся Свод Законов. Закон есть и гласен — нужно только его соблюдение, чтоб справедливость вполне внедрилась в нашу общественную жизнь» («Дело петрашевцев», т. 1, М.—Л., 1937, стр. 125).

[47] Рецензия на «Сельское чтение», кн. IV, «Современник», 1848, кн. 1, отд. III, стр. 51—52. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 366.

[48] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 432—433. Такой же смысл имело известное автопризнание Белинского в письме к В. П. Боткину от 28.II-1847 г., в котором он объяснял дефекты своей статьи в «Современнике» о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи» (там же, т. XII, стр. 339).

[49] «Письмо к редактору» газеты «La Réforme», опубликованное Бакуниным в номере от 27.I-1845 г. и перепечатанное в органе польской эмиграции «Белый орел» от 20.II-1845 г., дано было в переводе на русский язык в книге А. Корнилова «Годы странствий Михаила Бакунина», Л., 1925, стр. 299—302. Это письмо стало известно в кружке Белинского очень скоро, ибо в дневнике Герцена от 2 марта 1845 г. уже отмечено, в связи с «большим письмом из Берлина (от Сатина и Огарева) и «письмами из Петербурга» (от Белинского и от Кетчера?), получение «статьи Бакунина в «La Réforme»: «Вот язык свободного человека,— он дик нам, мы не привыкли к нему. Нас удивляет свободная речь русского, как удивляет свет сидевшего в темной конуре» («Собр. соч. и писем А. И. Герцена», т. II, 1954, стр. 409).

[50] Рецензия на «Сельское чтение», кн. IV. В этой же своей статье Белинский утверждал: «Личность вне народа есть призрак, но и народ вне личности есть тоже призрак. Одно условливается другим. Народ — почва, хранящая жизненные соки всякого развития; личность — цвет и плод этой почвы. Развитие всегда и везде совершалось через личности» («Современник» 1848, кн. 1, отд. III, стр. 54—55. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, стр. 369).

[51] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 468. Бакунин («верующий друг») хорошо знал свое прозвище, ибо в письме от 20.XII-1847 г. к П. В. Анненкову сам отмечал: «Вы — скептик, я — верующий, у каждого из нас свое дело, но в сущности мы всегда будем друг с другом симпатизировать, потому что, несмотря на все различия, дело наше одно» («Сочинения и письма М. А. Бакунина», т. III, стр. 284).

[52] «Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса», т. IV, 1955, стр. 279. Впервые в «Deutsche-Brüsseler Zeitung» 1847 г., 3 октября, № 79. Об этом Карле Гейнцене, требовавшем двух «миллионов голов» для

того, чтобы «дело революции пошло, как по маслу», см. «Былое и думы», ч. V, гл. XXXVIII («Собр. соч. А. И. Герцена», т. X. 1957, стр. 106).

[53] «Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса», изд. 1-е, т. VIII, стр. 193.

[54] «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 4, стр. 223. Строка о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном», является цитатой из «Капитанской дочки» Пушкина. Ср. «И если века рабства настолько забили и притушили крестьянские массы, что они были неспособны во время реформы ни на что, кроме раздробленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, стоявшие на стороне крестьянства» («Крестьянская реформа» (1911 г.) «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. XVII, стр. 96).

[55] «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 17, стр. 65.

[56] «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 18, стр. 14.

[57] И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. IX, М., 1932, стр. 38. Эти же особенности крестьянских восстаний И. В. Сталин подчеркивает в беседе с Эмилем Людвигом: «Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями» (И. Сталин, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госполитиздат, М., 1938, стр. 9).

[58] «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920 г.). Ср. «Соч. В. И. Ленина», изд. 4-е, т. 31, стр. 65.

[59] «Девятнадцатый век», кн. II, М., 1872, стр. 185—189. Ср. В. И. Семевский, Крестьянский вопрос в России, СПб., 1888, т. II, стр. 135—146.

[60] «Крестьянское движение 1827—1869 гг.». Вып. 1, М., 1931, стр. 79—80.

[61] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 439.

[62] «Путешествие из Петербурга в Москву». В Санктпетербурге, 1790 (глава «Хотилов»), стр. 260—262.

[63] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, стр. 438.

[64] Очень характерна одна идейно-тематическая и фразеологическая деталь, непосредственно связывающая текст письма Белинского к Гоголю с «Путешествием из Петербурга в Москву», — это сентенция рекрута в главе «Городня»: «Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованием, ни позыва не сделают свистом». Ср. строки письма Белинского о «стране, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками» («Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, 1956, стр. 213). Характеризуя в том же году «гуманность» как основной «пафос» жизни и творчества Герцена, Белинский писал: «Гуманный человек не допустит <низшего себя> унижать перед ним свое человеческое достоинство... Не станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными именами, похожими на собачьи клички» («Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XI, стр. 117).

[65] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., изд. 2-е, СПб., 1909, стр. 416—422. О воздействии «Философических писем» Чаадаева на идеологическую эволюцию Белинского в 1836—1837 гг. см. соображения М. Я. Полякова в его книге «Белинский в Москве», М., 1948, стр. 248—263.

[66] «О развитии революционных идей в России» (1851 г.) — «Собр. соч. А. И. Герцена», т. VII, 1956, стр. 221—222. Еще более

ярко впечатления от «Философического письма» отражены были в «Былом и думах»: «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре, или о том, что его не будет — все равно, надобно было проснуться... Письмо Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление» (там же, т. IX, 1957, стр. 139).

[67] «Современник», 1847, № 1, отр. III, стр. 15—16. Ср. «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. X, 1956, стр. 21.

[68] «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 23. Чаадаев в этом отношении стоял на позициях, прямо противоположных Пушкину, который еще в раннем своем историческом трактате о царствовании Екатерины II утверждал, что в «России влияние духовенства столь же было благотворно, сколько пагубно в землях римско-католических». Однако самый факт «равнодушия нашего народа к отечественной религии» и его «презрения к попам» подмечен был Пушкиным в 1822 г. с такою же остротою, как и Белинским четверть века спустя: «Напрасно почитают русских суеверными: может быть нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного» («Полн. собр. соч. Пушкина». Акад. Наук СССР, т. XI, 1949, стр. 17). Этот рукописный трактат Пушкина, отрывки из которого впервые были опубликованы только в 1859 г., едва ли мог быть известен Белинскому даже по слухам.

[69] «Полн. собр. соч. В. Г. Белинского», т. XII, 1956, стр. 250. Толкование этих строк как совершенно конкретного отклика на статью К. Маркса «О критике гегелевской философии права» в «Deutsch-Französische Jahrbücher herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx». Paris, 1844, дано было в статье В. Шульгина «О знакомстве Белинского с работами Маркса и Энгельса» («Историк-марксист», 1940, № 7, стр. 83—84).

[70] «Сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса», т. 1, 1955, стр. 414—415.

СЕКРЕТНОЕ СЛЕДСТВИЕ О „ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА“ В 1852 г.

1.

В своих автобиографических высказываниях, как предназначавшихся для печати, так и не рассчитанных на широкое распространение, Тургенев обычно подчеркивал, что его арест весною 1852 г. в Петербурге и высылка, по указанию самого царя, в деревню, под присмотр полиции, обусловлены были отрицательной оценкой в высших правительственных кругах «Записок охотника», а не только публикацией им письма о смерти Гоголя, которое явилось якобы лишь формальным поводом для его репрессирования [1].

Эти утверждения Тургенева, несмотря на свое несоответствие всем дошедшим до нас цензурно-полицейским данным об его аресте и ссылке, заслуживают самого пристального внимания, так как в деле III отделения о Тургеневе наличествуют далеко не все материалы секретного дознания о нем. Мы имеем в виду, во-первых, отсутствие в «деле» тех документов, которые *предшествовали* установлению наблюдения за перепиской Тургенева и *которыми вызвано было самое распоряжение о перлюстрации его писем* в С.-Петербургском почтамте, и, во-вторых, явное изъятие из этого же дела тех материалов, которые позволили чинам III отделения так уверенно характеризовать Тургенева в черновом проекте докладной записки о нем царю, как человека «пылкого и предприимчивого», особенно опасного потому, что «в нынешнее время литераторы являются действующими лицами во всех бедственных для государства смутах» [2].

Во всех известных нам документах III отделения о

репрессировании Тургенева отсутствовала и его общая характеристика как писателя, отсутствовали и данные о многократных выездах его за границу в тридцатых и сороковых годах, о его пребывании в Париже в пору революции 1848 г., о его дружеских связях с Белинским, Бакуниным, Герценом. Первый из них был, правда, уже мертв, второй погибал в Петропавловской крепости, но зато третий всего лишь за год до ареста Тургенева нанес знаменосцам николаевской реакции сокрушительный удар своею книгою «О развитии революционных идей в России». Эта работа Герцена, печатавшаяся в течение первых пяти месяцев 1851 г. в бременском журнале «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», летом того же года вышла в Ницце отдельным изданием в переводе на французский язык («Du développement des idées revolutionnaires en Russie») и сразу же получила известность в широких кругах западноевропейской литературной общественности [3].

В этой книге в числе имен передовых писателей, творчество которых тесно связывалось с основными задачами русского освободительного движения — борьбою с крепостничеством и абсолютизмом, — впервые открыто названо было и имя Тургенева. Характеризуя тематику новейших наших повестей и рассказов из крестьянского быта, Герцен обращал внимание на их «мрачный и трагический характер, угнетающий читателя»: «Это трагическое судьбы, которой человек уступает без сопротивления. Скорбь превращается здесь в ярость и отчаяние, смех — в горькую и полную ненависти иронию. Кто может читать, не содрогаясь от возмущения и стыда, замечательную повесть «Антон Горемыка» или шедевр И. Тургенева «Записки охотника»?» [4].

Книга Герцена вскоре же после своего выхода в свет прислана была Николаю I префектом парижской полиции Пьером Карлье. Точная дата ее получения царем нам неизвестна, но уже 13 сентября 1851 г. о знакомстве с этой книгой высших чинов государственного аппарата писал Гоголю один из его влиятельных петербургских знакомцев, пересылая при этом писателю точные выписки из тех страниц, в которых речь шла о его произведениях [5].

Нет никаких оснований предполагать, что нелегальная работа Герцена получила сколько-нибудь широкое распространение в Петербурге. Наоборот, она уже в октябре 1851 г. внесена была специальным постановлением Комите-

та цензуры иностранной в список изданий, «безусловно запрещенных» для обращения, т. е. в перечень тех книг, для получения которых требовалось личное разрешение императора Николая. 11 января 1852 г. об этом осведомлены были все русские цензурные комитеты. Книга Герцена была засекречена так основательно, что даже министр народного просвещения, по самой должности своей являвшийся в эту пору еще и главою цензуры, об издании Герцена знал, видимо, только по слухам. Но руководители III отделения были, конечно, хорошо осведомлены о содержании работы Герцена. Этой осведомленностью объясняется и новая волна цензурно-полицейских репрессий, обрушившихся на русскую передовую печать в связи с той аттестацией, которую ей дал Герцен [6], и самый факт установления надзора за Тургеневым и его перепиской, поскольку имя молодого писателя сочувственно упоминалось в книге «О развитии революционных идей в России».

Трудно думать, чтобы генерал Л. В. Дубельт, лично допрашивавший Тургенева и заинтересовавшийся даже степенью его родства с декабристом Н. И. Тургеневым [7], никак не выразил бы своего отношения к литературной деятельности автора «Записок охотника», которая только что получила определенную политическую оценку Герцена. Вина Тургенева усугублялась в глазах чиновников III отделения еще и тем обстоятельством, что патетические строки его письма о Гоголе имели в виду писателя, огромное революционизирующее значение которого Герцен подчеркивал особенно выразительно [8].

Воспоминания А. Я. Панаевой свидетельствуют о том, что криминальная статья Тургенева о смерти Гоголя известна была Л. В. Дубельту не только благодаря перлюстрации писем Тургенева к В. П. Боткину, И. С. Аксакову и Е. М. Феоктистову от 26 февраля и 3 марта 1852 г., но и оттого, что Тургенев многократно выступал с ее чтением в петербургских литературных кругах. Мемуаристка передает и о том, как на просьбы друзей быть осторожнее Тургенев заявлял: «За Гоголя готов сидеть в крепости». Об этой его реплике вспомнил и генерал Дубельт, иронически заметив И. И. Панаеву вскоре после отправки Тургенева на съезжую: «Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия» [9].

Мы не располагаем данными о том, какие вопросы пред-

лагались Тургеневу во время официальной беседы с ним управляющего III отделением. Эта беседа, происходившая перед составлением докладной записки о нем царю, т. е. около 13 апреля 1852 г., не оставила письменных следов. Можно, однако, не сомневаться в том, что в результате именно этого допроса Тургенев заключил, что, не будь в его формуляре «Записок охотника», он едва ли бы привлек к себе внимание органов государственной охраны. Об этом свидетельствует и письмо Тургенева к его парижским друзьям, Полине и Луи Виардо, нелегально отправленное им 1/13 мая 1852 г. с какой-то верной оказией из Петербурга в Париж.

Вот что писал Тургенев из места своего заключения: «Я, по высочайшему повелению, посажен под арест в полицейскую часть, за то, что напечатал в одной московской газете несколько строк о Гоголе. Это только послужило предлогом, — статья сама по себе совершенно незначительна. Но на меня уже давно смотрят косо и потому привязались к первому представившемуся случаю. Я вовсе не сетую на государя: дело ему представили таким предательским способом, что он не мог поступить иначе. Хотели заглушить все, что говорилось по поводу смерти Гоголя, — и кстати обрадовались случаю подвергнуть вместе с тем запрещению и мою литературную деятельность» [10].

2.

Политэмигрант Н. И. Сазонов, вспоминая о своих парижских спорах с Тургеневым перед возвращением последнего в 1850 г. на родину, рассказал о том, как автор «Записок охотника» старался «убедить своих друзей, что человек всегда работает плодотворнее на родной почве, а не вдали от нее» [11]. Это признание Тургенева было тем значительнее, что оно определилось в результате длительных раздумий и колебаний, после того как он, по свидетельству одной из его автобиографий, «совсем было решился оставить Россию и остаться за границей» [12].

И окончательное решение, принятое Тургеневым, и все сомнения его, предшествовавшие этому решению, имели в виду одну цель — возможно более эффективное служение пером делу борьбы с крепостничеством. Именно об этом Тургенев напоминал своим читателям в предисловии к «Литературным и житейским воспоминаниям», отмечая, что

многие из рассказов, вошедших в цикл «Записки охотника», созданы были им за рубежом, «в тяжелые минуты раздумья о том, вернуться ли мне на родину или нет». С задачами, стоявшими перед ним, как будущим автором антикрепостнической эпопеи, Тургенев связывал и свой выезд в 1847 г. за границу: «Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него, — писал Тургенев. — В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решил бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примиряться. Это была моя Аннибаловская клятва».

Весьма показательно, что наиболее враждебные отживающему социально-политическому и бытовому укладу рассказы из цикла «Записки охотника» писались Тургеневым в пору теснейшего общения его за границей с Белинским, под непосредственным воздействием общественно-политических концепций и приговоров знаменитого Зальцбруннского письма «неистового Виссариона» к Гоголю [13].

В самом деле, именно в рассказах второй половины 1847 г. — «Бурмистр», «Два помещика», «Контора» — предельно обостряется Тургеневым художественное противопоставление двух основных объектов изображения — рабов и рабовладельцев, привлекая именно к этим контрастам и конфликтам крепостной деревни пристальное внимание самых широких кругов читателей.

В бумагах Тургенева сохранился целый ряд разновременных планов и программ будущего отдельного издания «Записок охотника», куда вошли и написанные уже произведения, и начатые, и только задуманные [14]. Первый из этих планов относился еще к июню 1847 г. и, таким образом, на несколько месяцев предшествовал письму Некрасова от 28 октября 1847 г., в котором редактор «Современника» предлагал Тургеневу приступить с начала будущего года к публикации отдельного издания «Записок охотника», включив их в серию «Библиотека романов, повестей, записок и путешествий». Первым томом этой серии должен был явиться роман Герцена «Кто виноват?», вторым — «Обыкновенная история» Гончарова, третьим — «Записки охотника» [15].

Смерть Белинского обусловливает проект Тургенева издать «Записки охотника» в пользу семьи великого кри-

тика[16]. Однако цензурно-полицейский террор 1848—1849 гг. делает невозможным не только посвящение «Записок охотника» в той или иной форме памяти Белинского, но и издание этой книги вообще.

«Положение наше, — писал в июле 1849 г. Т. Н. Грановский за границу Герцену, — становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас новою стеснительною мерою. Доносы идут тысячами. Обо мне в течение трех месяцев два раза собирали справки. Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом?» Слухи о предстоящем закрытии всех русских университетов нисколько не удивляют Грановского: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением. Для кадетских корпусов составлены новые программы. Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетам, что величие Христа заключалось преимущественно в покорности властям. Он выставляется образцом подчинения, дисциплины. Учитель истории должен разоблачить мишурные добродетели древнего мира и показать величие непонятой историками империи римской, которой недоставало только одного — *наследственности*. Даже учителю танцевания поручена нравственная пропаганда. Есть с с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя»[17].

Когда Тургенев возвратился летом 1850 г. на родину, общая политическая ситуация была уже не столь напряженной, как в течение двух предшествовавших лет. Успехи контрреволюции на Западе и стабилизация феодальной реакции в России обусловили если не смягчение цензурно-полицейского режима, то во всяком случае отказ на некоторое время от эксцессов в самой практике работы охранительных органов. Этой «передышкой» и поспешил воспользоваться Тургенев, вновь поставив перед своими литературными друзьями и политическими единомышленниками вопрос об отдельном издании «Записок охотника», поскольку выпуск этой книги в свет он считал своим общественным долгом, долгом писателя и гражданина.

Тургенев не закрывал глаза на предстоящие трудности. Незадолго до начала хлопот о «Записках охотника» были запрещены и для печати, и для сцены три его пьесы — «Нахлебник», «Месяц в деревне» и «Завтрак у предводителя». Каждая новая его повесть, каждая критическая

статья появлялись в печати с досаднейшими цензурными сокращениями и искажениями.

«Тяжелые тогда стояли времена, — вспоминал впоследствии об этой поре своей литературной работы Тургенев, — утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору, представить напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор».

И тем не менее этот опыт нисколько не обескуражил писателя. Опираясь на то, что его рассказы из цикла «Записки охотника» в свое время уже прошли очень строгий цензурный фильтр в Петербурге, Тургенев надеялся, что они выдержат испытание и при повторном их рассмотрении в Москве, где цензура была, как ему казалось, менее придирчива, чем в столице.

К концу августа или к самому началу сентября 1850 г. относится последний из известных нам предварительных авторских планов издания «Записок охотника». Этот план сохранился в черновом автографе рассказа «Притынный кабачок» (первая редакция «Певцов»). Издание проектировалось в двух томах, по десяти рассказов в каждом отдельном томе. К начальному перечню двадцати произведений дополнительно приписано было еще три названия («Бежин луг», «Безумная», «Русак») и оставлено место для одного неназванного [18].

О своем издательском плане Тургенев глухо информировал Полину Виардо в письме от 12/24 ноября 1850 г.: «Последние два отрывка из «Записок охотника», появившиеся в «Современнике» <«Свидание» и «Певцы»>, имели большой успех. Я не оставляю мысли собрать все эти рассказы и издать их в Москве» [19].

3.

В январе 1851 г., уезжая из Москвы в Петербург, Тургенев возложил все хлопоты по изданию «Записок охотника» на Н. Х. Кетчера, члена кружка Герцена, друга и единомышленника Белинского. Ему же Тургенев предоставлял и всю чистую прибыль с первого отдельного издания книги [20].

16 февраля Тургенев переслал Кетчеру для будущего

издания рукопись рассказа «Касьян с Красивой Мечи», только что «сильно ощипанного цензурой» в третьей книжке «Современника», а 4 марта он же пытался выяснить через Е. М. Феоктистова, почему Кетчер не ответил на его письмо и «что он намерен делать с «Записками» [21].

В октябре и ноябре 1851 г. Тургенев опять был в Москве, где получил, видимо, от Кетчера какие-то заверения о скорой сдаче рукописи «Записок охотника» в цензурный комитет. Однако с мертвой точки вопрос об издании «Записок охотника» не сдвинулся до начала следующего года, когда инициативу в дальнейших хлопотах по этому делу взял в свои руки В. П. Боткин.

Переговорив по просьбе Тургенева с Кетчером и уяснив, что последний не рискует представить рукопись в московский цензурный комитет, опасаясь ее искажения или запрещения, Боткин выдвинул план представления книги Тургенева на предварительное рассмотрение кого-либо из цензоров, и притом не в официальном, а в частном порядке. В случае положительного заключения цензора эта разведка обеспечивала скорейшее получение официального разрешения рукописи к печати; в случае же признания ее не соответствующей действующим постановлениям о цензуре, рукопись была бы возвращена автору, не оставляя неприятных для него следов в делопроизводстве.

Напомним, что 21 апреля 1850 г. была утверждена Николаем I специальная докладная записка министра народного просвещения по Главному управлению цензуры, которой предусматривалось недопущение к изданию «сочинений, в которых изъявляется сожаление о состоянии крепостных крестьян, описываются злоупотребления помещиков или доказывается, что перемена в отношениях первых к последним принесла бы пользу» [22].

Друзья Тургенева в своих заботах о публикации «Записок охотника» должны были учитывать и возможность применения к нему, в случае запрещения его рукописи, особого «высочайшего повеления», объявленного шефом жандармов гр. Орловым 14 мая 1848 г.: «Те из воспрещаемых цензурою сочинений, которые обнаруживают в писателе особенно вредное, в политическом или нравственном отношении, направление, должны быть представляемы от цензоров, негласным образом, в III отделение собственной его императорского величества канцелярии, с тем, чтобы последнее, смотря по обстоятельствам, или принимало меры к

предупреждению вреда, могущего происходить от такого писателя, или учредить за ним наблюдение»[23].

Для того, чтобы не идти на риск искажения отдельного издания «Записок охотника» в печати, а тем более его возможного запрещения, Боткин и предложил в письме к Тургеневу от 16 января 1852 г. обратиться к московскому цензору кн. В. В. Львову с просьбою взять на себя предварительное ознакомление с рукописью будущей книги. Подчеркнув, что Кетчером этот план полностью был одобрен, Боткин замечал: «Что ты на это скажешь — не знаю, но как средство узнать, можно ли напечатать «Записки» без исключения,— мне кажется это средство удобное»[24].

Князь В. В. Львов был не только цензором. Он был и литератором, автором нескольких известных рассказов для юношества и научно-популярных книг, вращался в кругах передовой московской общественности, состоял даже на учете тайной полиции как якобы «славянофил»[25]. В 1847 г. он обменялся с Гоголем письмами по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями». После смерти Гоголя его письмо к Львову даже ходило в копиях по Москве, о чем свидетельствовал, кстати сказать, и Тургенев в перлюстрированном письме к Боткину от 3 марта 1852 г.[26].

Все эти факты биографии В. В. Львова, принадлежавшего к тому же к числу личных московских знакомых Тургенева, и объясняют предложение Боткина связаться именно с ним по вопросу о цензурном рассмотрении «Записок охотника».

Нам неизвестно ответное письмо Тургенева, но о выполнении им дружеского совета Боткина свидетельствует дальнейший ход дела. Рукопись «Записок охотника», взятая по его просьбе кн. В. В. Львовым и рассматривавшаяся последним в течение месяца, получила почти безоговорочное одобрение, после чего Кетчер официально представил «Записки охотника» 28 февраля 1852 г. в московский цензурный комитет[27]. К сдаче в типографию для набора отдельное издание «Записок охотника» разрешено было В. В. Львовым 5 марта — первая часть и 6 марта — часть вторая.

10 марта 1852 г. Боткин с большим удовлетворением извещал Тургенева о благополучном прохождении его рукописи через цензуру: «Я с Кетчером пил третьего дня за начало печатания «Записок охотника». Умница я,— дело вышло, как я говорил. Из обеих частей Львов выкинул строк десять и то таких, которых нельзя было оставить»[28].

Информация Боткина, как свидетельствует дошедший до нас цензурный оригинал обеих частей «Записок охотника», была очень точна. Работа цензора над препарацией текста рассказов Тургенева в печати свелась к изъятию из журнальной редакции рассказов всего лишь нескольких строк, да к замене в двух-трех случаях одних слов другими, социально и политически менее экспрессивными. Отмечаем все эти искажения курсивом.

В рассказе «Контора» подвергалась усечению строка: «А вы чего храбритесь? *Из господской власти вышли, что ли?* Вы, дармоеды, тунеядцы». И далее: «Меня отпусти *на волю*... Я с голоду не умру, я не пропаду». В рассказе «Бирюк» в строке «не долго тебе *царсгвовать*» последнее слово исправлено было на «чваниться». В рассказе «Однодворец Овсянников» в строке «по питейным домам таскается с *бессрочными* да с мещанами городскими» была изъята ссылка на «бессрочных» (т. е. на солдат, уволенных в бессрочный отпуск). В рассказе «Лебедянь» в характеристике помещика Чернобая изъята была ссылка на то, как этот плут «с важностью *призывал господа бога в свидетели*». В этом же рассказе в строке «Хоть бы *царю Ивану Васильевичу* в светлый праздник прокатиться» вместо зачеркнутого «царю Ивану Васильевичу» поставлено было «хоть бы кому». В рассказе «Смерть» реминисценция из Евангелия о людях, недостойных «развязать ремень от сапог его» заменена была просторечным оборотом «подметок его». В рассказе «Петр Петрович Каратаев» вместо слов «Иной *мужика дерет, как липку, и ничего*» появилось: «Бог знает что делает». Из этого же произведения изъяты были реплики. *1. «Иисусе Христе! Да разве я в своих холопьях не вольна?»; 2. «Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали. Мы Кулика задарили»; 3. «Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец вынесла — а он ей как бухнет в ноги — такой чудной».*

В рассказе «Лес и степь» усечена была сентенция: «Вы все-таки любите природу и *свободу*».

Всего три места выправлено было цензором и в рассказе «Два помещика». Так, сокращена была характеристика генерала Хвалынского, который, как иронически отмечалось рассказчиком, особенно отличался «на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, *церковных освящениях*, собраниях и выставках. *Под благословение он также мастер подходить*». Из этого же рассказа была изъята

часть реплики, определявшей ироническое отношение помещика к попу: «Как в вашем звании не пить, все проповеди держит, да вот вина не пьет». Цензором было сокращено и признание помещика Стегунова о том, как он сводит счеты с непокорными мужиками: «О! Кровь — великое дело! *Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал — кой-куда; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи проклятые!*» [29].

Рукопись «Записок охотника», одобренная кн. Львовым, поступила в типографию 10 марта 1852 г., с тем, чтобы через месяц, ко времени предполагаемого приезда автора в Москву, он мог бы подписать к печати ее первую часть.

В начале марта Тургенев написал предисловие к новой своей книге. Текст его до нас не дошел, но, судя по письму Е. М. Феоктистова от 24 марта 1852 г. к Тургеневу, это предисловие имело остро полемический характер и заключало в себе ответ на статью А. Григорьева о литературно-теоретических позициях Тургенева, прокламированных последним в его рецензии на роман Е. Тур «Племянница». Самой направленностью своей предисловие Тургенева не удовлетворило его московских друзей и было, видимо, уничтожено ими сразу же после его ареста [30].

4.

Публикация письма о смерти Гоголя и начавшееся секретное дознание по этому поводу не позволили Тургеневу своевременно выехать из Петербурга, а 16 апреля он уже был арестован. В письме к Виардо от 1/13 мая 1852 г. писатель не сомневался в том, что его репрессирование сделает надолго невозможным выход «Записок охотника» в свет: «Mon arrestation va probablement rendre impossible la publication de mon ouvrage á Moscou. Je le regrette, mais que faire?» [31].

Тем временем, однако, обе части «Записок охотника» проходили в Москве обычные стадии набора, корректуры, верстки, печати и брошюровки, без всяких осложнений, видимо, по инерции, и остановить этот процесс не мог ни сам автор, находившийся под арестом, ни высшие цензурно-полицейские органы, которых никто не счел нужным посвящать в издательские дела Тургенева.

Печатание «Записок охотника» закончено было около 10 мая 1852 г., а 13 мая московский цензурный комитет приступил к рассылке обязательных экземпляров книги Тургенева в высшие государственные учреждения и библиотеки. Один из этих экземпляров адресован был на имя министра народного просвещения и начальника Главного управления цензуры кн. П. А. Ширинского-Шихматова.

Ко времени получения нового издания министр уже осведомлен был об отзыве Герцена о «Записках охотника» и о предстоящей через день или два высылке Тургенева из Петербурга. Положение главы цензурного ведомства было в высшей степени трудным. С одной стороны, он не мог не учитывать, что проявление бдительности и оперативности в данном случае совершенно обязательно, так как книга Тургенева своим антикрепостническим пафосом явно противостоит видам правительства. С другой стороны, он же не мог не понимать, что вовсе не в его интересах поднимать шум из-за сборника рассказов, известных и самому императору Николаю и руководителям III отделения, не давшим до сих пор, однако, никаких указаний ни о запрещении «Записок охотника», ни о дальнейшей литературной работе их автора.

Само Министерство народного просвещения представляло в эту пору, по авторитетному свидетельству А. В. Никитенко, «какую-то сомнительную отрасль государственного управления» [32], влачившую жалкое существование под идеологическим контролем всесильного III отделения и Комитета по высшему надзору за печатью, возглавляемого генерал-адъютантом Д. П. Бутурлиным. Чиновник средней руки и человек очень ограниченных интеллектуальных данных, кн. П. А. Ширинский-Шихматов получил министерский пост после отставки графа Уварова только потому, что Николай I обратил благосклонное внимание на его докладную записку о том, что «преобразовать преподавание в наших университетах необходимо таким образом, чтобы впредь все положения и выводы науки были основаны не на умственных, а на религиозных истинах» [33].

Ни в придворных кругах, ни в государственном аппарате кн. Ширинский-Шихматов не имел никакой поддержки. Понятно поэтому, что и вопрос о том или ином направлении дознания о «Записках охотника» не сразу получил определенное разрешение. Несмотря на то, что сам ми-

нистр, старый ханжа и крепостник, был глубоко враждебен политическим установкам «Записок охотника», его подход к этому изданию определился обычной для него тактикой мелких компромиссов. Так, сделав распоряжение о секретном рассмотрении книги Тургенева тотчас же после ее получения в Петербурге, глава цензурного ведомства направил это следствие по обычным бюрократическим каналам, без всяких указаний на его срочность и большую принципиальную значимость.

Отдельное издание «Записок охотника» оказалось в распоряжении специальных чиновников Главного управления цензуры, призванных, согласно докладной записке кн. Ширинского-Шихматова «О наблюдении за духом и направлением современных изданий», утвержденной царем 15 апреля 1850 г., «внимательно прочитывать тотчас по появлении их в печати» все журналы и газеты, «делать по содержанию их замечания и доводить немедленно до сведения министра о всяком отступлении от цензурных правил», дабы глава цензуры мог «тогда же употреблять нужные меры строгости и предупреждать подобные упущения на будущее время»[34].

Книги, не принадлежавшие к числу «повременных изданий», как правило, не подвергались проверке чиновников этой новой контрольно-цензурной инстанции, но для «Записок охотника» сделано было исключение.

«По предложению Вашего сиятельства,— отмечалось 26 мая 1852 г. в первой специальной справке о «Записках охотника» для кн. П. А. Ширинского-Шихматова,— эти две части были сличаемы с теми книжками журнала «Современник», в которых в разное время помещались отдельные статьи, соединенные ныне в одно целое сочинение. Оказалось, что большая часть статей напечатана в «Современнике» 1847, 1848 и 1849 годов; в последние же два года (1850 и 1851) только четыре статьи; две же главы второй части, именно XIII, под заглавием «Два помещика», и XVIII, под заглавием «Петр Петрович Каратаев»,— не отысканы в «Современнике»[35].

С точки зрения чинов того контрольно-цензурного аппарата, на рассмотрение которого министр передал отдельное издание «Записок охотника», эта книга представляла интерес как проявление злонамеренности не столько ее автора, сколько цензора, давшего разрешение на ее выпуск в свет. Перед главой цензуры держал ответ наруши-

тель его предначертаний, в данном случае московский цензор кн. В. В. Львов. В результате этого своеобразного экзамена определялась степень надежности одного из чиновников охранительного аппарата и тем самым перспектива дальнейшего его использования на порученной ему работе. Формально-бюрократическое мышление исключало возможность наказания кн. Львова за допущение к печати книги, вошедшие в которую рассказы уже рассматривались цензорами «Современника» и получили одобрение. В полной мере цензор Тургенева отвечал лишь за очерки и рассказы, отсутствовавшие в журнале, за произведения, ранее неизвестные и включенные в отдельное издание, может быть, с какой-нибудь определенной подрывной целью. Вот почему особое внимание чиновников Главного управления цензуры привлекли рассказы «Петр Петрович Каратаев» и «Два помещика». Первый из них ошибочно был назван неизвестным — он появился еще во второй книжке «Современника» 1847 г.— правда, без указания на его вхождение в цикл «Записок охотника», куда Тургенев включил «П. П. Каратаева» лишь в процессе работы над планом отдельного издания «Записок» в 1850 г. [36] Подлинно неизвестным для широких кругов читателей был до отдельного издания «Записок охотника» в 1852 г. лишь один рассказ этого цикла — «Два помещика».

Рассказ «Два помещика», неизвестный читателям до выхода в свет отдельного издания «Записок охотника», задуман был Тургеневым, видимо, еще летом 1847 г. в Зальцбрунне, а закончен не позже зимы 1847/48 г. в Париже. По крайней мере, самый заголовок «Два помещика» появляется уже в том черновом перечне произведений из цикла «Записки охотника», который набросан был Тургеневым на полях рукописи «Бурмистр» и заключал в себе 12 названий рассказов, частью опубликованных на страницах «Современника», частью еще не появившихся в свет, но уже законченных, частью лишь начатых или только задуманных [37].

Рассказ «Два помещика», судя по этому перечню, предназначался Тургеневым для восьмой (августовской) книжки «Современника» вместе с «Бурмистром», «Конторой» и «Бедным семейством» (первая редакция «Уездного лекаря»). Однако работа над «Двумя помещиками» несколько затянулась, и публикация этого рассказа перенесена была на 1848 год. Об этом свидетельствует и объявление о под-

писке на «Современник», редакция которого извещала подписчиков о предстоящем появлении на страницах журнала семи новых рассказов Тургенева: 1. «Два помещика»; 2. «Бирюк»; 3. «Уездный лекарь»; 4. «Туман»; 5. «Человек екатерининского времени»; 6. «Реформатор», 7. «Русский немец»[38].

Новая информация о «Двух помещиках» появилась во второй (февральской) книжке «Современника» 1848 г., в перечне произведений разных авторов, включенных в «Иллюстрированный альманах», издаваемый в качестве бесплатного приложения к журналу[39].

Как известно, «Иллюстрированный альманах» был в марте 1848 г. уже отпечатан, но в связи с усилением цензурно-полицейских репрессий в России после революции во Франции, в Австрии и в Германии подвергся сперва задержанию, а затем запрещению и уничтожению. Однако в дошедших до нас экземплярах этого издания текст «Двух помещиков» отсутствовал. Трудно сказать, сам ли Некрасов своевременно изъял этот рассказ Тургенева из своего сборника, или это сделал благожелательный цензор, возвративший сомнительную рукопись в редакцию журнала. Так или иначе, но самый факт получения рукописи «Двух помещиков» не позже февраля-марта 1848 г. редакцией «Иллюстрированного альманаха» не подлежит сомнению. Об этом особенно красноречиво свидетельствует наличие в запрещенном альманахе гравюры с рисунка П. А. Федотова, озаглавленной «Два помещика», причем точность портретных зарисовок обоих персонажей одноименного рассказа Тургенева подтверждает ближайшее знакомство художника с иллюстрированным им оригиналом[40]. Характерно, что цензор А. Л. Крылов, пересматривая в сентябре 1848 г. материалы запрещенного сборника, обратил внимание как на самый рисунок Федотова («без помещиков и здесь дело не обошлось»), так и на отсутствие в альманахе подходящего текста[41].

Некоторое время возможность публикации «Двух помещиков» была совершенно исключена, и только осенью 1850 г. Тургенев предлагает свой рассказ Н. М. Щепкину, собирающему материал для альманаха «Комета», издаваемого им в Москве. До нас дошло письмо Тургенева от 18 октября 1850 г. к Н. М. Щепкину, в котором он обещает прислать ему «на днях» рассказ «Два помещика» и драматическую сцену «Разговор на большой дороге»[42].

Весною 1851 г. сборник «Комета» вышел в свет, но из двух произведений, предлагавшихся Тургеневым, напечатано в нем было только второе.

Задержка публикации «Двух помещиков» объясняет отказ Тургенева от реализации некоторых других его творческих замыслов в том же жанре, связанных с «Записками охотника». Напомним, что вместе с «Двумя помещиками» редакция «Современника обещала своим подписчикам на 1848 г. еще три рассказа из этого же цикла: «Человек екатерининского времени», «Русский немец» и «Реформатор» [43]. Названия этих рассказов в планах «Записок охотника» появляются еще летом 1847 г. и повторяются до конца 1850 г.

Вопрос о судьбе этих рассказов не раз привлекал к себе внимание исследователей Тургенева, тем более, что некоторые из их фабул сам писатель закрепил и в своих письмах, и в устных рассказах, дошедших до нас в авторитетных записях его собеседников.

Рассказы «Русский немец» и «Реформатор». задуманные как два самостоятельных произведения во второй половине 1847 г., т. е. в пору работы Тургенева над «Бурмистром», «Конторой» и «Двумя помещиками», к лету 1848 г. объединились в одно эпическое полотно — «Русский немец и реформатор» [44]. Рукопись этого произведения не сохранилась, но о героях его мы имеем довольно четкое представление благодаря запискам Н. А. Островской, встречавшейся с Тургеневым в Карлсбаде в 1873 г.

«Зашел как-то разговор об одном господине, давно умершем <Зиновьеве>,— передает Н. А. Островская,— он был человек не злой и порядочный, рассказывал Тургенев,— только невыносимый: у него, бывало, все — государственное дело, вечно он был озабочен. Я его об одном просил: «Сделайте милость, З., не застегивайте при мне сюртука!» Так он важно пуговицы застегивал, что на нервы действовало. Я пробовал его изобразить в повести, которая должна была войти в состав «Записок охотника». Представлено было два помещика: один З. в своей деревне все распоряжался, все порядок водворял — мужиков обстроил по своему плану, заставлял их пить, есть, делать по своей программе; ночью вставал, обходил избы, будил народ, все наблюдал. Другой был немец рассудительный, аккуратный, но — у обоих мужикам приходилось плохо. Только З. вышел у меня до того поразительно похож на

Николая Павловича, что нечего было и думать печатать, цензура ни за что бы не пропустила» [45].

Образ «Русского немца», типические черты и линия поведения которого в крепостной деревне волновали творческое воображение Тургенева в 1847—1848 гг., с исключительной памфлетной силой показан был одиннадцать лет спустя в фельетонах Герцена «Русские немцы и немецкие русские»:

«Из всех правительственных немцев — русские немцы самые худшие, — писал Герцен в «Колоколе» в 1859 г. — Немецкий немец в правительстве бывает наивен, бывает глуп, снисходит иногда к варварам, которых он должен очеловечить. Русский немец ограниченно умен и смотрит с отвращением стыдящегося родственника на народ. И тот и другой чувствуют свое бесконечное превосходство над ним, и тот и другой глубоко презирают все русское, уверены, что с нашим братом ничего без палки не сделаешь. Но немец не всегда показывает это, хотя и всегда бьет; а русский и бьет, и хвастается». И далее: «Немцы из настоящих и из поддельных приняли русского человека за tabula rasa, за лист белой бумаги... И так как они не знали, что писать, то они положили на нем свое тавро и сделали из простой бумаги гербовый лист и исписали его потом нелепыми формами, титулами, а главное — крепостными актами, которыми закабаляли больше и больше это *живое тесто*, которое они были призваны выцивилизовать» [46].

Круг проблем, связанных с темою «Русские немцы», определялся для Герцена не только философско-историческими и социально-политическими аспектами. «Русский немец» занимал его и как типический характер, обусловленный совершенно конкретными национальными и бытовыми условиями. И занимала его эта тема уже много лет: «В мою молодость, в Москве, я имел случай изучить по крайней мере человек пять Биронов,— рассказывал Герцен в своем памфлете.— Отец мой охотно отдавал дворовых мальчиков к немцам *в науку*. Все хозяева были неумолимые, систематические злодеи, и притом какие-то *беззлобные*, что еще больше делало невыносимым их тиранство» [47].

Мы полагаем, что именно эти особенности восприятия типических черт «русских немцев» и «немецких русских», закрепившиеся в творческом сознании Тургенева в пору его встреч с Герценом в Париже в 1847—1848 гг., дают ключ к уяснению образов его недописанного рассказа

«Русский немец и реформатор». Это отчасти подтверждается и строками письма Тургенева к Герцену от 5/17 декабря 1865 г., в котором он характеризовал г. Поггенполя, редактора русско-французской газеты «Le Nord», издававшейся в Брюсселе: «Поггенполь интригант — русский немец, который уверяет, что «чуфствует союзу» (собственные его слова) с русским мужиком» [48]. Неслучайно и то, что образ русского немца, занимавший Тургенева в его рассказе, оказался очень похожим на императора Николая. Ведь именно о нем писал и Герцен в своем памфлете, утверждая, что «один из самых замечательных русских немцев, желавших обрусеть, был Николай» [49].

В цикл «Записок охотника» не вошел и рассказ «Человек екатерининского времени». Б. М. Эйхенбаум выразил предположение, что под этим названием Тургенев имел в виду включить в отдельное издание «Записок охотника» повесть «Три портрета», опубликованную в «Петербургском сборнике» Некрасова в 1846 г. [50]. С гипотезой этой трудно согласиться, так как «Человек екатерининского времени», судя по отметке самого Тургенева в первом перечне рассказов из цикла «Записки охотника», предназначался для двенадцатой книги «Современника» 1847 г., а затем упоминался в объявлении о подписке на этот же журнал в 1848 г.

Произведение, опубликованное в таком широко известном альманахе, как «Петербургский сборник», не могло бы намечаться через два года в «Современник», даже в том случае, если бы Тургенев и принял решение (что само по себе мало вероятно) о включении «Трех встреч» в цикл «Записок охотника».

Более осторожна, но столь же по существу бесперспективна, была гипотеза М. К. Клемана о том, что «рудиментом» рассказа «Человек екатерининского времени» являлись строки рассказа «Малиновая вода», посвященные «графу Петру Ильичу***» и его слуге, Туману, который «улыбался, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво» [51]. Разумеется, никаких ключей к тематике «Человека екатерининского времени» в этих строках еще не заключалось и заключаться не могло.

Неудачи исследователей, искавших ключей к фабуле рассказа «Человек екатерининского времени» в произведениях, предшествовавших этому замыслу, заставили нас

продолжать эти поиски в прямо противоположном направлении, сосредоточив внимание не на ранних рассказах Тургенева, а на его произведениях позднейшей поры.

В повести «Бригадир», опубликованной в 1867 г., и обнаружены были нами следы той самой антикрепостнической новеллы, название которой появилось впервые еще двадцать лет назад в одном из планов «Записок охотника».

К рассказу «Человек екатерининского времени» восходил прежде всего образ героя повести «Бригадир» — Василия Фомича Гуськова, сподвижника Суворова, получившего «большой офицерский георгиевский крест» за штурм Праги в 1794 г. («Бригадир», гл. XI). Вспоминая свою встречу с престарелым бригадиром, автор признается: «Я никак не был в состоянии себе представить, каким образом этот убогий старичок мог когда-то быть военным человеком, командовать, распоряжаться — да еще в екатерининские суровые времена» (гл. VI), или «Екатерининский кавалер мелькнул в нем на мгновение и исчез» (гл. VIII).

Возлюбленная Гуськова, Аграфена Ивановна Телегина, «нраву была неукротимого и на руку дерзка». — «Однажды она с лестницы своего казачка столкнула, а тот возьми да переломи себе два ребра и ногу». Молодая помещица так испугалась, что «велела запереть казачка в чулан и до тех пор сама из дому не выходила и ключ от чулана никому не отдала, пока не прекратились в нем стенанья». Хотя казачка и похоронили «тайком», но через некоторое время «завязалось дело — приехал суд, отрыли тело... оказались боевые знаки... пошел дым коромыслом». Василий Фомич, чтобы спасти любимую женщину от тюрьмы и ссылки, «все на себя взял». Этот процесс его разорил, превратил в нищего, но Аграфена Петровна была спасена.

Рассказ об убийстве крепостного мальчика — только один из сюжетных узлов «Бригадира», вовсе не определяющий тональности этой поздней повести в целом. Но в пору включения «Человека екатерининского времени» в цикл «Записок охотника» именно отмеченный нами эпизод входил в антикрепостническую эпопею Тургенева как органическое ее звено, как конкретная историческая деталь большого социально-политического звучания.

Ничем не схожий с другими произведениями Тургенева шестидесятых годов, рассказ «Бригадир» и в общем идей-

но-тематическом плане, и характернейшими особенностями своей внешней и внутренней структуры не отделим от полотен «Записок охотника»[52]. Подчеркнуто архаичен в «Бригадире» и самый зачин рассказа, якобы только записанного Тургеневым со слов его старого приятеля, скромного провинциала, ни в какой мере не претендующего на литературное мастерство: «Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять, тридцать лет тому назад изобиловала наша великорусская Украйна»[53]. И далее: «Вот такую-то усадьбу пришлось мне посетить лет тридцать тому назад».— «Мой товарищ и я — мы оба были страстные охотники, а потому и сговорились съехаться — он из Москвы, я из своей деревеньки — к Петрову дню в его домик».

Живую и непосредственную связь «Бригадира» с рассказами периода «Записок охотника» немедленно уловили наиболее вдумчивые из его первых читателей. Так, например, П. В. Анненков, откликаясь в письме к М. М. Стасюлевичу на публикацию «Бригадира» в «Вестнике Европы», характеризовал его как «рассказ, весьма напоминающий те бриллиантики, из которых состоят «Записки охотника»[54]. Об этом же, примерно в тех же словах, писал Тургеневу в феврале 1868 г. И. А. Гончаров, подчеркивая, что «эта маленькая вещь» напомнила ему «Записки охотника»[55], а П. Л. Лавров, работая над некрологом Тургенева для «Вестника Народной Воли», безоговорочно включил повесть «Бригадир» в число тех произведений Тургенева, в которых он с наибольшею силою «воплотил в вечно живые образы ужасы легальных крепостных отношений»[56].

Замысел рассказа «Человек екатерининского времени» был реализован Тургеневым лишь спустя двадцать лет после того, как произведение это было обещано читателям «Современника». В еще более неблагоприятных условиях оказался другой замысел той же поры, очень близкий по своей фабуле и методам ее развертывания, с одной стороны, «Бригадиру», с другой — «Русскому немцу и реформатору». Мы имеем в виду рассказ «Землеед», известный нам по отмеченным выше запискам Н. А. Островской. Вот что записано было ею со слов Тургенева:

«Бывши студентом (как видите, это было очень давно), приехал я летом в деревню охотиться. На охоту водил меня старик из дворовых соседнего имения. Вот раз ходили мы, ходили по лесу, устали, сели отдохнуть. Только, вижу

я, старик мой все осматривается, головой покачивает. Меня это, наконец, заинтересовало. Спрашиваю: «Ты что?» — «Да место, говорит, знакомое»... И рассказал он мне историю, как когда-то на самом этом месте барина убили. Барин был жестокий. Особенно донимал он дворовых: конечно, потому что они находились с ним более в близких отношениях, чем крестьяне. Вот дворовые и сговорились вытащить его ночью из дома куда-нибудь подальше и покончить с ним. Старик мой был еще тогда мальчишкой. Он случайно подслушал разговор и в ту ночь следил за заговорщиками, — видел, как стащили барина с завязанным ртом, чтобы он не мог кричать (мальчик бежал за этой процессией сторонкой). Когда мужики пришли в лес, мальчик спрятался в кустарник и оттуда все видел. Были страшные подробности, — например, повар набивал барину рот грязью (в тот день шел дождь), приговаривая, чтобы он его кушанья попробовал»[57].

За несколько месяцев до беседы с Н. А. Островской Тургенев писал 25 октября 1872 г. П. А. Анненкову: «Отрывков из «Записок охотника» напечатано 22; всех их было приготовлено 26. Из ненапечатанных четырех два были начаты: «Русский немец и реформатор» и «Землеед», два только набросаны: «Приметы» и «Незадача»[58]. Первые два оставлены потому, что я знал, что никакая тогдашняя цензура их бы не пропустила, вторые — потому, что были незначительны». И далее, обращаясь к фабуле «Землееда», Тургенев пояснял: «В этом рассказе я передаю совершившийся у нас факт, как крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезывал у них землю и которого они прозвали за то «Землеедом», заставив его скушать фунтов восемь отличнейшего чернозему. Сюжет веселенький, как изволите видеть»[59].

Понятно поэтому и отсутствие очерка с таким «веселеньким сюжетом», как «Землеед», во всех известных нам перечнях рассказов, уже написанных или только задуманных Тургеневым в пору его работы над циклом «Записки охотника». С большой долей вероятия можно, однако, предположить, что именно этот рассказ имел в виду Тургенев, составляя осенью 1850 г. план издания «Записок охотника» в двух томах, по 12 рассказов в каждом, причем последний рассказ (двадцать четвертый) остался неназванным[60].

6.

Секретное следствие о «Записках охотника» началось в Главном управлении цензуры с рассмотрения рассказов «Два помещика» и «Петр Петрович Каратаев». Первый из них действительно впервые был опубликован в отдельном издании «Записок охотника», а второй, как уже отмечалось выше, оказался объектом специального рассмотрения лишь в результате известного недоразумения, так как он не являлся литературной новинкой.

«По приказанию Вашего Сиятельства, — отмечал коллежский советник Е. Е. Волков в своем рапорте от 25 июня 1852 г., — я рассмотрел XIII и XVIII главы второй части книги под заглавием: «Записки охотника», соч. г. Тургенева.

Замеченные мною в этих главах нижеозначенные места, которые, как кажется, могут быть названы предосудительными, я имею честь представить на благоусмотрение Вашего Сиятельства.

1. Глава XIII. Два помещика.

Автор, рисуя портрет отставного генерал-майора Хвалынского и изображая его в смешном виде, говорит о нем, между прочим, следующее:

Стран. 25 и 26.

«Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой; взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного *петербургского важного чиновника*, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в именьи часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком»... и проч. в том же тоне насмешки. Этот важный петербургский чиновник — сановник выставлен автором пошлым дураком и сумасбродом. Слово *сановник* означает у нас лицо Государственное, а потому при этом названии не должно, мне кажется, дозволять себе ни той иронии, ни той насмешки, которые допустил в своей книге г. Тургенев. Не кроется ли тут какая-нибудь личность?

Стран. 27.

«Состоял он (Хвалынский) в *молодые годы* адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет, как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он *принимал на себя не один адъютантские обязанности — да не всякому слуху можно верить».*

«Принимал на себя не одни адъютантские обязанности».

Непонятно, как мог г. ценсор пропустить подобное выражение, так ясно обозначающее скрытую грязную мысль автора? И я не ошибаюсь, говоря это, потому что и многие другие, читавшие «Записки охотника», понимают помянутое выражение точно так же, как и я его понимаю. Каждому образованному читателю очень хорошо известно, что никаких нет таких адъютантских обязанностей, о которых бы нельзя было говорить печатно; но г. Тургенев намекает на такие, по его словам, обязанности, которые противны не только нравственности,

но даже и самой природе человека! — Вот почему он и не наименовал эти обязанности, а закончил фразу словами: «да не всякому слуху можно верить», и тем самым еще более укрепил в читателе мысль, родящуюся у него при чтении вышеозначенного выражения.

«Перейдем теперь к другому помещику». Этими словами автор, оканчивая очерк *Хвалынского,* начинает описывать помещика *Стегунова.*

Так как в обоих этих рассказах нет никакой интриги, — это просто один только очерк двух помещиков, знакомых автору, то мне и невозможно передать Вашему Сиятельству содержание XIII главы Записок Охотника. Я вынужден ограничиться указанием одних только мест, которые, по моему мнению, могут быть названы предосудительными и, следовательно, не долженствовавшие быть допущенными к печати.

Говоря о священнике, которого автор встретил у помещика Стегунова, он представляет его в униженном и подобострастном положении, так несоответственным с саном служителя церкви. Обращение Стегунова с священником более чем фамильярное: оно близко к пренебрежению, с которым помещики, подобные Стегунову, привыкли обращаться с своими крестьянами.

Стран. 33 и 34.

«Погоди, погоди, батюшка, — заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки, — не уходи; я велел тебе водки принести».

«Я не пью-с, — с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

«Что за пустяки! — отвечал Мардарий Аполлоныч: — Мишка, Юшка, водки батюшке!»

Тут надо заметить, что это было вовсе не время, в которое обыкновенно подают водку, — это было в 7 часов вечера, — время для чаю, а не для водки. Ее во всякое время подают только одним мужикам. — Когда принесли водку, то священник начал отказываться.

«Пей, батюшка, *не ломайся»,* — заметил помещик. Выражение: *«не ломайся»* не доказывает ли пренебрежение помещика к священнику?

Стран. 37.

«А что будешь делать с размежеваньем? Отвечал мне Мардарий Аполлоныч. У меня это размежевание вот где сидит (он указал на свой затылок). *И никакой пользы я от этого размежеванья не предвижу».*

Не могу оставить без внимания этих последних слов. С первого взгляда они кажутся очень невинными; но, вникнув в них хорошенько, убедишься, что эти слова могут иметь вредное влияние на большую часть наших помещиков, которые, к сожалению, походят во всем на Мардария Аполлоныча Стегунова.

Мне случалось много раз присутствовать при полюбовном размежевании, а потому я знаю по опыту, как помещики, и в особенности помещицы наши, закоренелые в невежестве и предрассудках, — стараются всевозможными средствами уклониться от исполнения желаний Правительства, касательно уничтожения чересполосного владения [61]. Каждый из таких помещиков, прочтя книгу г. Тургенева, с самодовольствием остановится на словах: *«И никакой пользы я от этого размежеванья не предвижу»* и более прежнего станет уклоняться от полюбовного размежевания. В провинциях еще до сих пор верят слепо всему печатному, а потому там наверное станут рассуждать так:

«Не защищайте пожалуйста вы размежевания,— от него нет и не будет никакой пользы, и мне странно, что вы спорите, когда известный наш автор г. Тургенев печатно, да, сударь мой, печатно в одном из своих сочинений говорит, что размежевание неможет принести никакой пользы».

Трудно, почти невозможно разуверить такого провинциального оратора; на все доказательства и доводы, что это говорит не г. Тургенев, а одно из описываемых им лиц — помещик Стегунов, невежда, человек вовсе не образованный — вам возразят, что это не так, не правда, что это говорит сам Тургенев, потому что он, а не кто другой сочинил эту книгу.

Быть может, во всем вышесказанном я и ошибаюсь; но мне кажется, что во всяком случае ценсор, при рассматривании каждого сочинения, должен обращать особенное внимание на выражения, в которых кроется какая-нибудь дурная мысль автора, замаскированная приличными и часто отборными словами; равно и на те слова, которые могут быть известным кругом читателей поняты не так, как следует, или перетолкованы в дурную сторону.

2. Глава XVIII. Петр Петрович Каратаев.

С этим оригинальным лицом автор встретился на станции в проезд свой из Москвы в Тулу. Описав наружность и характер Каратаева, г. Тургенев передает читателю рассказанный ему самим Каратаевым эпизод из своей жизни.

Вот содержание этого рассказа.— Каратаев, влюбившись в крепостную девку одной помещицы, хотел было ее выкупить на волю; но так как ее барыня на это не согласилась, то он увез свою возлюбленную.— Барыня, как водится, подала объявление о побеге своей девки, не подозревая, что она живет у Каратаева. Впоследствии, однакож, помещица узнала об этом и подала в суд жалобу, да тут же, как выражается Каратаев, и благодарность, как следует, предъявила. В следствие этой жалобы явился к Каратаеву Исправник с требованием от него беглянки, но влюбленный похититель, угостив Исправника хорошим завтраком и предложив ему свою лошадь в подарок, на что тот и согласился, выпроваживает уездного блюстителя порядка из своего дому.

Стран. 179.

«Смотрю, едет ко мне исправник; а исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеич Кузовкин, хороший человек, то есть, в сущности, человек не хороший. Вот приезжает и говорит: так и так, Петр Петрович, как же это так? Ответственность сильная и законы на этот счет ясные. Я ему говорю: ну, об этом мы, разумеется, с вами поговорим, а вот не хотите ли перекусить с дороги? Перекусить-то он согласился, но говорит: правосудие требует, Петр Петрович, сами посудите. — Оно, конечно, правосудие, говорю я; оно, конечно... а вот я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего Лампурдоса ? А девки Матрены Федоровой у меня не имеется. — Ну, говорит он, Петр Петрович, девка-то у вас; мы ведь не в Швейцарии живем... а на Лампурдоса поменяться лошадкой можно, можно, пожалуй, его и так взять».

Говоря другими словами, исправник взял взятку, вследствие чего и оставил девку-беглянку у Каратаева. Но старая помещица не переставала хлопотать в суде, и вероятно отняла бы наконец у Каратаева свою девку, если б эта последняя, вскоре после посещения Исправника, сама не вздумала к ней явиться. Каратаев, лишившись

своей возлюбленной, предался отчаянию и долго не мог забыть своего горя.— «Ведь, что вы думаете?— продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все еще бежали по его разгоряченным щекам,— ведь выдала себя девка! Пошла да и выдала себя»...

Этими словами Каратаев заключает свой рассказ.

В главе XVIII я не встретил ничего такого особенного, что могло бы, в отношении ценсурном, обратить на себя внимание; однакож мне кажется, что следующее выражение не совсем прилично, и очень бы могло быть выпущено. Автор, за недостатком почтовых лошадей, просидел целый день на станции, и вот что говорит он о смотрителе.

«Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность»...

Проклинать свою должность, то есть службу свою, выражение довольно странное и не приличное, потому что оно выражает, некоторым образом, неуважение к Правительству, постановляющему все должности в Государстве.

25 июня, 1852. Коллежский Советник Волков.

Прежде чем дать ход рапорту Волкова, министр народного просвещения переслал его 30 июня 1852 г. на контрольный отзыв чиновнику особых поручений В. И. Кузнецову.

Новый цензор оказался гораздо снисходительнее своего предшественника и в своей докладной записке о двух рассказах Тургенева, разрешение которых к печати признано было ошибкою, склонен был отвести большую часть обвинений, выдвинутых против них в рапорте Волкова.

«В разбираемых двух главах, XII и XVIII, второй части «Записок охотника» Тургенева,— писал Кузнецов,— автор рисует быт помещиков в России, стараясь подделаться под выражения, употребляемые в общежитии. Если рассматривать с этой точки зрения указанные в рапорте места, то я бы полагал возможным считать некоторые из них не столь предосудительными, как полагает Коллежский Советник Волков. Именно:

1. В главе XIII «Два помещика». Замечание о неосновательных распоряжениях по хозяйству одного *важного Петербургского чиновника* (стр. 25 и 26) тогда только подлежит осуждению, если тут скрывается личность: но вероятно, что это анекдот уже старый. Название же *сановника*, данное тому же чиновнику, оправдывается тем, что автор говорит здесь иронически: ибо слово *сановник* не имеет определенного значения и в официальном слоге не употребляется.

2. Свидание священника с помещиком Стегуновым (глава XIII, стр. 33 и 34) также, кажется, взято из нравов деревенского быта. Если помещик и обращается с священником с некоторою фамильярностию, то это объясняется тем, что последний пришел как гость. Если молодой священник выказывает перед уважаемым в уезде лицом застенчивость и смирение, то это не может назваться неприличным его

летам и званию. Если Стегунов при прощании угощает водкой, то это есть известный обычай у всех русских, остаток патриархальных нравов; притом водкой угощают обыкновенно дорогих гостей. Слова *«не ломайся»* не выражают, кажется, пренебрежения, но, напротив, близость отношений.

3. В главе XVIII под заглавием: «Петр Петрович Каратаев» обращают на себя внимание: Рассказ о любовной связи Каратаева с простою крепостною девкою, также о взятках, которые даются в суде и исправнику. В первом отношении рассказ этот, кажется, не выходит из пределов дозволенного; во втором отношении, хотя и желательно бы было, чтобы избегать намеков на взятки, но это случай возможный, ибо неблагонамеренные люди, как везде, так и между чиновниками, встречаются. Г. Волков также полагает, что в этом рассказе нет ничего особенного, что могло бы, в отношении цензурном, обратить на себя внимание.

Затем я и с своей стороны полагаю, что глава XIII: «Два помещика» погрешает против цензурных требований:

1. В приведенной из стр. 27-й выписки о том, что отставной Генерал Хвалынский, состоя *в молодые годы* адъютантом, *принимал на себя не одне адъютантские обязанности — да не всякому слуху можно верить*. Если признать толкование г. Волкова на это место справедливым, то конечно оно весьма безнравственно и не должно бы было быть помещаемо. Нельзя ли однакож дать этим словам и более близкий смысл со всей нитию рассказа. В этой самой выписке сказано, что он называл то значительное лицо, у которого был адъютантом, не иначе, как по имени отчеству; следовательно, старался выказывать некоторое равенство в отношениях к этому лицу. Между тем из описания характера Хвалынского видно, что он был подобострастен с высшими и обращался с пренебрежением с низшими: из этого нельзя ли заключить, что под выражением: *не одне адъютантские обязанности*, автор хотел указать на излишнюю услужливость вообще, независимо от исполнения долга благородного подчиненного.

2. В той же главе XIII, на стр. 37, употреблено выражение: «И никакой пользы от размежевания не предвижу». Хотя оно и служит для изображения характера Стегунова, предпочитающего старину всему новому; но эти слова сказаны не осторожно, и удобнее могли бы быть пропущены.

3. В главе XVIII, на стр. 159-й, «Петр Петрович Каратаев», г. Волков справедливо, как и мне кажется, замечает неуместность выражения, что Смотритель: *«будто сам проклинал свою должность»*. Выражение это также заимствовано из просторечия; но в печати могло быть заменено другим.

Вторая часть Записок Тургенева при сем прилагается.

3-го июля 1852. Коллежский Советник В. Кузнецов.

Докладные записки чиновников особых поручений Е. Е. Волкова и В. И. Кузнецова о рассказах Тургенева «Два помещика» и «П. П. Каратаев», вошедших во вторую часть отдельного издания «Записок охотника», заставили главу цензурного ведомства вновь вернуться к вопросу о книге Тургенева в целом. В ответ на запрос кн. Ширинского-Шихматова, «была ли рассмотрена первая часть, и если

была, то что оказалось?» — ему была представлена 9 июля 1852 г. следующая справка чиновником Главного управления цензуры коллежским секретарем Галовым:

«Повременные издания рассматриваются чиновниками особых поручений только с 10 апреля 1850 г. Посему все, напечатанное в «Современнике» до этого времени, не подвергалось никакому особому рассмотрению, кроме как со стороны обыкновенной цензуры. На сем основании в вышедшей в Москве книге под заглавием: «Записки охотника», состоящей из 2-х томов, в первом томе из 11-ти статей рассмотрены были чиновниками особых поручений только две статьи, а во втором, не включая 2 статьи, рассмотренные г. Волковым, из остальных 11-ти рассмотрены тоже только две статьи, в которых по отзывам означенных чиновников, не оказалось ничего, противного цензурным правилам».

Специальное рассмотрение первой части «Записок охотника» министр поручил после этого коллежскому советнику Волкову, отношение которого к «Запискам охотника» получило уже достаточно определенное выражение в его оценке «Двух помещиков» и «П. П. Каратаева». Его новый рапорт на имя министра от 5 августа 1852 г. представлял собою широко развернутый обвинительный акт:

«Вникнув внимательно в содержание обеих частей этих записок и обсудив их со всех сторон, — резюмировал Волков свои замечания в особом введении к рапорту, — невольно придешь к заключению: что при издании оных г. Тургенев, человек, как известно, богатый, конечно не имел в виду прибыли от продажи своего сочинения; но вероятно имел совершенно другую цель, для достижения которой и напечатал помяиутую книгу[62].

Какая же именно эта цель? Разрешение этого вопроса я на себя взять не могу, боясь ошибиться; но желательно было бы, чтоб все читатели видели в помянутых записках одну лишь только хорошую и полезную цель! Что же касается собственно до меня, то мне кажется, что книга г. Тургенева сделает более зла, чем добра... и вот почему. Полезно ли, например, показывать нашему грамотному народу (нельзя же отвергать, что «Записки охотника», как и всякая другая книга, могут быть читаны грамотным крестьянином и другими лицами из нисшего сословия), что однодворцы и крестьяне наши, которых автор до того опоэтизировал, что видит в них администраторов, рационалистов, романтиков, идеалистов, людей восторженных и мечтательных (бог знает где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противузаконно, что сельское духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие власти берут взятки, или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше. Не думаю, чтоб все это могло принести какую-нибудь пользу или хотя бы удовольствие благомыслящему чита-

телю; напротив, все подобные рассказы оставляют по себе какое-то неприятное чувство. Несмотря на это «Записки охотника» переводятся на немецкий язык, и один отрывок, под заглавием «Сосед мой Радилов» (Глава V 1-й части), рассказ, по содержанию своему противный законам нашей церкви, уже напечатан в Санкт-Петербургских немецких ведомостях, с некоторою, впрочем, переменою, сделанною г. Ценсором Пейкером в конце повести[63].

В 1-й части «Записок охотника» помещены 11 рассказов, которые, равно как и во 2-й части, не имеют никакого общего содержания, никакой связи между собой. Это — характеристика разных лиц, большей частью из крестьянского сословия, с которыми автор познакомился на охоте.

Чтоб не обеспокоить Ваше сиятельство чтением разбора всех помянутых 11 рассказов, тем более, что в числе оных есть и такие, которые не имеют ничего предосудительного, я осмелюсь обратить внимание Ваше только на те, которые в ценсурном отношении подлежат, по моему мнению, некоторым замечаниям.

Стран. 1.

I. Хорь и Калинич.

Прозвание двух крестьян, из коих первый, по словам автора, был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; второй — напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Вся помянутая глава заключается в описании характеров и привычек крестьян, а также и их помещика Полутыкина, которого автор, по принятому им правилу, выставляет оригиналом и до крайности смешным человеком.

Вот несколько замечаний на некоторые места в этом рассказе.

Стран. 15.

В разговоре с Хорем автор спрашивает его, отчего он не откупится от своего барина?

«А для чего мне откупаться. Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю, барин у нас хороший».

«*Все же лучше на свободе*. Заметил я».

«Хорь посмотрел на меня сбоку».

«Вестимо, — проговорил он».

Внушать крестьянину мысли, что на свободе ему будет лучше, чем у своего барина, несмотря даже, что он хороший барин, мне кажется не следует; для крестьян в настоящее время свобода есть сущая пагуба.

Стран. 26.

Хорь трунит над другом своим Калиничем и вместе с тем посмеивается над своим помещиком; Калинич защищает его. Хотя в выражениях, которые употребляет при сем случае Хорь, и нет ничего непристойного, за всем тем, мне кажется, не следовало бы допускать к печати и даже малейшего намека, в котором проглядывает насмешка крестьянина над своим помещиком, потому что насмешка показывает неуважение, непочтение к тому, к кому она относится, а неуважение крестьянина к своему помещику часто ведет за собою непослушание и неповиновение.

Стран. 31.

II. Ермолай и Мельничиха.

В этом рассказе автор объясняет читателю сперва что такое «Тяга» (техническое выражение у охотников), потом знакомит его с ка-

ким-то бродягой, крестьянином Ермолаем, или Ермолкой, как его прозвали. В описании характера и наружности этого бродяги-охотника (он был охотник) ничего нет достойного внимания, а потому я перейду прямо к другой личности этого рассказа, к Мельничихе. По случаю ночлега у мужа ее, мельника, автор рассказывает ее историю, которая заключается в том, что эта Мельничиха некогда была горничной у жены какого-то помещика Зверкова; влюбилась она там в одного из лакеев и несколько раз просила барина дозволить ей выдти замуж. Но барин не дозволял, потому что барыня не могла терпеть подле себя замужних; последствием этого было то, что обыкновенно бывает... Заметив беременность горничной, Зверков приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Там она понравилась Мельнику, который, выкупив ее на волю, женился на ней. Вот в коротких словах и вся история Мельничихи.

В этом рассказе обратили мое внимание следующие места. Ермолай, давно знакомый с Мельничихой, спрашивает у нее:

Стран. 44.

«А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?»

«Хвораю».

«Что так?»

«Кашель по ночам мучит».

1. «Ты *к лекарю не* ходи, *Арина*: *хуже будет*».

«Я и то не хожу».

«А *ко мне зайди погостить*».

«Арина потупила голову».

2. «*Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, — продолжал Ермолай. — Право-ся*».

1. Автор словами Ермолая советует не ходить к лекарю, угрожая, что будет хуже! — Подобные советы вредны и погубны для простого народа. И без того уже невежество и суеверие, недоверяющие просвещенной опытности врачей, к несчастью, очень часто бывают причиной большой смертности в простом народе.

2. Предложение Ермолая Мельничихе погостить у него в отсутствие его жены, которую он нарочно для сего прогнать хочет из дома, в высшей степени безнравственно. Очень понятно, для чего Ермолай приглашает к себе Арину.

Стран. 93.

Мой сосед Радилов.

Вот содержание этого рассказа.

Однажды автор, скитаясь с вышеупомянутым Ермолаем по полям за куропатками, зашел в заброшенный сад, принадлежавший помещику Радилову, и там, встретившись с ним, приглашен был к нему обедать.

Радилов жил в стареньком домике, со своей старушкой матерью и сестрой покойной жены своей. Радилов был вдовец. После описания характеров всех членов этого семейства, автор издалека намекает читателю, что Радилов влюблен в свою свояченицу и что она вполне разделяет его любовь. Спустя несколько времени после первого своего посещения, автор вторично заехал к Радилову, но не застал уже ни его, ни его свояченицы. Радилов внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то со своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я, прибавляет автор, только тогда окончательно понял выражение Ольгина (свояченицы) лица во

время рассказа Радилова о покойной жене своей. Не одним состраданием дышало оно тогда — оно пылало также ревностью.

Ольга ревновала Радилова к покойной родной сестре своей! Мне кажется, рассказ этот противен мудрым постановлениям нашей церкви, следовательно, противен и нравственности.

Стран. 253.

X. Бурмистр.

Главное действующее лицо в этой повести богатый помещик, отставной Гвардейский офицер Пеночкин. Характер его описан с самой злой иронией. Пеночкин как помещик представлен деспотом, как человек — либералом, трусом и подлецом. После сего автор знакомит читателя с Бурмистром Пеночкина — Сафроном, продувным мошенником, который обкрадывает своего барина и притесняет крестьян. Несмотря на это, Пеночкин называет его *Государственным человеком!* (стран. 269).

Какая дерзость давать безграмотному мужику название, приобретаемое в Государственной службе важными заслугами своему отечеству! Если же в словах Пеночкина, или автора, что одно и тоже, скрывается ирония, т. е. насмешка над государственными людьми, то тем еще хуже, тем непростительнее!

Но рассмотрим по порядку все те места в этой повести, которые я не мог оставить без замечания.

Стран. 254.

«Пеночкин, говоря собственными его словами, строг, но справедлив; *о благе подданных своих* печется и наказывает их для их же блага».

Своих подданных! Странное и даже дерзкое выражение. Подданные могут быть у одного только государя, а не у помещика; крепостной человек не есть подданный своего господина, он подданный царя своего.

Стран. 259.

«Ведь вы может быть не знаете, продолжал Пеночкин, мои мужики там на оброке».

«*Конституция*, что будешь делать?»

Говоря другими словами, это значит, что Пеночкин дал своим мужикам Конституцию.

Хотя тут и понятно, что Пеночкин, употребив слово Конституция, хотел выразиться иронически, но тем не менее г. ценсор не должен был бы допускать этого слова к печати, вспомнив, что оно повторялось простым народом на Сенатской площади во время страшной катастрофы 14 декабря...

Стран. 261.

«Я, говорит автор, сидел в одной коляске с Аркадием Павловичем (Пеночкиным) и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что втечение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начал уже либеральничать».

Хотя тут и не говорится, какие именно либеральные мысли сообщал Пеночкин автору, но во всяком случае слово либеральничать не следовало бы, мне кажется, допускать к печати.

Стран. 266.

Бурмистр, по подаче ужина барину своему, прогоняет из избы своего сына, говоря: «*дескать, духоты напущаешь*».

Смешно, но не благопристойно, грязно!

Стран. 266—268.

Государственный человек, бурмистр Сафрон, докладывает своему барину, что по случаю размежевания он дал какому-то «Миколаю Миколаичу» взятку, а также дал взятку и становому приставу по делу о найденном на земле Пеночкина мертвом теле, которое, однакож, бурмистр велел стащить на землю соседа.

«Ведь что батюшка думаете?»

«Ведь осталось у чужаков на шее; *а ведь мертвое тело, что 200 руб. как калач»*.

«Г. Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой Quel gaillard, а?».

Хорош помещик, который участвует в плутовстве своего бурмистра!

Стран. 279.

XI. Контора.

Описание главной господской конторы. Тут представлены портреты: главного кассира, дежурного писаря, главного конторщика и разных других лиц, принадлежащих конторе. Автор, между прочим, передает читателю подслушанный им через перегородку, отделявшую его комнату от конторы, разговор, происходивший между главным конторщиком и приезжим купцом, которому плут конторщик предлагает такого рода сделку, что он берется, если купец даст ему столько-то денег, обмануть свою барыню и продать ему хлеб по самым дешевым ценам. После некоторого спора и торга купец соглашается на все условия конторщика и отсчитывает ему деньги...

В означенной главе автор, верный своему плану, снова насмехается над помещиками, выставляя их пошлыми глупцами и какими-то сумасбродами. Например, на странице 292—293 он заставляет дежурного в конторе писаря рассуждать, что служить *у купцов гораздо лучше чем у господ.*

«А что, разве купцы жалованья больше назначают?»

Стран. 293.

«Сохрани бог. Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру, да на страх. И живет-то купец по-простоте, по-русскому, по-нашинскому — купец... как можно; купец не то что барин. Купец не блажит; ну, осерчает — побьет, да и дело с концом. Не мозжит, не шпыняет. А с барином беда! Все не по нем: и то не хорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье — «ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» — Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять — «ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что... или вот еще барышни...»

Подобные рассуждения, как они не нелепы, легко однакож могут способствовать к уменьшению уважения слуг к господам своим.

Вот еще несколько замечаний.

Стран. 282.

«Я подошел, говорит автор, к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидел *старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинсон нашел в одной из пещер своего острова»*.

Грешно насмехаться над старостью. Неприлично человека, созданного по образу и подобию божию, сравнивать с животным, с козлом.

Стран. 283.

Из разговора с этим дряхлым стариком, лишенным и слуха, и зрения, автор узнает, что он сторожит горох.

«Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?»

«А про то старшие знают».

«Старшие! Подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика».

Не есть ли это какая-нибудь косвенная насмешка над теми, которые поручают должности людям ни к чему не способным?

Стран. 287.

«На третьей картине представлена была *женщина в лежачем положении, en raccourci, с косыми грудями, красными коленями и* очень *толстыми пятками,* что, как известно, в глазах русского человека достоинство не последнее».

Изображение картины не пристойное; слово грудь во множественном числе не употребляется в хорошем обществе, как слово не приличное, от которого покраснеет каждая порядочная женщина.

Стран. 303.

Собравшаяся в контору дворня трунит над одним дворовым, которого, по выражению автора, *произвели из портных в истопники.* В ответ на насмешки бывший портной отвечает, что барыня приказала, а вы погодите, вас еще в *свинопасы произведут.*

Мне кажется, что слово: *производить* тут не уместно, потому что у нас принято употреблять его, когда дают кому-нибудь чин.

Вот все замечания, которые я полагал нужным сделать на 1-ю часть Записок охотника.

№ 13.

5 августа 1852 года. Коллежский Советник Егор Волков.

Рапорт чиновника особых поручений Волкова, все недоумения и протесты которого были подкреплены точной цитацией наиболее криминальных, с его точки зрения, деталей тургеневского текста, не оставлял никаких сомнений в глубоком несоответствии литературно-политических установок Тургенева, как автора «Записок охотника», ни «видам правительства», ни эстетическим догмам «официальной народности». Понятно поэтому, что именно заключения Волкова и легли в основу «Особой записки» министра народного просвещения «О содержании книги «Записки охотника» с выписками из нее». Эта записка представлена была царю 12 августа 1852 г. одновременно с «всеподданнейшим представлением» об увольнении от службы цензора кн. В. В. Львова за разрешение к печати рукописи, значительная часть которой «имеет решительное направление к унижению помещиков», представляемых «вообще или в смешном и карикатурном, или чаще в предосудительном для их чести виде», что, «без сомнения, послужить может

к уменьшению уважения к дворянскому сословию со стороны читателей других состояний».

Не предрешая ни дальнейшего направления дознания о Тургеневе и его книге, ни связанных с этим новых репрессий (как одно, так и другое не входило в сферу компетенции министра народного просвещения и начальника Главного управления цензуры), кн. Ширинский-Шихматов ограничился в своем всеподданнейшем докладе лишь ролью информатора о неблагонамеренном «содержании» книги Тургенева. По духу и букве действовавших цензурных постановлений нести ответственность за книгу, подписанную к печати, должен был не автор, а цензор, ввиду чего министр народного просвещения и построил свой доклад так, чтобы привлечь внимание царя прежде всего к служебному проступку кн. Львова; все же материалы о «Записках охотника» являлись лишь своего рода вещественными доказательствами виновности отрешаемого от службы чиновника.

С этих же чисто формальных позиций подошел к представленной ему записке о книге Тургенева и сам Николай I. Никак не реагируя на справку о «Записках охотника» (возможно, потому, что книга эта была ему уже известна, а Тургенев еще весною был репрессирован), царь ограничился 15 августа 1852 г. краткой резолюцией, определившей судьбу только В. В. Львова: «Отставить за небрежное исполнение своей должности».

Однако, когда министр народного просвещения представил царю записку «О смягчении жребия статского советника князя Львова», ввиду якобы того, что «объявление в высочайшем приказе по всему государству, что он отставляется за небрежное исполнение своей должности, до такой степени усилило бы постигшее его несчастье, что едва ли он был бы в состоянии пережить его», Николай остался при своем прежнем решении, подчеркнув в резолюции от 21 сентября 1852 г. свое политическое недоверие к цензору «Записок охотника»: «Явное небрежение, а может быть и умысел не могут оставаться без должного взыскания в пример другим» [64].

Имя Тургенева так или иначе все же не было упомянуто ни в одной из царских резолюций по делу кн. В. В. Львова, что весьма благоприятно для него было истолковано в высших цензурно-полицейских кругах.

«Мы спрашивали о тебе,— писал Некрасов 21 октября

1852 г. Тургеневу в Спасское,— и нам сказано, что ты можешь писать и печатать, только г. Крылов (это уж он для себя) заметил, что лучше, если ты будешь представлять свои произведения в *целом* чтоб можно было видеть идею сочинения»[65].

8.

Разъяснение цензора А. Л. Крылова имело в виду новые произведения Тургенева. Вопрос же о возможности выхода в свет отдельного издания «Записок охотника», задержанного на некоторое время, как это отмечалось выше, не цензурно-полицейскими органами, а самим Тургеневым и его друзьями, получил положительное разрешение еще до формального окончания секретного следствия об этой книге. В Москве «Записки охотника» поступили в продажу в самом начале августа 1852 г.[66], а в Петербурге в середине этого месяца. В фельетоне «Петербургская жизнь», опубликованном в «Московских ведомостях» от 21 августа 1852 г., сохранилось следующее свидетельство: «Петербург <...> читает августовские книжки журналов и только что приехавшие из Москвы «Записки охотника», соч. Ив. Тургенева, изданные в двух томах и дополненные против того, что напечатано в «Современнике»[67].

Несмотря на то, что мы не знаем ни одной рецензии на отдельное издание «Записок охотника» (отклики на них в печати были, очевидно, запрещены), успех книги был необычайно велик. Она разошлась в течение шести месяцев[68].

12 сентября 1852 г. Н. И. Греч, редактор официозной «Северной пчелы», писал из Петербурга Булгарину: «Московский цензор князь Львов отставлен от службы за нерадивое ее исполнение. Говорят, что это последовало за пропуск им книги Ив. Тургенева: Записки охотника. Не верю этому, потому что в книге нет ничего предосудительного. Я прочел ее всю. Ты не любишь Т<ургенева>. И мне его фатальная фигура не приятна; но книга его преинтересная и написана мастерски»[69].

Более характерен для читателей консервативно-дворянского лагеря был отклик на «Записки охотника» графини Е. П. Ростопчиной, резко определившей книгу Тургенева в беседе с П. Я. Чаадаевым, как «un livre incendiaire». П. В. Анненков, вспоминая об этом отзыве московской поэтессы, замечал: «Мы знали вельможу <речь шла, види-

мо, об А. В. Головнине> очень образованного и гуманного, не мало способствовавшего и облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого»[70]. Напомним, что даже И. С. Аксаков, очень недооценивавший в сороковых годах, как и все славянофилы, масштабы дарования Тургенева, в письме к последнему от 4 октября 1852 г. должен был признать: «Я сам перечитываю теперь «Записки охотника» и не понимаю, каким образом Львов решился пропустить их. Это стройный ряд нападений, целый батальный огонь против помещичьего быта. Все это дает книге огромное значение, независимо от ее литературного достоинства»[71].

Еще не зная этого заключения, исключительного по своей политической значимости и остроте, Тургенев с чувством большого внутреннего удовлетворения писал 14 сентября 1852 г. П. В. Анненкову: «Я рад, что эта книга вышла; мне кажется, что она останется моей лептой, внесенной в сокровищницу русской литературы»[72].

С «Записок охотника» начинается известность И. С. Тургенева и за рубежом. В апреле 1854 г., т. е. через месяц после разрыва отношений Англии и Франции с Россией и начала Крымской войны, в Париже вышел в свет перевод «Записок охотника» на французский язык. В этом переводе (он был переиздан в 1855 г.) книга называлась: «Memoires d'un seigneur russe ou tableau de la situation actuelle des nobles et des paysans dans les provinces russes». Traduits par Ernest Charriere, Paris, 1854.

Западноевропейская публицистика, на что и рассчитывал переводчик, широко использовала французское издание «Записок охотника» в интересах военной пропаганды как злободневный художественный материал, разоблачающий ужасы русской крепостнической действительности[73].

Недавно лишь возвращенный из ссылки, Тургенев имел все основания опасаться новых репрессий. Поэтому, как только дошло до него французское издание «Записок охотника», он в официальном органе министерства иностранных дел «Journal de St. Petersbourg» от 10 (22) августа 1854 г. выступил с резким протестом как против самого перевода Шаррьера, недобросовестного и невежественного, так и против тех политических выводов, которые делались на основании «Записок охотника» их зарубежными интерпретаторами[74].

Письмом в редакцию «Journal de St. Petersbourg» Тургенев полностью снимал с себя ответственность за французское издание «Записок охотника». Но это выступление ни в какой мере не реабилитировало его как автора книги, объективно враждебной режиму николаевской реакции. Больше того, французские и английские рецензенты «Записок охотника» прямо или косвенно подтверждали именно то, на что обращал внимание Николая I министр народного просвещения в своей докладной записке о «Записках охотника» от 12 августа 1852 г. Если и раньше у Тургенева было очень мало шансов рассчитывать на перепечатку «Записок охотника», то политический эффект их перевода на французский язык и вовсе исключал возможность постановки вопроса о новом русском издании этой книги. Судьба «Записок охотника» оказывалась неразрывно связанной с судьбами николаевского режима.

9.

В. С. Аксакова, откликаясь в своем дневнике на неожиданную смерть императора Николая, очень точно и остро определила 21 февраля 1855 г. настроения самых широких кругов передовой русской общественности этой поры: «Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли все, вдруг представилось доступным изменению»[75].

Были все основания ожидать, что лед тронется и в цензурно-полицейских кругах. Прошел, однако, еще год, прежде чем Тургенев и его друзья рискнули поставить вопрос о переиздании «Записок охотника». Проблема эта требовала срочного разрешения в связи с подготовкой к печати первого собрания сочинений Тургенева. Предварительные переговоры о новом издании не оставили следов в цензурном делопроизводстве, но уже 16 марта 1856 г. цензор В. Н. Бекетов представил начальнику СПб. цензурного комитета специальную справку о «Записках охотника». Напоминая о том, что в книге Тургенева «описывается быт помещичьих крестьян и степень образованности помещиков» и что некоторые места в ней «подлежали бы ныне исключению», как «предметы довольно щекотливые», Бекетов склонялся все же к тому, чтобы в новое издание «Записок охотника»

не вносилось никаких изменений, так как «сочинение это обращалось уже к публике и изменение текста оного могло бы повести читателей ко многим толкам»[76].

К соображениям Бекетова полностью присоединился 30 марта 1856 г. и второй официальный рецензент «Записок охотника», цензор А. И. Фрейганг. Председатель СПб. цензурного комитета препроводил оба эти рапорта министру народного просвещения[77], ответ которого (видимо, устный) был не в пользу Тургенева.

«Повести и рассказы» Тургенева получили одобрение к печати 8 июня 1856 г., но «Записки охотника» в этот трехтомник не вошли. Разрешение их нового издания стало возможным лишь после появления первых официальных актов о предстоящей ликвидации крепостных отношений. 20 ноября и 6 декабря 1857 г. были подписаны Александром II известные рескрипты на имя Виленского, Ковенского, Гродненского и С.-Петербургского генерал-губернаторов об образовании местных комитетов по подготовке крестьянской реформы. 17 декабря оба эти документа были опубликованы для всеобщего сведения, а уже 25 декабря Некрасов, отправляя из Петербурга в Рим письмо к Тургеневу, осведомлял его о том, что вопрос о переиздании «Записок охотника» вступил в новую фазу: «После (вероятно, известного тебе) указа о трех губерниях нет, говорят, сомнения, что «Записки охотника» будут дозволены. После нового года Щербатов обещал поднять вопрос о них»[78].

Пересмотр вопроса о «Записках охотника» оказался, однако, более длительным, чем предполагал Некрасов. С мертвой точки дело о переиздании книги Тургенева сдвинулось лишь 20 ноября 1858 г., когда И. А. Гончаров, совмещавший, как известно, в эту пору литературную работу с обязанностями цензора, представил в СПб. цензурный комитет специальную докладную записку о необходимости немедленного снятия запрета с «Записок охотника».

«Эта книга, — писал Гончаров, — обратила на себя некоторое внимание бывшего г. министра народного просвещения тем, что в ней местами как бы выражалось желание улучшения быта крестьян — и второе издание ее до времени было приостановлено. Так как великое дело улучшения <быта> крестьян, по высочайшей воле, приводится ныне в исполнение, то и книга Тургенева не только потеряла всякое сомнительное значение, но она скорее может подтвердить необходимость принимаемых правительством мер.

«Записки охотника» вовсе не имеют жестокости в изображениях отношений между помещиками и крестьянами: в этом отношении книга далеко уступает всему, что появлялось в одно с нею время и позже ее. Автор не возбуждает ни малейшего озлобления и раздражения двух классов между собою, напротив — мягкостью и художественностью изображений придает им характер комизма и тонкой, едва уловимой иронии. Притом в «Записках охотника» нет преднамеренных желчных описаний отношений крестьян к помещикам: автор говорит о них мимоходом, когда они попадают случайно под руку. Вообще же и более всего он рисует типические лица из разных классов народонаселения и имеет в виду поэтически верное воспроизведение характеров, местностей, пейзажей, без всяких натянутых стремлений выставить одни в дурном, другие в выгодном свете.

«Книга его прочтена всеми и на всех производит благоприятное, художественное впечатление, поэтому второе издание ее было бы справедливым возвращением ей права вновь появиться в кругу изящной отечественной литературы и стать на ряду с лучшими ее произведениями» [70].

Докладная записка И. А. Гончарова направлена была из СПб. цензурного комитета в Главное управление цензуры, где все материалы, связанные с «Записками охотника», поступили на контрольное рассмотрение члена Главного управления А. Г. Тройницкого.

Широко использовав (в некоторых частях — дословно) докладную записку И. А. Гончарова, новый референт книги Тургенева с большим удовлетворением признавал в своем заключении от 9 декабря 1858 г., что в «Записках охотника» «нигде не видно у автора желания восстановить одно сословие народа против другого; напротив того, произвол помещиков выставляется более как последствие прав, укоренившихся законом и обычаем; в словах же и разговорах крестьян редко слышится жалоба, а видна везде почти покорность своей судьбе и как бы проявляется убеждение, что рассказываемые ими случаи не поражают их своею странностью или несправедливостью и что все это должно быть так, а не иначе, по самому устройству нашего общества. В немногих только рассказах обычный, легкий, насмешливый тон автора уступает как бы невольно вспышкам негодования, не переступающим, впрочем, по мнению моему, пределов того, что может быть ныне дозволено к печати; таковы

рассказы: X-ый, под заглавием «Бурмистр», и XIII-ый, «Два помещика», оканчивающийся резким выражением неудовольствия: «Вот она, старая-то Русь!» И далее:

«Записки охотника» при первом издании их в свет вызвали неодобрительный отзыв о них бывшего министра народного просвещения кн. Ширинского-Шихматова. Этот отзыв мог иметь основание в то время, когда действительно необходима была крайняя осторожность при разрешении к печати статей и сочинений, касавшихся взаимных отношений между помещиками и крестьянами: цензура должна была следить за всяким рассуждением и всякою мыслью, которые, при самом добром направлении, могли хотя косвенно поколебать уважение крестьян к помещикам. Но в настоящее время, когда Правительство само пригласило дворянство всех губерний к изысканию способов к улучшению быта крепостных людей, оно тем самым сознало неудовлетворительность прежнего быта и необходимость его улучшения». Не сомневаясь, что в «нынешнем положении этого важного государственного вопроса, сочинения, в роде рассказов г. Тургенева, не только не предосудительны, но, напротив того, могут принести существенную пользу, как скоро они метко, но без желчи и неприязни, указывают на недостатки, настоятельно требующие исправления», А. Г. Тройницкий предлагал разрешить новое издание «Записок охотника».

Это общее положительное заключение сопровождалось только тремя оговорками, не имеющими принципиального значения: А. Г. Тройницкий был смущен двумя деталями рассказа «Контора» и одним эпизодом в «Чертопханове и Недопюскине». Два из них, как он замечал, «нарушают чувство эстетическое, а третье оскорбительно для народного религиозного чувства». Из рассказа «Чертопханов и Недопюскин» Тройницкий предлагал устранить строки о том, как помещик, приписывая козням нечистой силы неудачи при «сведении купола» над новою церковью, приказал «перепороть всех старых баб в деревне». Из рассказа же «Контора» цензор рекомендовал устранить следующие места: 1. «Дождь, *словно старая девка*, неугомонно и безжалостно приставал ко мне»; 2. «На картине представлена была женщина в лежачем положении *en raccourci*, *с косыми грудями*, красными коленями и очень толстыми пятками, *что, как известно в глазах русского человека достоинство не последнее*» [80].

Главное управление цензуры, разрешив 5 февраля 1859 г., на основании отзыва А. Г. Тройницкого, переиздание «Записок охотника», предложило внести в текст Тургенева и все те изменения, которые предлагались официальным рецензентом его книги.

Первая информация о разрешении выхода в свет нового издания «Записок охотника» появилась в «Современнике». Она была совершенно необычна и по своему содержанию и по контексту, так как была включена в разбор пьесы А. Н. Островского «Воспитанница» — видимо, за неимением другого места для этого сообщения в уже отпечатанном февральском номере журнала: «Приготовляются к печати «Записки охотника» И. С. Тургенева, нового издания которых уже несколько лет с таким нетерпением ожидала терпеливая русская публика. Эта новость уже не в предположениях только, а в действительности: мы видели, наконец, экземпляр «Записок охотника», одобренный цензурою к новому изданию. Месяца через два книга эта появится в свет» [81].

Автором анонимной информации о снятии запрета с «Записок охотника» был Н. А. Добролюбов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Материалы, положенные в основу настоящего исследования, обнаружены были нами зимою 1917—1918 г. в архиве министерства народного просвещения вместе с другими новыми документами о Тургеневе, розыски которых производились в связи с предстоявшим 9 ноября 1918 г. столетним юбилеем со дня его рождения. Публикация этих материалов несколько задержалась. Впервые они появились в печати в сборнике «Литературный Музеум (Цензурные материалы 1-го отд. IV секции Государственного Архивного Фонда)», вып. I. Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Петербург <1919>, стр. 313—326, и в кн. Ю. Г. Оксман, И. С. Тургенев. Исследования и материалы вып. I. Всеукраинское государственное издательство. Одесса, 1921, стр 3—48. В настоящем издании статья «Секретное следствие о «Записках охотника» и документальные приложения к ней перепечатываются с значительными дополнениями и уточнениями. Вновь написаны главы 1, 2, 3, 5, 8 и 9.

[1] Мы имеем в виду краткие автобиографические сведения, изложенные Тургеневым в письме к К. К. Случевскому от 8 марта 1869 г. («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб., 1884, стр. 155) и в приложениях к письмам к П. Н. Полевому от 17 октября 1873 г. (Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сборник III, Л., 1955, стр. 68) и к М. М. Стасюлевичу летом 1875 г. (И. С. Тургенев, Сочинения, т. XII, М.—Л., 1933,

стр. 502). Эту же первопричину своего репрессирования Тургенев подчеркнул и в письме к Полине и Луи Виардо от 1/13 мая 1852 г. (см. далее), и в беседе с Варнгагеном фон Энзе в Берлине 25 июля 1856 г. (Farnhagen von Ense Tagebücher. Band XIII. Hamburg, 1870. s. 111—112).

[2] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, стр. 208. Строки, цитируемые нами, были изъяты из окончательной редакции доклада.

[3] А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах. Т. VII, М., 1956, стр. 415—422. Существенные дополнения и поправки в традиционные представления об истории работы Герцена над этой книгой вносит исследование Герхардта Цигенгайста: «Unbeachtete Ausserungen Alexander Herzens über die russische Geistesbewegung der Jahre 1812—1848» («Zeitschrift für Slawistik». Band III, 1958, S. 445—482).

[4] А. И. Герцен, Собр. соч., т. VII, 1956, стр. 228. В этих строках речь шла не об отдельном издании «Записок охотника», которое еще только подготовлялось к печати, а о рассказах из этого цикла, печатавшихся в «Современнике» с 1847 по 1851 г. В одной из записей рассказов М. С. Щепкина о Гоголе, сделанной П. А. Кулишем, сохранилось упоминание о том, что Тургенев в бытность свою за границей принимал участие в переводе работы Герцена «О развитии революционных идей» на французский язык (Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Под редакцией В. В. Гиппиуса, т. 1, 1936, стр. 147). Справка эта требует, однако, дополнительной аргументации.

[5] Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1, 1936, стр. 133—136 и 147—149.

[6] В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенева самый факт усиления «цензурных строгостей» в начале 1852 г. акцентируется дважды, но причины этого обострения цензурно-полицейского режима остались писателю неизвестны.

[7] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, стр. 208.

[8] Сам Тургенев историю своего ареста, заключения и высылки из Петербурга изложил в «Литературных и житейских воспоминаниях». Однако, не зная всех обстоятельств дела, обусловленных особенным вниманием органов государственной охраны к передовым русским литераторам после выхода в свет книги Герцена «О развитии революционных идей в России», Тургенев допустил ряд существенных неточностей в своем рассказе. Дополняют и корректируют воспоминания Тургенева об этом эпизоде материалы статей: М. К. Лемке, Арест и высылка И. С. Тургенева в 1852 г. («Русская мысль», 1906, № 2, стр. 16—26 и в его же книге «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.» СПб., 1908, стр. 203—213); Н. В. Дризена «Арест и ссылка И. С. Тургенева» («Исторический вестник», 1907, № 2, стр. 559—569); А. Дунина «Ссылка И. С. Тургенева в Орловскую губернию» («Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 29—39); Н. Ф. Бельчикова «К истории письма из С.-Петербурга о смерти Гоголя» (Сб. «И. С. Тургенев». М., 1923, стр. 160—164); А. М. Гаркави «К тексту письма Тургенева о Гоголе» («Учен. записки Ленинградского Университета». Серия филологических наук. Вып. 25. 1955). Некоторые дополнительные данные см. в письме В. П. Боткина к Тургеневу от 10 марта 1852 г. («В. П. Боткин и И. С. Турге-

нев». Неизданная переписка. 1851—1869». М.—Л., «Academia», 1930, стр. 28), в переписке Тургенева с С. Т. Аксаковым с 29 мая по 6 июня 1852 г. («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 469 и «Вестник Европы», 1894, № 1, стр. 333); в «Записках и дневнике А. В. Никитенко» (изд. 2-е, СПб., 1905, т. 1, стр. 407—409); в воспоминаниях кн. Д. А. Оболенского («Русская старина», 1873, № 12, стр. 949—950), К. Н. Бестужева-Рюмина (СПб., 1900, стр. 47—48) и П. В. Анненкова «Молодость И. С. Тургенева» («Вестник Европы», 1884, № 2, стр. 465).

[9] А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания. Вступительная статья, редакция текста и комментарии Корнея Чуковского. М., 1948, стр. 218.

[10] E. Halpérine-Kaminsky. Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec ses amis français. Paris, 1901, p. p. 25—26. Перевод заимствован из издания «И. С. Тургенев. Неизданные письма к г-же Виардо и его французским друзьям». М., 1900, стр. 117. В этом же письме Тургенев отмечал: «Наложили также печати на мои бумаги, или, вернее сказать, опечатали двери моей квартиры, а спустя десять дней сняли печати, ничего не осмотрев». И далее: «Здоровье мое хорошо, но я постарел до смешного. Я мог бы послать вам прядь *седых* волос без всякого преувеличения. Однако я не теряю мужества» (стр. 118).

[11] Статья Н. И. Сазонова «Иван Тургенев», входившая в серию задуманных им фельетонов «Литература и писатели в России», впервые опубликована была на французском языке в еженедельнике» «La Gasette du Nord» от 31 марта 1860 г., № 13. Впервые опубликована в переводе на русский язык в «Литературном наследстве», т. 41—42, 1941, стр. 188—194. Дата высказывания Тургенева, точно не указываемая самим Сазоновым, определяется нами на основании других свидетельств о времени встреч Тургенева с Сазоновым и Герценом в Париже.

[12] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. С орник III, 1955, стр. 67.

[13] Вопрос о вкладе Белинского в «Записки охотника», давно, как известно, поставленный, но даже эпизодически не разрешенный, принадлежит к числу интереснейших проблем тургеневской историографии. Предваряя результаты специальных разысканий в этой области, мы можем уже сейчас считать документально установленной связь письма Белинского к Гоголю с тем определяющим в истории «Записок охотника» поворотом творческих интересов Тургенева, который летом 1847 г. выразился яркой художественной документацией в «Бурмистре», «Конторе» и «Двух помещиках» характернейших положений письма Белинского. При полном совпадении приговоров Белинского с позднейшей оценкой Тургеневым как самого содержания, так и исторического значения «Выбранных мест из переписки с друзьями» (определенно пародируемых в «Двух помещиках»), весьма знаменательно, что дата «Бурмистра» («Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.») точно соответствует времени и месту письма Белинского к Гоголю: *15 июля 1847 г., Зальцбрунн*. Впервые дата эта появилась в издании «Записок охотника» только в 1880 г., но тем существеннее ее звучание. особенно в связи с тем, что ни один другой из рассказов этого цикла в печати не был датирован. Наши соображения о реализации в «Записках охотника» общественно-по-

литических установок письма Белинского к Гоголю, впервые формулированные в 1921 г. (Ю. Г. Оксман, И. С. Тургенев. Исследования и материалы, вып. 1. Одесса, 1921, стр. 6), в настоящее время являются общепринятыми. См., напр., статьи Н. Л. Бродского «Белинский и Тургенев» (в сборниках «Венок Белинскому», М., 1924, стр. 122, и «Белинский — историк и теоретик литературы». М. — Л., 1949, стр. 335—336); М. К. Клеман, И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л., 1936, стр. 45—55; Г. А. Бялый, И. С. Тургенев («История русской литературы», т. VIII, ч. 1, 1956, стр. 335) и др.

[14] Эти планы с исключительной тщательностью обследованы в работе М. К. Клемана «Программы «Записок охотника» («Ученые записки Ленинградского гос. университета. Серия филологических наук», вып. XI, 1941, стр. 88—126). Первый перечень рассказов будущего цикла набросан на полях начального листа черновой рукописи рассказа «Бурмистр» и датируется серединой июня 1847 г. Последний (по счету десятый) сохранился в черновом автографе рассказа «Певцы» (1850 г.). См. о нем стр. 252.

[15] А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов. СПб., 1905, стр. 90. Вошло в Полн. собр. соч. Некрасова, т. X, стр. 84.

[16] В письме Некрасова к Тургеневу от 12 сентября 1848 г. подчеркиваются только некоторые материальные сомнения, связанные с планом издания «Записок охотника» в пользу семьи Белинского. Но в гораздо большей степени проекту Тургенева противостояла посмертная политическая репутация Белинского, самое имя которого вскоре вовсе исчезло из легальной печати. См. об этом «Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 202. План публикации «Записок охотника» в пользу дочери Белинского возрождается в письме Некрасова к Тургеневу от 20 июля 1857 г. в связи с вопросом о втором издании этой книги (Полн. собр. соч. Некрасова, т. XI, стр. 349).

[17] А. И. Герцен, Собр. соч., т. XI, 1957, стр. 528—529 («Старые письма» в приложении к «Былому и думам»).

[18] Н. Л. Бродский, впервые публикуя план 1850 г., высказал предположение, что в перечне этом остался неназванным рассказ «Касьян с Красивой Мечи». Он же выразил предположение, что замысел рассказа «Безумная» связан с тем устным рассказом Тургенева, который Мопассан слышал на одном из воскресений у Флобера и передал затем в своем рассказе «Страх» («Тургенев и его время. Первый сборник под редакцией Н. Л. Бродского». М., 1923, стр. 313—314). М. К. Клеман, без сколько-нибудь убедительных оснований, полагает, что заголовок «Безумная» имеет в виду рассказ «Живые мощи», опубликованный в 1874 г., и выражает сомнение по поводу того, что неназванным рассказом является «Касьян с Красивой Мечи» («Планы «Записок охотника», стр. 116—118). Заголовок «Русак» относится к рассказу «Петр Петрович Каратаев», о котором см. далее, примеч. 36.

[19] «Вестник Европы», 1911, № 8, стр. 188. В этом же письме Тургенев напоминал о том, что Виардо до сих пор не ответила на его просьбу дать согласие на посвящение ей будущей книги: «Надеюсь, что вы не захотите отказать мне в этом счастье, тем более, что для публики будут только три звездочки». В цензурной рукописи «Записок охотника» сохранился титульный лист с отметкою: «Посвящается ***». Таким образом, нет никаких оснований полагать, что зашифровано в данном случае было имя Белинского, как это указано

в научном описании рукописи (сб. «Записки охотника». Орел, 1955, стр. 412).

[20] «Вам известно, — писал П. Л. Пикулин 16 декабря 1852 г. Сатину и Огареву, — что Тургенев подарил Кетчеру свою книгу «Записки охотника». Кетчер издал ее и думал быть богатым. Но, за уплатою долгов своих и чужих, осталось ему 700 руб. сер.<...> В надежде на богатство бедняга мечтал купить домишко, в котором можно было бы развести сад, огород» («Русская мысль», 1902, № 12, стр. 178—179).

[21] Сб. «Тургенев и круг «Современника». М.—Л., «Academia», 1930, стр. 136 и 142.

[22] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г. СПб., 1862, стр. 265. Эта докладная записка имела своим прецедентом один из параграфов секретного «наставления» ректору С.-Петербургского университета, в котором министр народного просвещения предлагал 24 октября 1849 г. «в видах охранения внутреннего в России спокойствия» не дозволять в лекциях профессоров изъявлять в неумеренных выражениях сожаление о состоянии крепостных крестьян, говорить с преувеличением о злоупотреблении власти помещиков или доказывать, что перемена в отношениях первых к последним была бы полезна для государства» (А. М. Скабичевский, Очерки истории русской цензуры. СПб., 1892, стр. 343).

[23] Сборник постановлений и распоряжений по цензуре. СПб., 1862, стр. 248.

[24] В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.—Л., «Academia», 1930, стр. 13.

[25] О кн. В. В. Львове см. материалы С. А. Венгерова в «Источниках словаря русских писателей», т. IV, 1917, стр. 36—37; справку В. Н. Недзведской в «Материалах по истории русской детской литературы». Под ред. А. К. Покровской и Н. В. Чехова, М., 1927, вып. 1, стр. 188—189; Воспоминания Е. В. Матвеевой («Исторический вестник», 1916, № 1, стр. 178), а также М. И. Сухомлинов, Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. II. 1889, стр. 465; «Рус. старина», 1903, № 9, стр. 664; № 12, стр. 696—697.

[26] М. К. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., изд. 2, 1909, стр. 207; В. И. Шенрок, Материалы для биографии Н. В. Гоголя, т. IV. 1898, стр. 526—528; Полн. собр. соч. Гоголя, т. XIII, 1952, стр. 263—265.

[27] М. А. Шелякин, Цензурная рукопись «Записок охотника» (Сб. «Записки охотника». Орел, 1955, стр. 412).

[28] В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, 1930, стр. 29. В этом же письме Боткин обращал внимание Тургенева на отличные качества выбранных им для издания «Записок охотника» новых типографских шрифтов и бумаги.

[29] М. А. Шелякин, Цензурная рукопись «Записок охотника» (Сб. «Записки охотника». Орел, 1955, сто. 416—418). Как свидетельствует Л. М. Долотова в статье «О тексте «Записок охотника», «из всего того, что было изъято цензурой в тексте издания 1852 г., Тургенев восстановил в последующих изданиях очень немногое, вернее всего — по памяти. Отношение Тургенева к цензурным изъятиям, произведенным в тексте издания «Записок охотника» 1852 г., говорит о некотором равнодушии и охлаждении его в конце жизни к тому, что было для него животрепещущим в 40—50-е годы» («Вопросы тексто-

логии». М., 1957, стр. 181). Это заключение подтверждается устным свидетельством П. И. Вейнберга, на которое ссылается Г. З. Кунцевич в своей работе о «Записках охотника» И. С. Тургенева по цензурной рукописи: «Я помню, мы говорили с Иваном Сергеевичем, почему он не внесет мест, зачеркнутых цензурой — слышно было, что кое-что выпущено. Он сказал: «Знаете, это все так мне надоело» («Журнал министерства народного просвещения», 1909, № 12, стр. 393).

[30] В письме В. П. Боткина к Тургеневу от 10 марта 1852 г. отмечалось: «Ты на Фоминой неделе будешь, вероятно, иметь удовольствие просмотреть корректуру первой части. Сегодня приступают к печати» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, 1930, стр. 29. Речь шла в этом письме, конечно, о начале набора, а не печати). В перлюстрированном письме к Боткину Тургенев предупреждал, что около 10 апреля «на Фоминой неделе» он рассчитывает быть в Москве (М. К. Лемке. Николаевские жандармы., 1909, стр. 205).

Данные о недошедшем до нас предисловии Тургенева к «Запискам охотника», сохранившиеся в письме к нему Е. М. Феоктистова от 24 марта 1852 г., опубликованы в статье Л. Н. Назаровой «К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками» (Сб. «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков». Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 165—166).

[31] E. Halpérine-Kaminsky. Ivan Tourgueneff d'après sa correspondance avec ses amis français. Paris, 1901, p. 27.

[32] А. В. Никитенко, Дневник, в трех томах. Подготовка текста, вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока, т. I, 1955, стр. 368—370.

[33] Записки М. А. Корфа. «Русская старина», 1900, № 5, стр. 282—283.

[34] Записка кн. П. А. Ширинского-Шихматова «О наблюдении за духом и направлением повременных изданий» сохранилась в секретном «деле» канцелярии министра народного просвещения по Главному управлению цензуры, 1850 г., № 73, лл. 7—9. Определение общего круга заданий нового контрольно-цензурного аппарата целиком восходило здесь к известному «положению» 1811 г. о «цензурной ревизии» Министерства полиции, функции которого, без указания источника, министром народного просвещения были, таким о разом, в 1850 г. лишь реставрированы. Ср., напр., инструкцию кн. Ширинского-Шихматова с § 84, п. 2 «наказа» 1811 г.: «Если министр полиции усмотрит, что в книгах и сочинениях и с одобрением цензуры изданных допущены места и выражения, подающие повод к превратным толкованиям, общему порядку и спокойствию противных, — таковые министр полиции обязан немедленно, с замечаниями своими, вносить на высочайшее рассмотрение и ожидать повеления» (Полное собрание законов Российской империи, т. 31, № 24687).

[35] ЦГИАЛ. Дело канцелярии Министерства народного просвещения по Главному управлению цензуры с представлением чиновником особых поручений коллежским советником Волковым рапортов о прочитанных им книгах, вышедших в свет с дозволения цензурных комитетов. Нач. марта 24 дня 1852 г., № 77, л. 7.

[36] 15 февраля 1847 г. Некрасов писал Тургеневу: «Ваш рассказ («Каратаев») напечатан во 2-ой книжке: он всем понравился очень, Белинскому тож; два-три места досадные (хоть и небольшие) выкинуты, да что ж делать! Если б и весь уничтожили, так нечему бы

удивляться» (Полн. собр. соч. Некрасова, т. X, стр. 61). До нас дошло и письмо Белинского к Тургеневу от 19 февраля 1847 г., в котором великий критик заявлял: «Не только «Хорь», но и «Русак» обещают в вас замечательного писателя в будущем» (Полн. собр. соч. Белинского, т. XII, 1956, стр. 336). Несмотря на тесную идейно-тематическую и конструктивную связь «П. П. Каратаева» с другими рассказами из цикла «Записки охотника», он впервые был включен в этот цикл лишь при составлении Тургеневым плана издания «Записок охотника» осенью 1850 г., под тем же названием «Русак», о котором писал Белинский (так, кстати сказать, рекомендовал себя и сам Каратаев в тексте рассказа). Возможно, что изменение заголовка «Русак» на «П. П. Каратаев» принадлежит не Тургеневу, а цензору «Современника», как менее выразительно определяющее черты национального характера в трагической истории любви помещика к крепостной девушке.

[37] Воспроизведение этого перечня см. в работе М. К. Клемана «Программы «Записок охотника» («Ученые записки Ленинградского гос. университета», вып. XI, 1941, стр. 95).

[38] Объявление о подписке на «Современник» в «Московских ведомостях» от 25 декабря 1847 г., № 154.

[39] «Современник», 1848, № 2, вкладной лист, без пагинации. Перепечатано в Полн. собр. соч. Некрасова, т. XII, 1953, стр. 118.

[40] После запрещения «Иллюстрированного альманаха» часть заготовленных для него материалов была перемещена в «Литературный сборник с иллюстрациями», изданный редакцией «Современника» в 1849 г. На вкладном листе, между стр. 176 и 177, здесь был опубликован и рисунок П. А. Федотова «Два помещика». Имя художника было обозначено одной буквой с двумя звездочками: Ф **. Принадлежность этого рисунка Федотову впервые была установлена в книге М. К. Азадовского «Из старых альманахов». Забытые рисунки Федотова. Петроград, 1918. Ср. более позднюю публикацию письма Некрасова к Н. А. Степанову, в котором имя П. А. Федотова названо было в числе других художников, приглашенных участвовать в «Иллюстрированном альманахе» (Полн. собр. соч. Некрасова, т. X, 1952, стр. 110; т. XII, 1953, стр. 119).

[41] ЦГИАЛ. Дело Главного управления цензуры об «Иллюстрированном альманахе» 1848 г., № 108, лл. 14—15. Ср. там же Дело СПб. цензурного комитета, 1848 г., № 81. Предположение о том, что рисунок «Два помещика» в «Иллюстрированном альманахе» 1848 г. дает ключ к уяснению вопроса о времени написания одноименного рассказа Тургенева, высказано было впервые А. Е. Грузинским в его статье «Из истории «Записок охотника» Тургенева», «Научное слово», 1903, кн. VII, стр. 86; перепечатано в книге А. Е. Грузинского «Литературные очерки». М., 1908, стр. 222. Эта гипотеза была полностью подтверждена позднейшими публикациями документальных материалов о «Двух помещиках».

[42] «Культура театра», 1921, кн. VII—VIII, стр. 46—47.

[43] «Московские ведомости» от 25 декабря 1847 г., № 154. В объявлении о подписке на «Современник» в 1849 г. из трех отмеченных выше названий рассказов Тургенева указан был уже только «Русский немец» («Современник», 1848, №№ 9—10, стр. 1—10 особой пагинации).

[44] Рассказ «Русский немец» (начальный вариант заголовка «Помещик из немцев») предназначался Тургеневым для восьмой книжки

«Современника», 1847 г., а «Реформатор» (начальный вариант заголовка «Помещик Иван Бессонный») для двенадцатой. Черновой набросок «Русского немца» сохранился в бумагах Тургенева, находившихся в парижском архиве Виардо (A. Mazon, Manuscrits parisiens d'Ivan Tourguenev, Paris, 1930, p. 54). О датировке «Русского немца и реформатора» см. соображения М. К. Клемана в его работе, названной в примеч. 14, стр. 287.

[45] «Тургеневский сборник». Редакция Н. К. Пиксанова. Книгоиздательство «Огни» <1915>, стр. 84. В письмах Тургенева, относящихся к второй половине 1872 г., сохранилось несколько интереснейших автопризнаний, свидетельствующих о попытках писателя возвратиться к его старому замыслу. Вот, например, что читаем мы в письме Тургенева от 13/25 августа 1872 г. к Е. И. Рагозину, редактору нового журнала «Неделя», обратившемуся к автору «Записок охотника» с просьбою о литературной поддержке: «Вы можете рассчитывать на рассказ листа в полтора полных (неизданный отрывок из «Записок охотника»). Я не кончил его тогда, в предчувствии, что цензура — тогдашняя — его непременно запретит; должно полагать, что несмотря на все прелестные нововведения — теперешняя цензура его все-таки пропустит». И далее: «Рассказ вы получите в октябре непременно. Заглавие ему «Русский немец и реформатор» («Звезда», 1958, кн. 12, стр. 209).

Это обещание не было выполнено Тургеневым — и не только потому, что окончание рассказа задержано было на некоторое время болезненным состоянием писателя, а прежде всего из-за решительного протеста П. В. Анненкова против дальнейшего расширения рамок исторически сложившегося цикла «Записок охотника». «Пусть они остаются в неприкосновенности и в покое после того, как обошли все части света, — писал Анненков 4 ноября 1872 г. — Какая прибавка, какие дополнения, украшения и пояснения могут быть допущены к памятнику, захватившему целую эпоху и выразившему целый народ в известную минуту. Он должен стоять — и более ничего. Это сумасбродство — начинать сызнова «Записки» («Русское Обозрение», 1898, кн. 5, стр. 20—21). В письме к М. М. Стасюлевичу от 9 декабря 1872 г. Тургенев, признаваясь в своем обещании редактору газеты «Неделя» предоставить для публикации в последней рассказ «Русский немец и реформатор», пояснял: «Это просто неоконченный отрывок из «Записок охотника», пролежавший в моем портфеле слишком 20 лет; я обещал окончить его и дать Рагозину (так как отрывок прекоротенький) — но и с этим не мог справиться» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, 1912, стр. 29). Прототипом героя рассказа был, видимо, Петр Васильевич Зиновьев (1812—1868), симбирский помещик, хороший знакомый Белинского, Тургенева и Герцена.

[46] А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIV, 1958, стр. 148 и 153.

[47] Там же, стр. 149.

[48] Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену. Женева, 1892, стр. 94.

[49] А. И. Герцен, т. XIV, 1958, стр. 151. В фразеологии первой половины XIX века понятие «русский немец» имело особый пренебрежительный смысл, о котором свидетельствует не только агитационная песня Рылеева «Царь наш — немец русский», но и анонимное памфлетное письмо Добролюбова к Н. И. Гречу, в котором умственное

убожество «русских немцев» противопоставлялось высоким интеллектуальным данным «настоящего русского и настоящего немца» («Литературное наследство», т. 57, 1951, стр. 10).

[50] «Сочинения И. С. Тургенева», т. I, 1928, стр. 353.

[51] М. К. Клеман, Программы «Записок охотника», стр. 119—120.

[52] Эти связи остались, к сожалению, не отмеченными ни в литературе о «Записках охотника», ни в последней сводке материалов о творческой истории повести «Бригадир» в комментариях К. И. Бонецкого в «Собрании сочинений И. С. Тургенева», т. VII, 1955, стр. 355—359.

[53] Напомним аналогичные и столь же архаические зачины рассказов из цикла «Записок охотника»: «Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти» («Однодворец Овсяников»); «Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей» («Два помещика»); «Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной» («Татьяна Борисовна и ее племянник»).

[54] «М. М. Стасюлевич и его современники», т. III, 1912, стр. 293—294.

[55] «Собрание сочинений И. А. Гончарова», т. 8, 1955, стр. 372.

[56] «Вестник Народной Воли», 1884, № 2, стр. 83.

[57] «Тургеневский сборник». Редакция Н. К. Пиксанова, 1915, стр. 85.

[58] Фабулу «Примет» раскрывают воспоминания К. К. Случевского об одном устном рассказе, который он услышал от Тургенева в январе 1860 г. (К. К. Случевский, Новые повести. СПб., 1904, стр. 95—107. Ср. Н. Л. Бродский, Замыслы И. С. Тургенева. М., 1917, стр. 7—8).

[59] «Русское обозрение», 1898, № 5, стр. 21—22. Печатая в 1874 г. «Живые мощи», Тургенев в примечании к этому рассказу разъяснял, что это «отрывок из «Записок охотника»: «Всех их напечатано двадцать два, но заготовлено было около тридцати. Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит; другие — потому, что показались мне не довольно интересными или не идущими к делу. К числу последних принадлежит и набросок, озаглавленный «Живые мощи» («Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских писателей в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии». СПб., 1874, стр. 65—66). В период 1872—1874 гг. Тургеневым были опубликованы последние из рассказов цикла «Записки охотника» — «Конец Чертопханова», «Живые мощи», «Стучит».

[60] Об этом проекте издания «Записок охотника» см. выше, стр. 252.

[61] Коллежский советник Волков имел в виду указ Николая I о полюбовном размежевании от 21 июня 1839 г. В июне 1841 г. сроки полюбовного размежевания, установленные в 1839 г., были продлены еще на пять лет, «с тем, чтобы лица, которые явно станут уклоняться от полюбовных соглашений, могли по жалобам на сие со стороны участников или по представлениям местных начальств обращаемы быть к межеванию понудительно». Комические коллизии, связанные с самым процессом затяжных и никак «полюбовно» не разрешаемых размежеваний помещичьих угодий, получили яркое отражение в рассказе

Тургенева «Однодворец Овсяников» (1847 г.) и в его же пьесе «Завтрак у предводителя» (1849 г.). См. об этом в книге Ю. Г. Оксмана «И. С. Тургенев», 1921, стр. 90—98.

[62] Несколько строк из впервые опубликованного нами полностью рапорта Волкова введены были, без обозначения источника и с ссылкой на «одного из цензоров», в принадлежащий М. И. Сухомлинову некролог Тургенева в «Отчете о деятельности II отделения Академии Наук за 1883 г.» (стр. 28—29). Воспользовавшись этим неточным указанием Сухомлинова, А. Е. Грузинский произвольно связал его со временем предварительного цензурного расследования рукописи отдельного издания «Записок охотника» в Москве, несколько, впрочем, недоумевая, «почему доклад цензора не повел за собой остановки книги или изъятия ее из продажи» (А. Е. Грузинский, Литературные очерки. М., 1908, стр. 244—245).

[63] О публикации переводов «Хоря и Калиныча», «Ермолая и мельничихи» и «Моего соседа Радилова» в «St. Petersburger Zeitung», 1852, №№ 139, 140, 148, 149, см. в статье М. П. Алексеева «Мировое значение «Записок охотника», стр. 50—51.

[64] Материалы об отставке кн. В. В. Львова см. в сб. «Литературный музеум». Под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана, П. <1919>, стр. 405—406. Очень характерен отклик на эту историю в письме А. С. Хомякова к А. И. Кошелеву, опубликованном без даты: «Я уверен, что он <В. В. Львов> пострадал от следующего соображения. К нему, дескать, на цензуру ходят самые скверные люди, Тургенев, Аксаков, Хомяков и пр. Должен быть ненадежен. Хоть он покуда и не виноват, да сменить его in timorem» («Биография А. И Кошелева», т. II, М., 1892, приложение, стр. 110).

В письме В. П. Боткина к Некрасову от 28 марта 1856 г. сохранилась просьба передать Тургеневу, что «кн. Львов — цензор — умер; я поехал к нему на похороны, чтобы отдать ему последний свой поклон. Это был честный и благородный цензор» («Голос минувшего», 1916, № 9, стр. 189).

[65] А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, стр. 111. Ср. Полн. собр. соч. Н. А. Некрасова, т. X, стр. 180. В некоторых дореволюционных учебных пособиях по русской литературе и массовых биографиях Тургенева распространялась легенда о том, что «появление отдельного издания «Записок охотника» в пору самого жестокого цензурного террора объясняется только тем, что в связи с подготовлявшейся крестьянской реформой правительство видело в «Записках охотника» подтверждение правильности своих предположений», а цензурные органы «раньше передовой общественности уяснили значение книги Тургенева для дела освобождения» (Т. Ганжулевич, «Записки охотника», И. С. Тургенева, СПб., 1908, стр. 39—40). О полной несостоятельности этой лживой официозной концепции свидетельствует не только история цензурно-полицейского следствия о «Записках охотника», изложенная нами выше, но и затянувшаяся на несколько лет борьба Тургенева за второе издание его книги.

[66] Первое объявление о поступлении в продажу «Записок охотника» появилось в «Московских ведомостях» от 7 августа 1852 г., № 95.

[67] «Московские ведомости» от 21 августа 1852, № 101. Ср. О. Я. Самочатова «Из истории создания «Записок охотника» (Сб. «Записки охотника» И. С. Тургенева, 1852—1952. Орел. 1955, стр. 195—196).

[68] 12 мая 1853 г. Тургенев писал И. Ф. Миницкому: «Мои «За-

писки» мне кажутся теперь произведением весьма незрелым, но я все-таки рад их успеху. Уже три месяца как все экземпляры разошлись» («Атеней». Историко-литературный временник, кн. 3, 1926, стр. 117). Предположение М. М. Стасюлевича о медленной распродаже издания «Записок охотника», отмеченное в предисловии к первому посмертному изданию сочинений И. С. Тургенева, свидетельствует о полной его неосведомленности в основных фактах цензурной истории «Записок охотника».

[69] Письмо Н. И. Греча не издано. Автограф его находится в собрании Ю. Г. Оксмана.

[70] «Вестник Европы», 1884, кн. 2, стр. 455. Ср. также свидетельство М. Н. Лонгинова о «множестве нареканий» при появлении отдельного издания «Записок охотника», «слишком смелых» для своего времени («Русский вестник», 1861, кн. 2, стр. 913).

[71] «Русское обозрение», 1894, кн. 8, стр. 476.

[72] «Наша старина», 1914, № 8, стр. 752. Ф. И. Тютчев, восторженно отозвавшись о «Записках охотника» в письме к жене от 13 сентября 1852 г., ей же писал 10 декабря этого года: «Я был уверен, что вы оцените книгу Тургенева («Записки охотника»). В них столько жизни и замечательная сила таланта. Редко соединялись в такой степени, в таком полном равновесии два трудно сочетаемых элемента: сочувствие к человечеству и артистическое чувство. С другой стороны, не менее замечательное сочетание самой интимной реальности человеческой жизни и проникновенное понимание природы во всей ее поэзии» («Старина и новизна», т. XVIII, 1914, стр. 45. Оригинал на французском языке). В этой же связи интересна запись в дневнике Л. Н. Толстого от 27 июля 1853 г.: «Читал «Записки охотника» Тургенева, и как-то трудно писать после него» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 46. М., 1934, стр. 170).

Один из первых откликов в легальной русской печати на отдельное издание «Записок охотника» принадлежал консервативному литератору — дилетанту Н. В. Сушкову, который в своей статье «Обоз к потомству с книгами и рукописями» утверждал: «В ландшафтах и рассказах «Охотника» только «Уездный лекарь» вовсе уж не вмещается в красивые, светленькие, чистенькие рамки: и по мысли и по исполнению, Лекарь — не художественное творение. Цели тут неприятно и доискиваться. Ход происшествия не возможен по самому ходу своему. Герой рассказа — бесстыдный хвастун! Героиня — не то сумасшедшая, не то неистовая бесстыдница. Жаль, что в собранье таких прелестных картинок встречается такая мазанка. А как из прочих милы, благородны, проникнуты жизнью многие! Мне всего больше нравятся: «Гамлет Щигровского уезда», «Однодворец Овсяников» да «Хорь и Калиныч» («Раут». Историч. и литературный сборник. Книга III, М., 1854, стр. 368). Характерно, что самое имя Тургенева осталось в этом критическом отзыве неназванным.

[73] История этого издания освещена в работах М. К. Клемана «Записки охотника» и французская публицистика 1854 г.» («Сборник к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова», Л., 1934, стр. 305—314) и М. П. Алексеева «Мировое значение «Записок охотника» (сб. «Записки охотника». Орел, 1955, стр. 57—65).

[74] Протест этот, датированный 7 (19) августа (1854 г., тогда же был перепечатан в переводе на русский язык в некоторых столичных журналах и газетах. См. «Сочинения И. С. Тургенева», т. XI, 1956, стр. 306—311 и 520—522.

[75] Дневник В. С. Аксаковой, СПб., 1913, стр. 66. В этом же дневнике 10 апреля 1855 г. отмечено: «Тютчев прекрасио назвал настоящее время оттепелью» (стр. 102).

[76] Andre Mazon. Un maître du roman russe Ivan Gontscharov. Paris, 1914. Pièces justificatives, p. 345—346.

[77] Там же, стр. 346—347.

25 мая 1856 г. Тургенев писал Некрасову из Спасского: «Мне Толстой пишет, что, по словам Блудова, «Записки» разрешены» («Голос минувшего», 1916, № 5—6, стр. 36). К концу июля того же года относится недатированное письмо Некрасова к Тургеневу: «Видел в клубе Теофила Толстого, который болтал, что записки твои на днях будут доложены государю, что их непременно дозволят. Но это я слышу уже два месяца» (А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, стр. 140).

Возможно, что вопрос о переиздании «Записок охотника» был вновь снят с очереди в связи с той бурей, которая поднялась в цензурно-полицейских кругах после перепечатки Н. Г. Чернышевским в «Современнике» стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин». Об этом прямо говорнтся в письме А. В. Дружинина к Тургеневу от 18 ноября 1856 г. («Тургенев и круг «Современника», Л., 1930, стр. 197).

[78] Полн. собр. соч. Н. А. Некрасова, т. X, стр. 375. (Князь Г. А. Щербатов — председатель СПб. цензурного комитета с 1856 по 1858 г.).

Отвечая на эту информацию, Тургенев 18(30) января 1858 г. писал Некрасову из Рима: «Очень было бы хорошо, если бы «Записки охотника» были, наконец, позволены, только я не могу согласиться на какие-нибудь изменения или пропуски» («Рус. Мысль», 1902, кн. 1, стр. 125). Право на второе издание «Записок охотника» принадлежало Некрасову, который, уплатив за него Тургеневу в 1856 г. тысячу рублей серебром, тотчас же перепродал разрешение на издание этой книги за 2500 рублей сер. книгопродавцу Базунову («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева, 1892, стр. 110).

Сделка эта в 1858 г. была аннулирована Тургеневым, компенсировавшим Некрасова предоставлением «Современнику», а не Каткову романа «Дворянское гнездо». См. об этом письма Тургенева к Некрасову от 11 октября 1858 г. («Некрасовский сборник», П., 1918, стр. 95») и от середины ноября 1858 г. («Тургенев и круг «Современника», Л., 1930, стр. 123) и ответные письма Некрасова (А. Н. Пыпин, Н. А. Некрасов, СПб., 1905, стр. 194 и Полн. собр. соч. Н. А. Некрасова, т. XI, стр. 349).

[79] André Mazon, Un maître du roman russe Ivan Gontscharov. Paris, 1914, p. 349—351.

[80] Там же, стр. 352—355. Места, изъятые по рекомендации А. Г. Тройницкого из второго издания «Записок охотника», были восстановлены Тургеневым в издании «Сочинений И. С. Тургенева», 1865 г.

[81] «Современник», 1859, кн. 2, отд. «Новые книги», стр. 289. Ср. Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова, т. 2, 1935, стр. 463.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ОТ СЛУЖБЫ ЦЕНСОРА КНЯЗЯ В. В. ЛЬВОВА ЗА ПРОПУСК «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

Секретно

О ЦЕНСОРЕ КНЯЗЕ ЛЬВОВЕ

Отставить за небрежное исполнение своей должности.

Собственною Его Императорского Величества рукою написано карандашом: «*Отставить за небрежное исполнение своей должности*»

В Петергофе
15 августа 1852 г.

Кн. Ширинский-Шихматов.

От 19 мая сего года я всеподданнейше доносил Вашему Императорскому Величеству о предосудительном содержании вышедшего в свет в текущем году первого тома Московского Сборника, с присовокуплением, что цензору Статскому Советнику князю Львову за необращение подробного и отчетливого внимания на содержание заключающихся в нем статей сделан строгий выговор, при чем я внушил ему лично, что за подобную впредь неосмотрительность он будет подвергнут строжайшему по законам взысканию.

От 14 протекшего месяца генерал-лейтенант Дубельт сообщил мне, что с некоторого времени образовалось в Москве Общество славянофилов, имеющее целью сделать переворот в русской литературе, не подражать иностранным писателям, искать для сочинений своих предметов самобытных и народных; что хотя секретное наблюдение за членами сего Общества не обнаружило до сего времени ничего положительно вредного, но под руководством людей неблагонамеренных оно легко может получить вредное политическое направление, тем более, что члены оного большею частию литераторы.

Вследствие сего Ваше Величество Высочайше повелеть соизволили, дабы на представляемые как от поименованных в особом списке

лиц, так и от других писателей, сочинения в духе славянофилов было обращаемо со стороны цензуры особенное и строжайшее внимание.

В доставленном мне тогда же списке известиых славянофилов показан был и цензор князь Львов.

В то же время генерал-лейтенант Дубельт, по Высочайшему повелению, обратился ко мне с словесным вопросом: не признаю ли я нужным уволить князя Львова от должности цензора? Я осмелился выразить мысль свою, что как дело о Московском Сборнике уже кончено, то увольнение, без объявления причины, могло бы подать повод князю Львову жаловаться на мнимую несправедливость такого в отношении к нему распоряжения и вообще послужить к распространению превратных об этом толков. Посему я с своей стороны полагал оставить его на некоторое время в цензорской должности под строгим с моей стороны наблюдением, с тем, чтобы я немедленно донес Вашему Императорскому Величеству, как скоро только замечу, что он не воспользовался сделанными ему внушениями и строгим выговором. Такое мнение мое я просил генерал-лейтенанта Дубельта всеподданнейше подвергнуть на Высочайшее благоусмотрение.

Между тем в текущем году напечатана в Москве книга З а п и с к и о х о т н и к а, сочинение Ивана Тургенева, в двух частях. Разрешение на печатание ее дано цензором князем Львовым. Значительная часть помещенных в ней частей имеет решительное направлеиие к унижению помещиков, которые представляются воо ще или в смешном и карикатурном, или чаще в предосудительном для их чести виде, как Ваше Величество усмотреть изволите из подносимой при сем особой записки. Распространение столь невыгодных мнений насчет помещиков, без сомнения, послужить может к уменьшению уважения к дворянскому сословию со стороны читателей других состояний.

Пропуском этой книги прежняя вина цензора, статского советника князя Львова, усугубляется, и после этого я не могу по крайней мере не признать его неспособным к цензорской должности.

В Высочайше утвержденном Уставе о цензуре (о предупреждении и пресеч. преступ. прил. к ст. 147) в ст. 67 сказано:

Цензор, оказавшийся неспособным к отправлению сей должности не по злоупотреблениям или упущениям умышленным, а по каким-либо другим причинам, увольняется от оной по представлению Попечителя и по определению Главного Управления цензуры, с Высочайшего утверждения; но сие не имеет никакого влияния на свидетельство о беспорочной его службе и на продолжение оной по другим частям.

На этом основании осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать Высочайшего соизволения Вашего Императорского Величества на увольнение от службы цензора, статского советника князя Львова.

Кн. Ширинский-Шихматов.

№ 67.

12 августа 1852.

ЗАПИСКА МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ «О СОДЕРЖАНИИ КНИГИ *ЗАПИСКИ ОХОТНИКА* С ВЫПИСКАМИ ИЗ НЕЕ»

О СОДЕРЖАНИИ КНИГИ ЗАПИСКИ ОХОТНИКА С ВЫПИСКАМИ ИЗ НЕЕ.

Рассмотрена Государем Императором 15 августа 1852 г.

Иван Тургенев напечатал в Москве книгу под заглавием З а п и с к и О х о т н и к а, в двух частях. Содержание ее следующее:

Сочинителю, занимающемуся охотою, представляются часто случаи сближаться с помещиками, посещать их в домах, говорить с крестьянами и подслушивать их речи между собою. Он пользовался всеми этими средствами, чтобы описывать быт тех и других в рассказах, которых число простирается до 22 и которые по большей части не имеют никакой между собою связи. Действие происходит в Орловской и Калужской губерниях.

Прочитав Записки Охотника с особенным вниманием, я нашел, что помещики вообще представлены здесь с самой невыгодчой стороны, нередко в смешном и карикатурном, а чаще в предосудительном виде. Приемлю смелость изложить характеристику их, в кратких чертах, только в последнем отношении.

Так герой первого рассказа П о л у т ы к и н, пристращенный к охоте, ежедневно берет с собою верного слугу своего, крестьянина Калиныча, отвлекая его от домашних работ и хозяйства, и подарил ему за то на лапти в п р о ш л о м г о д у г р и в е н н и к.

Во втором рассказе сочинитель знакомит читателей с крестьянином Е р м о л а е м, также охотником, которого он выбрал себе в товарищи и который принадлежал одному из его соседей. «Ермолаю, говорит он, было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а, впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет От него отказались, как от человека ни на какую работу негодного — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки». Затем, по случаю ночлега у мельника, сочинитель рассказывает, что жена его была некогда горничной у жены помещика З в е р к о в а, влюбилась в лакея Петра и неоднократно просила своего барина дозволить ей выдти замуж, но в этом ей было отказано с угрозою, потому что барыня не могла терпеть подле себя замужних. Последствием отказа была беременность горничной, за что Зверков приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Там она понравилась мельнику, который ее выкупил на волю и на ней обвенчался. На вопрос сочинителя где теперь лакей Петр, Ермолай отвечал: «в солдаты поступил».

Здесь сочинитель вспомнил, что, будучи в Петербурге, он случайным образом познакомился с Зверковым, занимавшим тогда довольно важное место, и что раз как-то пришлось ему ехать с ним вдвоем в карете за город. В эту поездку Зверков рассказал о происшествии с горничною, призренною и обласканною его женою с малолетства, как доказательство черной неблагодарности дворовых людей, и в заключение промолвил: «сердца, чувства — нет, в этих людях не ищите».

В третьем рассказе сочинитель говорит между прочим, что в нескольких верстах от его деревни большое село Шумихино, где против церкви красовались некогда обширные господские хоромы, и когда они сделались жертвою пламени, господа перебрались в другое гнездо, а обширное пепелище обратнлось в огород. Здесь поселили садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. «Митрофану приказали поставлять на господский стол, за полтораста верст, зелень и овощи, Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу». У этого садовника случалось сочинителю раза два переночевать, и здесь-то он увидел впервые Степушку, который не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. «Дедушка Трофимыч раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти».

Недалеко от хижины садовника сочинитель нашел Степушку в обществе старика, удившего рыбу, который служил некогда дворецким у Графа Петра Ильича *** и получил от него отпускную. Этот дворецкий, по прозванию Туман, пустился в россказни о пышности и великолепии бывшего своего господина; но именья его, к несчастью, не хватило на целую жизнь, разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. «Барин был, как следует, барин,— продолжал старик, и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя, — смотришь уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Они-то его и разорили. И, ведь, все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, — подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии. И то сказать: почему не пожить в удовольствие,— дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница — царство ей небесное! Девка была простая, Ситовского десятского дочь, да такая злущая. По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб».

Между тем как Туман припоминал старинное житье-бытье, приблизился к ним мужик лет пятидесяти, Влас, запыленный, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Туман поздоровался с ним и спросил, где он пропадал? Из последовавшего затем разговора видно, что Влас, у которого умер сын, ходил в Москву к барину просить, чтоб оброку сбавил, аль на барщину посадил или переселил. Покойник извозничал в Москве и за отца взносил оброк, но перед смертию с год хворал и за себя оброку не взнес.

Барин прогнал Власа, сказав ему: как смеешь прямо ко мне итти? На то есть прикащик, которому ты и обязан наперед донести; да и куда я тебя переселю? Ты сперва недоимку за себя взнеси. Влас с горем поспешил назад домой, где, по словам его, жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит. Граф *** Валериан Петрович, владетель Власовой деревни, посадил ее на оброк, не смотря на малость земли, да и лес из нее продал, а оброку назначил до 95 рублей с тягла.

В пятом рассказе автор, скитаясь с Ермолаем по полям за куро-

натками, зашел в заброшенный сад, принадлежавший соседу его, помещику Радилову, где приглашен был к нему обедать. Радилов был вдовец, живший со старушкою матерью и сестрой покойной жены своей, Ольгой. После описания этого семейства сочинитель намекает, что Радилов влюблен в свояченицу и что она вполне разделяет его любовь. Через несколько времени он вторично заехал к Радилову, но не застал уже ни его, ни его свояченицы: он уехал куда-то с нею и бросил мать. Вся губерния взволновалась от такой вести, и я, прибавляет сочинитель, только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время разговора Радилова о покойной жене своей. «Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностию».

В шестом рассказе однодворец Овсяников рассуждает так: «молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю; пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И прикащик, крепостной человек, или управитель из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет». Далее Овсяников рассказывает, как Василий Николаич Любозвонов, получив наследство после матери, приехал и что делал в своей вотчине. Поздоровавшись с крестьянами, стал он им речь держать: «я-де русский и вы русские; я русское все люблю; русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская...» Да вдруг как скомандует: «а ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» — Василий Николаич позвал к себе приказчика и говорит, а сам краснеет и дышит скоро: «будь справедлив у меня, не притесняй никого, — слышишь?» — Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул, а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют — боятся.

В этом же рассказе упоминается о чиновнике, приехавшем для осмотра запасных магазинов. Крестьяне собрались и решили: чиновника, как следует, отблагодарить, да старик Прохорыч помешал. Крестьяне послушались последнего, а чиновник осерчал и донесение написал.

В седьмом рассказе босоногий, оборванный и взъерошенный дворовый, по прозванию Сучок, рассказывает, какие он проходил разнородные должности и как наконец сделался рыболовом, а на вопрос: женат-ли — отвечает: «Нет, батюшка. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: ведь живу же я так, в девках; что за баловство! Чего им надо?»

В десятом рассказе главное действующее лицо отставной гвардейский офицер П е н о ч к и н. Как помещик, представлен он самовластным, а как человек, либералом и трусом. У него Бурмистром Софрон, отъявленный мошенник, который обкрадывает господина и притесняет крестьян. Несмотря на это Пеночкин называет его *человеком Государственным*. Помещик этот, как он говорит сам о себе, «строг, но справедлив, о благе *подданных своих* печется и наказывает их для их же блага». Здесь должно заметить, что хотя в некоторых губерниях слово *подданные* употребляется в простом народе для изъявления своей зависимости от помещиков, но никогда не должно оно появляться в этом смысле в печати и в устах самого помещика. «Ведь вы, может быть, знаете, продолжает Пеночкин, мои мужики там на оброке». «*Конституция*, — что будешь делать».

Хотя слово конституция и употреблено в насмешливом тоне, но цензуре не следовало бы пропускать его.

Далее Бурмистр докладывает своему барину, что он, по случаю размежевания, дал какому-то Миколаю Миколаевичу взятку, а также задобрил благодарностию станового пристава по делу о найденном на земле Пеночкина мертвом теле, которое однакож велел стащить на землю соседа. «Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублев — как калач». Г. Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал, указывая на него головой: — Quel gaillard, a?

Два мужика, один старик лет шестидесяти, а другой малый лет двадцати, оба в домашних заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками, принесли жалобу на бурмистра, что он их разоряет в конец, двух сынов старика без очереди отдал в рекруты, а теперь и третьего отнимает. Пеночкин нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Начал спрашивать их грозно и бранить. Суд кончился тем, что барин, не глядя на мужиков, сказал им наконец: «Ну хорошо, я прикажу, хорошо, ступайте», и обернулся к ним спиною.

В рассказе одиннадцатом — описание главной господской в деревне конторы. После характеристического изображения действующих в ней лиц, сочинитель подслушивает через перегородку разговор между главным конторщиком и приезжим купцом, которому первый предлагает такого рода сделку, по которой, если купец даст ему столько-то денег, он берется обмануть госпожу свою и продать ему хлеб по самым дешевым ценам. После некоторого спора и торга купец соглашается на условия конторщика и отсчитывает ему деньги.

Тут же сочинитель рассказывает, что он подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидал старика до того дряхлого, что ему тотчас вспомнился тот умирающий козел, которого Робинсон нашел в одной из пещер своего острова. Из разговора с этим стариком, лишенным и слуха и зрения, автор узнает, что он сторожит горох. «Так где же тебе сторожем-то быть, помилуй?..» — сказал ему сочинитель. — «А про то старшие знают», — отвечал старик. «Старшие!» подумал я, говорит сочинитель; и не без сожаления поглядел на бедного старика».

Собравшаяся в контору дворня надсмехается над одним дворовым, которого *произвели из портных в истопники*. На это бывший портной отвечает, что так приказала барыня, а вы погодите, вас еще в *свинопасы произведут*. Ироническое употребление слова *производить* ни под каким видом не должно было показываться в печати, потому что употребляется у нас при повышении чинами в государственной службе.

В тринадцатом рассказе сочинитель так описывает отставного Генерал-Маиора Хвалынского: «Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой; взял к себе в управители отставного Вахмистра, Малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного *Петербургского важного сановника*, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком».— Продолжая, за этой выходкою, речь о Хвалынском, сочинитель говорит, что состоял он в молодые годы адъю-

тантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет, как по имени и отечеству; говорят, будто он принимал на себя не одни адъютантские обязанности: да не всякому слуху можно верить».

«А что будешь делать с размежеваньем? говорит в этом же рассказе помещик Стегунов. У меня размежевание вот где сидит (указывая на свой затылок). И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу».

В рассказе восемнадцатом, описав наружность и характер Каратаева, сочинитель передает читателю рассказанный ему этим помещиком эпизод из своей жизни. Влюбившись в крепостную девку одной помещицы, он хотел было ее выкупить на волю; но так как ее барыня на то не согласилась, то он увез свою возлюбленную. Барыня, как водится, подала объявление о побеге своей девки, не подозревая, что она живет у Каратаева. Впоследствии удостоверившись в этом, помещица подала в суд жалобу, да тут же, как выразился Каратаев, и благодарность, как следует, предъявила. К Каратаеву явился исправник с требованием от него беглянки; но похититель, угостив его хорошим завтраком и предложив ему свою лошадь в подарок, на что тот и согласился, выпроводил уездного блюстителя порядка из своего дома. Впоследствии девка сама вздумала явиться к госпоже своей, и это повергло Каратаева в отчаяние.

Кн. Ширинский-Шихматов.

ДОНЕСЕНИЕ КОЛЛЕЖСКОГО СЕКРЕТАРЯ ГАЛОВА О ПЕРВОПЕЧАТНЫХ ТЕКСТАХ «ЗАПИСОК ОХОТНИКА»

Записки Охотника, соч. Ив. Тургенева, выходили в свет в Современнике в 1847, 1848, 1849, 1850 и 1851 годах, в нынешнем же году они напечатаны в Москве в двух томах и были препровождены в Канцелярию Его Сиятельства из Московского Цензурного Комитета при отношении от 13 мая сего года за № 160. Внимательно прочитав и буквально сличив рассказы, напечатанные в сем издании с рассказами, помещенными в Современнике, нахожу нижеследующее:

Рассказы в Записках Охотника, числом 22, никакой связи не имеют между собою, следовательно, если они в первом издании расположены в одном порядке, а в последнем издании в другом, то это не может иметь особенной важности. Содержание рассказов осталось везде одно и то же. Только разность в выражении некоторых слов и мест. В первом издании, сравнительно с последним, рассказы как-то не полны. В издании же, вышедшем в Москве, ясно видно, что это собрание рассказов г. Тургенева было пересмотрено, исправлено и дополнено. Нет ни одной статьи, которая, по изложению, была бы совсем и даже много изменена. Из сличения этих двух изданий оказались перемены трех родов.

К первому роду принадлежит замена одного или нескольких слов другими словами. Эту перемену слов, по-видимому, автор сделал для верности и ясности действия и чтоб усилить выражение, а именно:

В Современнике	Стран.	*В последнем издании*
		Часть I-я
критический	21	иронический
проклятый брюхач	43	толстый брюхач
Жена, чай, теперь ждет, да не дождется	71	Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.
больная находилась в отчаянии.	81	больная находилась в опасности.
высокой	113	важной.
около одной четверти версты.	169	около двухсот шагов
мигая	183	щурясь
колесо скоро остановилось	188	колесо повертелось, повертелось, да и стало.
Да как же это русалка могла душу его спортить?	191	Да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить.
быстрым бегом	196	быстрой ездой.
Леший идет! Ой леший идет!	202	Тришка идет! Ой Тришка идет!
до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари	202	до первого лепета, до первых росинок зари.
Водяной ее сгубил	207	Водяной ее испортил.
стоит она по целым часам на одном месте	207	топчется она по целым часам на одном месте.
Право.	209	Ей богу.
болезненного недоумения	217	неприятного недоумения
Сына своего Софрон прогнал	266	Сына своего старик прогнал, — дескать, духоты напущаешь.
делать («советы»).	270	давать («советы»).
переступать ногами	300	переступать с ноги на ногу.
не тебя она оставит	313	не удержишься ты, голубчик!
		Часть II-я
добрые мужики	10	соседние мужики.
Девочка спала на полу	16	Девочка улеглась.
да постой, не долго тебе царствовать:	19	да постой, не долго тебе чваниться:
с жирными волосиками	49	с черными волосиками.
Какой-то белокурый молодой человек	66	белокурый офицерчик
ни малейшего толка не смыслил	83	решительно ничего не смыслил.
господский	123	помещичий.
для деревенского жителя.	123	для русского человека.
всяких гостей.	124	мелких дворян.
что другие совсем не подозревают	124	чего не подозревает самый проницательный Становой.
Крикуны.	125	Пьяницы-крикуны.

пьют воду из стоячего пруда	126	пьют какую-то жидкую грязцу из пруда, но кто же назовет это отвратительное пойло водою?
	128	
	132	
	134	
Дикарь	135	Дикий барин
	138	
	142	
	145	
	148	
	151	
	152	
На лавке в переднем углу	132	на лавке под образами.
тесно	132	плотно.
на стол	134	на стойку
вдруг пропал.	138	бежал
в старосты	139	в прикащики
Педант	143	Немец.
Пой как умеешь.	148	Пой как Бог тебе велит
сильный	149	твердый
«При долинушке стояла, калину ломала», пел он,	149	«Не одна во поле дороженька пролегала», пел он, —
смутный говор	154	нестройный, смутный гам.
Иной мужика дерет как липку, превосходного	163	Иной бог знает, что делает, сильного («образования»)
Половые	182	Прислуга
Половой	183	Мальчик
стволом	191	пнем
паневу	193	юбку
чрезвычайно пленительна	193	очень мила
а он стоял	200	а он лежал, развалясь.
ласки	200	обожанье
каково	202	просто скверность.
Виктор остановился	203	Виктор опять улегся.
Ведь я здесь остаться не могу?	204	Ведь я на тебе жениться не могу?
за немилого придется итти мне сиротиночке	204	за немилого выдадут сиротиночку
гостей	209	дворян
	210	
господин, жался	211	помещик, стоял
иностранца	211	мастера
пансион	235	университет
всем моим имением управляющему	238	всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василию Кудряшеву.
матери	244	отставной полковнице
соседки	244	полковницы
возвышалась	245	красовалась
закрыл	257	зарыл
возразил	257	спросил
своему брату	263	дворянину

перепугнуть	270	перепороть
глупой	272	совершенно тупоумной
Наследник! Наследник!	279	Помещик! вот он новый помещик.
Но пора проститься с вами читатель	310	Однако пора кончить.

Ко второму роду принадлежат слова, фразы и целые места, прибавленные в последнем издании, для полноты, определенности мысли и красоты описаний. Сюда принадлежат также впечатления, которые здесь выражены словами, но в Современнике были обозначены точками. Выписать все эти перемены нужно очень много места, а в особенности не даст полного понятия, то и обозначаются здесь названия страниц, на которых карандашом объяснены эти перемены: Часть I-ая. стр. 21, 57, 62, 68, 69, 70, 72, 78, 89, 108, 165, 177, 188, 190, 195, 200 по 201, 205, 207, 209, 210, 212, 236, 241, 242, 249, 259, 274, 284, 288, 297 и 306.

Часть II-ая. 12, 15, 47, 54, 117, 121, 124, 126, 127, 129, 141, 142—143, 145, 146, 154—155, 156, 165, 174, 175, 178, 198, 199, 202, 209, 211, 212 до 224, 232, 233, 239, 250, 251, 257, 268, 269, 271, 273, 274, 277, 278, 283, 295, 307, 308 и 309. —

К третьему роду принадлежат слова и места, которые были помещены в Современнике, а выпущены в последнем издании, и именно:

Часть I-ая, на стр. 20-ой не помещено:

«Хорь походил более на Гете, а Калиныч более на Шиллера». «Калиныч, как человек не посредственный».

Стр. 24. Он («Хорь») действительно понимал свое положение. В десяти верстах от усадьбы находилось дотла разоренное село, принадлежавшее... ну, кому бы то ни было. Владелец этого села ходил, вероятно потехи ради, в мурмолке, и рубашку носил с косым воротником. Думаете ли вы, что Хорь промолчал об этой мурмолке, что эта мурмолка его ослепила? Как бы не так!..

на стр. 128. «Что крестьяне нам от Бога поручены», —

на стр. 135 «с бессрочными»,

на стр. 209. «Павлуша, Павлуша. Я слушаю, а тот опять зовет»:

на стр. 253 «Гвардейский» (офицер)

на стр. 281. «Соломенный» (шалаш).

на стр. 217. «Нагнулся с облучка, посмотрел».

на стр. 238. «Случится, так в церкви божией на крылось меня берут по праздникам. Я службу знаю и»

на стр. 250 «Я с тех пор не видал Касьяна. Его, слышно, опять вернули на Красивую Мечь».

на стр. 303. «Из господской власти вышли, что ли?»

на стр. 306. «Остальная» ватага.

Часть II-ая, на стр. 64 «уверял в отличных качествах лошади»,

на стр. 83 «или как они выражаются к хундонжеству и к хундонжникам».

на стр. 89 «и по целым неделям».

на стр. 116. «Я его перебил»,

на стр. 170. «Иисусе Христе».

на стр. 177. «Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали? Мы Кулика задарили».

на стр. 203 «печально повторила она».

на стр. 212. «Однако я начал не с тем, чтоб описывать вам гостей Александра Михайлыча и его обед.

Дело в том, что кое как дождался я вечера, и, поручив своему кучеру заложить мою коляску, на другой день, в пять часов утра, я отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком».

на стр. 232. «Труда много нужно, а мы».

на стр. 236. «In der Stadt Moskau».

на стр. 285. «Что французы с англичанами много воевали, и»

Перестановка слов встречается очень редко. Но так как она здесь не переменяет нигде смысла фразы, то нахожу достаточным указать на некоторые.

В Современнике	*В последнем издании*
	Часть I, стр. 162.
«Охотник Владимир с презрительной улыбкой поглядывал на него».	«Охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой».
	Часть II, стр. 212.
«Улыбнулся язвительно».	«язвительно улыбнулся».
	Часть II, стр. 251.
«глаза потускнели».	«потускнели глаза».
	Часть I, стр. 246.
«Да вы там, дома купите, все равно».	«Да вы там, все равно, дома купите».

25-го августа 1852 г

Коллежский секретарь Галов.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Юлиан Григорьевич Оксман
«От «Капитанской дочки» к «Запискам охотника».
Редактор *С. Касович.*
Художник *Н. Глинский.*
Художественный редактор *П. Карчевский.*
Технич. редактор *В. Лукашевич.* Корректор *Л. Семенова.*

*

НГ16689. Подп. к печ. 18/XI-1959 г. Тираж 3000. Бумага 84Х1081/32.
Бум. л. 4,937. Печ. л. 16,195. Уч.-изд. л. 19,39. Цена 7 р. 75 к.
Переплет 1 р. 50 к.

*

Саратовское книжное издательство, Вольская, 81.
Саратов. Типография № 1 Облполиграфиздата.
Заказ 1819.

9 р. 25 к.